ISSN 0130–6545

3. 1995

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

АЛАН ЛАЙТМАН
Сны Эйнштейна

БОРИС ВИАН
Осень в Пекине

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Жюри, состоящее из членов Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала, определило номинационный список по премиям «***ИЛ*люминатор»** и **«Инолит».**

На премию «***ИЛ*люминатор**», присуждаемую за самое яркое и талантливое произведение 1994 года в области исследования и перевода современной зарубежной литературы, выдвинуты:

Л. Андреев — за книгу «Жань-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век», издательство «Московский рабочий»

Б. Дубин — за предисловие и комментарии к трехтомнику Х. Л. Борхеса, издательство «Полярис»

Д. Затонский — за предисловие и комментарии к трехтомнику Ф. Кафки, издательство «Художественная литература», издательство «Фолио»

В. Подорога — за статью «Ф. Кафка. Конструкция сновидения», журнал «Логос», 1994, № 5

Б. Хлебников — за перевод романа Стефана Гейма «Агасфер», журнал «Иностранная литература», 1994, № 9 и издательство «Медиум»

На премию **«Инолит»,** присуждаемую за лучший перевод или статью, напечатанные в 1994 году на страницах журнала «Иностранная литература», выдвинуты:

В. Бабков — за перевод романа Дж. Барнса «История мира в десяти с половиной главах» (№ 1)

Л. Бухов — за перевод пьесы С. Мрожека «Любовь в Крыму» (№ 10)

А. Карельский (посмертно) — за статью «Творческая индивидуальность переводчика и его «стилистический слух» (№ 6)

Е. Суриц — за перевод романа В. Вулф «Орландо» (№ 11)

И. Тогоева — за перевод романа Т. Моррисон «Возлюбленная» (№ 12)

Н. Федорова — за перевод романа Г. Гессе «Сиддхартха» (№ 9)

Н. Шульгина — за перевод романа М. Кундеры «Бессмертие» (№ 10)

Премии учреждены редакцией совместно с Конверсбанком. Объявление лауреатов состоится 6 апреля. Тогда же будет назван первый лауреат **премии имени А. Карельского,** учрежденной редакцией совместно с «Альманахом немецкой литературы» и присуждаемой за лучшую публикацию 1994 года в российской периодической печати на тему российско-немецких культурных связей.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А. О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража 46 700 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и библиотеки ряда стран СНГ 19 000 экз. журнала.

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О. Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, И. А. БРОДСКИЙ, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, П. М. ТОПЕР,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 март 1995

СОДЕРЖАНИЕ

АЛАН ЛАЙТМАН — Сны Эйнштейна *(Перевод с английского В. Харитонова. Послесловие Александра Гениса)* 5

САРА КИРШ — Стихи *(Перевод с немецкого Л. Керчиной, Л. Беринского. Вступление Вальдемара Вебера)* 39

МИХАЙ КОРНИШ — Рассказы *(Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева)* 44

ТОМАЖ ШАЛАМУН — Глаголы Солнца *(Стихи. Перевод со словенского Н. Эрвич. Вступление Надежды Арутюнян)* 71

Хочу все знать, или Американская энциклопедия на все случаи жизни *(Составление и перевод с английского А. Ливерганта)* 76

Из классики XX века

БОРИС ВИАН — Осень в Пекине *(Роман. Перевод с французского и вступление М. Аннинской)* 88

Публицистика

Б. ХЛЕБНИКОВ — Картинки с выставки (Заметки о Франкфуртской книжной ярмарке) 210

К нашим иллюстрациям

О. ХЛЕБНИКОВА — Граффитизм — искусство нью-йоркской подземки 220

У книжной витрины 221

Авторы этого номера 224

© «Иностранная литература», 1995

Апрельская книжка журнала посвящена столетию кинематографа. Среди многообразия сюжетов из жизни десятой музы мы выбрали один — кино и литература.

В следующем номере «ИЛ»

Повесть **«Джульетта»**, написанная от лица героини и опубликованная несколько лет спустя после выхода фильма «Джульетта и духи», впервые познакомит читателя с ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ — автором художественной прозы.

Мемуары МИЛОША ФОРМАНА **«Круговорот»** — блестящая книга режиссера, который не нуждается в рекомендациях.

Цветные иллюстрации номера — работы американских художников:

На 1-й стр. обложки — КЕННИ ШАРФ «В джунглях сперматозоидов» (1983).
На 2-й стр. обложки — КЕЙТ ХЕРИНГ «Плакат для универмага «Эмпориум Кэпвелл», Сан-Франциско» (1985).
На 3-й стр. обложки — КЕЙТ ХЕРИНГ «Без названия» (1985).

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 19.12.94. Подписано в печать 13.02.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 22,85. Заказ № 389.

Тираж 46 700 экз. Цена по подписке 4500 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

АЛАН ЛАЙТМАН
Сны Эйнштейна

Перевод с английского В. ХАРИТОНОВА

Пролог

В далеке башенные часы бьют шесть раз и смолкают. За столом, навалившись, сидит молодой человек. Он чуть свет пришел в бюро, за ночь сделав еще один рывок. У него спутанные волосы, мешковатые брюки. В руке десятка два скомканных листов, это его новая теория времени, сегодня он отошлет ее в немецкий физический журнал.

В комнате отзываются городские звуки. Звякнула о камень молочная бутылка. Скрипнула маркиза над витриной на Марктгассе. Медленно катит свою повозку зеленщик. В квартире неподалеку приглушенными голосами переговариваются мужчина и женщина.

В неясном свете, затопляющем комнату, конторские столы горбятся смутно, как звери на лежке. Перед молодым человеком лежат в беспорядке раскрытые книги, на других же двенадцати дубовых столах документы разложены аккуратно еще со вчерашнего дня. Через два часа пришедший служащий будет точно знать, с чего ему начинать. Но в эту минуту, в этом неясном свете документы не более различимы, чем часы в углу комнаты или стул секретаря у двери. Все, что можно разглядеть в эту минуту, это призрачные квадраты столов и сгорбленная фигура молодого человека.

Невидимые часы на стене показывают десять минут седьмого. С каждой минутой все новые предметы обретают явь. Вот появилась мусорная корзинка из медной проволоки. Вот объявился календарь на стене. Вот семейная фотография, коробочка с бумажными скрепками, чернильница, перо. Там пишущая машинка, жакет, брошенный на спинку стула. Скоро из ночного марева, обволакивающего стены, выступают стеллажи. На стеллажах папки с патентными заявками. В одной предлагается новое сверло с фаской, уменьшающей трение; в другой — электрический трансформатор, выдерживающий постоянное напряжение на выходе при изменениях питающего напряжения; в третьей — пишущая машинка с бесшумной кареткой. Эта комната полна практических идей.

Снаружи солнце зажигает вершины Альп. Стоит поздний июнь. Лодочник отвязывает на Аре свою плоскодонку и отталкивается веслом, течение несет его вдоль Арштрассе к Гербернгассе, где он продаст свои яблоки и ягоды. В свою пекарню на Марктгассе приходит пекарь, растапливает печь, месит тесто. Любовники обнимаются на мосту Нидегг, задумчиво смотрят на реку. С балкона на Шиффлаубе мужчина обозревает розовеющее небо. Страдающая бессонницей женщина бредет по Крамгассе, заглядывая в каждую темную подворотню, читая объявления в занимающемся свете.

В длинном пенале на Шпайхергассе, в комнате, полной практических идей, сидит, обмякнув на стуле, молодой служащий патентного бюро, опустив голову на стол. За несколько месяцев, начиная с середины апреля, он перевидел множество снов о времени. Сны завладели его исследованием. Сны вымотали его, опустошили настолько, что он уже не может отличить сны от яви. Теперь со снами покончено. Природа времени, во множестве вариантов являвшаяся ему ночами, теперь свелась к одному. И не то чтобы все другие варианты были невозможны. Другие варианты могут существовать в других мирах.

Молодой человек шевельнулся на стуле, он ждет, когда придет машинистка, и тихо мурлычет «Лунную сонату» Бетховена.

© 1993 by Alan Lightman

14 апреля 1905 г.

Допустим, время — замкнутый круг. Мир неукоснительно повторяется.

Люди по большей части не знают, что они заново проживут свои жизни. Торговцы не знают, что они снова и снова будут заключать все те же сделки. Политики не знают, что в круговерти времени они будут снова и снова возглашать свое все с той же трибуны. Родители благоговейно хранят память о первом смехе своего ребенка, словно никогда не услышат его снова. Любовники, любящие впервые, пугливо раздеваются, дивятся шелковистому бедру, хрупко вылепленному соску. Откуда им знать, что в точности как в первый раз они снова и снова и подсмотрят, и потрогают?

Все то же самое на Марктгассе. Откуда знать торговцу, что всякий свитер домашней выделки, всякий вышитый носовой платок, всякая плитка шоколада, всякий хитроумный компас и часы — все вернется на свои места? В сумерках торговцы возвращаются домой, в семью, либо пьют пиво в заведениях, радостно окликая друзей на крытых улочках, лелея каждое мгновение, словно изумруд, данный им во временное обладание. Откуда им знать, что ничто не временно, что все повторится вновь? Муравей, ползущий по краю хрустальной люстры, не больше их знает, что вернется туда, откуда начал ползти.

В больнице на Гербернгассе женщина прощается с мужем. Он лежит и смотрит на нее пустыми глазами. За два прошедших месяца рак, поселившийся у него в горле, поразил печень, желудок, мозг. В углу на одном стуле жмутся его малолетки дети, боясь поднять глаза на отца, увидеть его впавшие щеки, высохшую, старческую кожу. Жена подходит к постели, мягко касается губами его лба, шепчет прощальные слова и быстро уходит с детьми. Она уверена, что это был их последний поцелуй. Откуда ей знать, что время начнется заново, что она снова родится, снова будет ходить в гимназию, выставит свою живопись в цюрихской галерее, снова встретит своего мужа в маленькой библиотеке во Фрибуре, и в некий теплый июльский день они поплывут на ялике по Тунскому озеру, и она родит ему детей, и муж так же проработает в аптеке восемь лет, и однажды вечером вернется домой с комом в горле, и снова все бросит, и будет слабеть, и кончится в этой больнице, в этой палате, на этой койке — в эту самую минуту. Откуда ей все это знать?

В мире, где время — круг, каждое рукопожатие, каждый поцелуй, каждое рождение, каждое слово повторятся в точности. Как повторится минута, когда друзья раздружатся, и день, когда из-за денег распадется семья, и снова выкрикнутся злые слова в супружеском споре, и зависть начальника снова порушит надежды, и обещание снова не сдержится.

И как все повторится в будущем, так миллионы раз все происходило прежде. В каждом городе найдутся люди, которые в своих грезах смутно сознают повторяемость прошлого. У этих людей не задалась жизнь, и они чувствуют, что их заблуждения, опрометчивые шаги и неудачи все имели место на предыдущем витке времени. Глухой ночью эти обреченные борются с простынями, не имея отдыха, мучась сознанием того, что не могут изменить ни единого поступка, ни единого движения. Ошибки прошлой жизни в точности повторяются в этой. Эти вдвойне несчастные люди одни только и свидетельствуют о том, что время — это круг. В каждом городе глубокой ночью пустые улицы и балконы наполняются их стонами.

16 апреля 1905 г.

В этом мире время подобно потоку воды, который порою сбивают с пути речные наносы или налетевший ветер. То и дело какая-нибудь космическая пертурбация вынуждает ручеек времени уклониться от главного направления, начать попятное движение. Когда такое происходит, увлекаемые ветвящимися протоками птицы, грунт, люди оказываются снесенными в прошлое.

Отброшенных назад людей легко опознать. Они в темной невыразительной одежде, ходят на цыпочках, стараясь не произвести ни малейшего шума, не потревожить ни единой былинки. Они боятся, что любое нарушение в прошлом может губительно отозваться в будущем.

Вот сейчас, к примеру, такая личность вжимается в темную нишу у дома 19 по Крамгассе. Странное место для пришельца из будущего, но такое она себе выбрала. Прохожие идут, смотрят и удаляются. Она ежится на углу, потом семенит через улицу и оцепеневает на другом темном местечке, у дома 22. Она трепещет при мысли, что может поднять пыль, когда этим днем, 16 апреля 1905 года, в аптеку на Шпитальгассе направляется некий Петер Клаузен. Клаузен в некотором роде денди и не потерпит запачканной одежды. Если на одежду сядет пыль, он станет и старательно почистится, несмотря на неотложные дела. Если Клаузен порядком задержится, он вряд ли купит мазь для жены, а та уже какую неделю жалуется на боли в ноге. В таком случае жена Клаузена рассердится и может не поехать на Женевское озеро. Если же 23 июня 1905 года она не поедет на Женевское озеро, она не встретит некую Катрин Дэпине, гуляющую на восточной пристани, и не познакомит с мадемуазель Дэпине своего сына Рихарда. В свою очередь Рихард и Катрин не женятся 17 декабря 1908 года, не родят Фридриха 8 июля 1912-го. Фридрих Клаузен не станет отцом Ханса Клаузена 22 августа 1938 года, а без Ханса Клаузена в 1979-м не бывать Европейского союза.

Женщина из будущего, без спросу выброшенная в это время и на это место и старающаяся быть невидимой в своем темном углу у дома 22 по Крамгассе, знает историю Клаузенов, как знает тысячу других историй, еще только ждущих своего развития, зависящих от рождения детей, от ходьбы людей по улицам, от пения птиц в определенные минуты времени, от того, как расставлены стулья, от ветра. Она ежится в тени и не поднимает глаза на людей. Она ежится и ждет, чтобы поток времени вернул ее обратно, в ее время.

Когда пришельцу из будущего требуется говорить, он не говорит, а стенает. Он вышептывает страдальческие звуки. Он в отчаянии. Ведь если он что-то изменит в малейшей степени, он может погубить будущее. В то же время он вынужден быть безучастным свидетелем событий, не могущим ничего изменить. Он завидует людям, которые живут в своем собственном времени, могут поступать, как им хочется, не задумываясь о будущем, не ведая последствий своих действий. Он же действовать не может. Он инертный газ, дух, бездушная оболочка. Он утратил индивидуальность. Он изгнанник времени.

Таких вот несчастных людей из будущего можно найти в каждой деревне и в каждом городе, они прячутся под навесами домов, в подвалах, под мостами, в безжизненных полях. Их не спрашивают о грядущих событиях, о будущих браках, рождениях, о денежных делах, изобретениях, о возможных выгодах. Их оставляют в покое — и жалеют их.

19 апреля 1905 г.

Холодное сентябрьское утро, выпал первый снег. На балконе, с четвертого этажа нависающем над белой Крамгассе в виду фонтана Церингер, стоит человек в длиннополом кожаном пальто. На востоке он видит стройный шпиль кафедрального собора Святого Винсента, на западе — крутые гребни крыш на Цитглоггетурм. Однако человек не смотрит ни на восток, ни на запад. Он смотрит вниз, видит красную шляпку на снегу, он задумался. Надо ли ехать к той женщине во Фрибур? Его пальцы обжимают металлический поручень, отпускают, снова сжимают. Надо ли ехать? Надо ли?

Он решает не видеться с нею. Она женщина властная и резкая в суждениях, она может отравить ему жизнь. Может, он не будет ей вообще никак интересен. И он решает не видеться с нею больше. Так что он держится мужской компании. Он упорно занимается фармацевтикой, практически не замечая своей помощницы. По вечерам он ходит в пивную на Кохергассе, пьет с друзьями пиво, учится готовить фондю. Через три года он знакомится с женщиной из галантерейного магазина

в Невшателе. Она прелестна. Она любит его очень медленно — месяц за месяцем. Проходит год, и она переезжает к нему в Берн. Они мирно живут, совершают прогулки вдоль Аре, отлично подходят друг другу, стареют, всем довольны.

В другом мире мужчина в длинном кожаном пальто решает снова увидеться с женщиной из Фрибура. Он едва знает ее, она может оказаться властной, в ее поведении сквозит ветреность, но как мягчеет ее лицо, когда она улыбается, какой у нее смех, какая толковая речь. Да, он должен еще раз увидеться с нею. Он едет к ней во Фрибур, садится с ней на диван, и почти сразу у него начинает бухать сердце, он изнемогает от белизны ее рук. Они любят друг друга шумно и безудержно. Она настаивает, чтобы он переехал во Фрибур. Он оставляет работу в Берне и начинает служить на фрибурском почтамте. Он пылает любовью к ней. Каждый день он обедает дома. Они едят, любят друг друга, спорят, она жалуется, что не хватает денег, он оправдывается, она швыряет в него посуду, они снова любят друг друга, он возвращается на службу. Она грозит бросить его, но не бросает. Он живет для нее одной и счастлив своим страданием.

И в третьем мире он решает снова увидеть ее. Он ее едва знает, она может оказаться властной, в ее поведении сквозит ветреность, но как же она улыбается, как смеется, как толково говорит. Да, он должен увидеть ее снова. Он едет к ней во Фрибур, она встречает его на пороге, они пьют чай на кухне. Беседуют о работе: она — в библиотеке, он — в фармации. Через час она говорит, что ей нужно провéдать подругу, прощается с ним, они обмениваются рукопожатием. С опустошенным сердцем проезжает он тридцать километров до Берна, поднимается к себе на четвертый этаж на Крамгассе, выходит на балкон и смотрит вниз на красную шляпку, брошенную в снег.

Все три ряда событий совершаются одновременно. Ибо в этом мире время имеет три измерения, как пространство. Подобно тому как предмет может перемещаться в трех перпендикулярных направлениях, а именно горизонтально, вертикально и в глубину, точно так же он может участвовать в трех перпендикулярных будущих временах. Каждому будущему задано свое направление. Каждое будущее — реальность. Когда принимается решение, поехать ли к женщине во Фрибур или купить новое пальто, мир расщепляется на три мира, в каждом из них те же самые люди, но судьбы у них разные. Время — это бесчисленность миров.

Иные пренебрегают решениями, полагая так: чему быть, того не миновать. В таком мире — как отвечать за свои поступки? Другие считают, что всякое решение должно быть продуманным и обязательным к выполнéнию, что без обязательств наступит хаос. Эти люди приживаются в несовместных мирах, коль скоро могут обосновать каждый из них.

24 апреля 1905 г.

В этом мире два времени. Есть механическое время — и есть биологическое. Первое время меднолобое, точно тяжелый железный маятник, что раскачивается взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Другое время резвится, как голубая рыба в заливе. Первое неуклонно движется по заданному пути. Второе решает за себя на ходу.

Многие убеждены, что механического времени не существует. Проходя мимо гигантских часов на Крамгассе, они не глядят на них; не слышат они и курантов, отправляя посылки с Постгассе или прогуливаясь между клумбами в Розенгартене. Они носят на запястье часы как украшение или уважая чувства тех, для кого хронометр — лучший подарок. У себя дома они не держат часов. Они прислушиваются к биению своего сердца. Им внятны ритмы их желаний и капризов. Эти люди едят, чувствуя голод, отправляются на работу в шляпную мастерскую или в аптеку, встав ото сна, занимаются любовью во всякое время дня. Этим людям смешна сама мысль о механическом времени. Они знают, что время движется рывками. Они знают, что время с трудом ползет вперед, нагруженное, когда они несут ушибшегося ребенка в больницу или терпят взгляд обиженного соседа. Они знают и то, что время вырывается из поля зрения, когда они закусывают с друзьями, когда их хвалят или когда они лежат в объятьях тайного любовника.

Есть и другие — эти не признают своего тела. Они живут по механическому времени. Встают в семь часов утра. В полдень едят ленч, в шесть ужинают. Вовремя, по часам, приходят на встречу. Они занимаются любовью между восьмью и десятью вечера. Работают сорок часов в неделю. В воскресенье читают воскресную газету, по вторникам играют в шахматы вечером. Когда у них урчит в животе, они глядят на часы — не пора ли есть. Когда их увлекает концерт, они смотрят на часы над эстрадой, чтобы не припоздниться домой. Они знают, что тело не заключает в себе ничего фантастического, оно — конгломерат химических элементов, тканей и нервных импульсов. Мысли не более чем электрическое возмущение в мозгу. Сексуальное возбуждение не более чем приток химических элементов к нервным окончаниям. Грусть не более чем воздействие кислоты на мозжечок. Коротко говоря, тело — это машина, так же послушная законам электричества и механики, как электрон или часы. И обращаться к телу следует на языке физики. Если тело подаст голос, это будет голос рычагов и приложенных сил. Надо не слушаться тела, но повелевать им.

Прогуливаясь по ночному холодку вдоль Аре, убеждаешься в совместности двух миров — в одном. Увлекаемый течением, лодочник ориентируется в темноте, считая по секундам: «Раз — три метра. Два — шесть метров. Три — девять метров». Его мерный голос звучит ясно и четко в темноте. Под фонарем на мосту Нидегг выпивают и смеются два брата, не видевшиеся целый год. Колокол кафедрального собора Святого Винсента бьет десять раз. В считанные секунды в домах по Шиффлаубе гаснут огни — с механической обязательностью, как следуют один из другого выводы в евклидовой геометрии. Лежащие на берегу любовники нехотя поднимают головы, разбуженные от безвременья сна далеким колокольным звоном, озадаченные приходом ночи.

Беда, когда оба времени сходятся. Благо. когда оба времени идут каждое своим путем. Тогда чудесным образом и адвокат, и сиделка, и пекарь обретают мир в каждом времени, но никак не в обоих. У каждого времени своя правда, но это разные правды.

26 апреля 1905 г.

В этом мире сразу отмечается некоторая странность. Ни в долинах, ни на равнине нет домов. Люди живут в горах.

Некогда в прошлом ученые открыли, что по мере удаления от центра земли время течет медленнее. Эффект крохотный, но чувствительные инструменты его отмечают. Как скоро об этом явлении прознали, жаждущие остаться молодыми индивидуумы двинулись в горы. Теперь домами заставлены Дом, Маттерхорн, Монте-Роза и прочие высоты. В других местах продать жилье невозможно.

Многим недостаточно просто обитать на горе. Чтобы добиться максимального эффекта, они строят дома на сваях. По всему миру вершины гор обставлены такими домами, словно их обсели стаи долгоногих тучных птиц. Те, кому хочется жить дольше всех, ставят дома на самые высокие сваи. Поэтому некоторые дома тянутся на рахитичных ножках до полумили. Высота определяет положение. Когда человек, подняв глаза, высматривает соседа в кухонное окно, он думает, что у соседа не так скоро, как у него, деревенеют суставы, выпадают волосы, морщинится лицо, не так рано иссякает любовное рвение. Также, глядя на нижний дом, человек склонен расценивать его обитателей как никчемных, слабых, недальновидных людей. Иные хвастают, что всю жизнь живут на вышине, что родились в самом высоком доме на самой высокой горной вершине и никогда не спускались вниз. Они приветствуют свою юность в зеркалах и нагими разгуливают по балконам.

Время от времени настоятельные дела вынуждают людей спускаться, они делают это в спешке, сверзиваясь по высоким лестницам на землю, перебегая к другой лестнице или сбегая в долину, улаживая дела — и скорее, скорее возвращаясь домой либо на какое другое высокое место. Они знают, что с каждым их шагом вниз время убыстряет ход и они быстрее старятся. На земле они даже не присядут. Они бегают, прижимая к себе портфели и сумки.

В каждом городе отыщется группа обывателей, безразличных к тому, что они стареют на несколько секунд быстрее своих соседей. Эти отчаянные люди спускаются в нижний мир, бывает, на несколько дней, полеживают под деревьями, растущими на равнинах, лениво плещутся в озерах, лежащих на теплых высотах, катаются по ровной земле. Они почти не смотрят на часы и не скажут, понедельник сегодня или вторник. Когда мимо них, глумясь, пробегают люди, они только улыбаются в ответ.

Идет время, и люди забывают, почему выше значит лучше. Тем не менее они продолжают жить в горах, избегают низменностей, учат детей, чтобы те остерегали своих детей от низин. Они привыкли переносить холод и принимают неудобства как должное. Они даже убедили себя в том, что разреженный воздух полезен их организму, и, следуя этой логике, перешли на строгую диету, ограничив себя самой легкой пищей. В конечном счете они стали невесомы, как воздух,— кожа да кости,— и состарились до времени.

28 апреля 1905 г.

Ни пройтись по проспекту, ни перемолвиться с приятелем, ни войти в дом, ни поглазеть на витрины под старой аркадой из песчаника не получится в обход тех или иных хронометров. Всюду зримо присутствует время. Башенные часы, ручные часы, церковные колокола делят годы на месяцы, месяцы — на дни, дни — на часы, часы — на секунды, и всякое приращение времени совершается неукоснительным порядком. И мимо всех и всяческих хронометров крепью держит вселенную костяк времени, утверждая закон времени, одинаковый для всех. В этом мире секунда есть секунда всегда. Время шествует вперед с поразительной размеренностью, с одной и той же скоростью во всех уголках пространства. Время — неограниченный правитель. Время — абсолют.

Каждый день бернские обыватели собираются на западном конце Крамгассе. Там без четырех минут три Цитглоггетурм отдает дань времени. На высокой башенке танцуют шуты, кричат петухи, на дудочках и барабанах играют медведи, движения и звуки подчиняя вращению шестеренок, в свою очередь одушевленных безупречностью времени. Ровно в три часа тяжелый колокол бьет три раза, люди сверяют часы и возвращаются к себе в конторы на Шпайхергассе, в лавки на Марктгассе, на фермы в заречье Аре.

Для людей религиозных время есть свидетельство о Боге. Ибо не может быть совершенства без Творца. Универсальное не может не быть божественным. Все абсолютные понятия суть часть Единого Абсолюта. В ряду с абсолютными понятиями стоит и время. Вот почему философы-моралисты помещают время в центр своей догмы. Время — это та система координат, по которой выверяются все поступки. Время — это ясность, отделяющая истинное от ложного.

В магазине белья на Амтхаусгассе женщина разговаривает с подругой. Та только что потеряла работу. Она двадцать лет прослужила в Бундесхаусе стенографисткой. На ней держалась семья. У нее дочь-школьница и муж, каждое утро тратящий два часа на свой туалет,— и вот ее уволили. Ее густо намазанная, гротескного вида начальница вошла утром и велела очистить стол к завтрашнему дню. Подруга-продавщица молча слушает, аккуратно сворачивает салфетку, которую та купила, снимает пушинку со свитера свежеиспеченной безработной. Подруги договариваются встретиться завтра и выпить чаю в десять утра. В десять часов. До встречи семнадцать часов и пятьдесят три минуты. Впервые за все эти дни женщина-безработная улыбается. Она воображает свои кухонные часы, отстукивающие секунды между теперешним временем и завтрашними десятью часами — безостановочно, безоговорочно. И воображает такие же часы в доме своей подруги, так же точно идущие. Завтра, без двадцати десять, женщина обмотает шею шарфом, наденет перчатки и пальто и по Шиффлаубе мимо моста Нидегг отправится в кафе на Постгассе. Туда же без четверти десять через центр города из своего дома на Цойгхаусгассе выйдет ее подруга. В десять часов они встретятся. Они встретятся в десять часов.

Мир, в котором время представляет собой абсолютную величину, есть мир, дарующий утешение. Ибо движения людей непредсказуемы, а движение времени предсказуемо. Если люди сомнительны, то время несомненно. Если люди предаются размышлениям, то время стремится вперед не оглядываясь. В кофейнях, в государственных учреждениях, в лодках на Женевском озере люди смотрят на часы и находят убежище во времени. Все знают, что где-то зафиксирована минута, когда они родились, когда сделали первый шаг, когда впервые проснулось чувство, когда попрощались с родителями.

3 мая 1905 г.

Вообразите мир, где причина и следствие меняются местами. Иногда первое предшествует второму, иногда второе — первому. Пусть даже причина всегда лежит в прошлом, а следствие — в будущем: прошлое и будущее взаимосвязаны.

С площадки Бундестеррас открывается поразительный вид: внизу река Аре, выше Бернские Альпы. Сейчас там стоит мужчина, он рассеянно опоражнивает карманы и плачет. Без всяких причин его покинули друзья. К нему никто не заходит, не ужинает с ним и не пьет пиво в кабачке, не приглашает к себе. Двадцать лет он был образцовым другом — великодушным, заинтересованным, вникающим, любящим. Что же могло случиться? Неделю спустя этот самый человек пускается во все тяжкие: всех оскорбляет, ходит в зловонном тряпьё, скопидомничает, никого не пускает к себе в квартиру на Лаупенштрассе. Что здесь причина и что следствие? Что будущее и что прошлое?

Недавно в Цюрихе муниципалитет одобрил строгие меры. Публике запрещено продавать пистолеты. Банки и торговые дома подлежат проверке. На предмет контрабанды проверяются все приезжие — как пароходом по реке Лиммат, так и железной дорогой от Зельнау. Силы гражданской обороны удвоены. Спустя месяц после принятия этих крутых мер Цюрих сотрясают неслыханные преступления. Среди бела дня на Вайнплац убивают людей, из Кунстхауса крадут картины, в церкви на Мюнстерхоф устраиваются пьянки. На своем ли месте во времени эти правонарушения? Может, новые указы скорее развязали действия, нежели противодействовали им?

В Ботаническом саду у фонтана сидит молодая женщина. Каждое воскресенье она приходит сюда обонять белые фиалки, мускусную розу, матово-розовый левкой. Вдруг ее сердце взмывает, она краснеет, взволнованно ходит, она чувствует себя беспричинно счастливой. Проходят дни, она встречает молодого человека, и ее охватывает любовь. Не связаны ли эти события? Но как же прихотлива эта связь, как извернулось здесь время, как извратилась логика.

В этом беспричинном мире ученые беспомощны. Их предсказания оборачиваются констатацией факта. Их уравнения сводятся к оправданию, логика оказывается нелогичной. Ученые теряют голову и что-то бормочут, как зарвавшиеся игроки. Ученые — шуты, и не потому, что они разумны, но потому, что неразумен космос. А может, не потому, что неразумен космос, но потому, что разумны — они. В беспричинном мире кто скажет, что есть что?

В этом мире художники несут радость. Непредсказуемость дает жизнь их картинам, их музыке, их романам. Они упиваются непредсказанными событиями, случившимися необъяснимо, без прошлого.

В большинстве своем люди научились жить настоящим моментом. Распространено мнение, что если воздействие прошлого на настоящее имеет неопределенный характер, то нет и необходимости размышлять о прошлом. И если настоящее имеет малое воздействие или влияние на будущее, то относительно нынешних поступков не следует прикидывать последствия. Всякое действие есть островок во времени, и судить о нем надо по нему самому. Семья ублажает умирающего дядюшку не ввиду ожидаемого наследства, а потому что в эту самую минуту его любят. Служащих нанимают не по рекомендательным письмам, а потому, что они толково провели беседу. Обиженные хозяевами клерки отражают оскорбления, не тревожась о будущем. Этот мир живет спонтанно. Это честный мир. В нем всякое слово

говорится по велению минуты, всякий взгляд однозначен, всякое касание не имеет ни прошлого, ни будущего, всякий поцелуй совершается по движению души.

4 мая 1905 г.

Вечер. Две супружеские пары — швейцарцы и англичане — обедают за своим обычным столом в отеле «Сан Мурецщан» в Сент-Морице. Они встречаются здесь каждый год в июне, общаются и принимают воды. Мужчинам необыкновенно идут их темные галстуки и широкие пояса, женщин красят вечерние платья. По отменному паркету к ним подходит официант, берет заказ.

— Я полагаю, завтра будет замечательная погода,— говорит женщина в парчовой накидке.— Будет большое облегчение.— Другие кивают.— Принимать ванны приятнее в солнечную погоду. Хотя вряд ли это имеет значение.

— «Легкий на ногу» идет четыре к одному в Дублине,— говорит адмирал.— Я бы на него поставил, будь у меня деньги.— Он подмигивает жене.

— Если вы играете, даю пять к одному,— говорит другой.

Дамы разламывают булочки, мажут маслом половинки, аккуратно составляют ножи к масленке. Мужчины не сводят глаз с входной двери.

— Мне нравится тесьма на салфетке,— говорит дама в парчовой накидке. Она берет салфетку, разворачивает ее, сворачивает.

— Ты говоришь это каждый год, Жозефина,— с улыбкой говорит другая.

Подают обед. Сегодня у них омары, спаржа, жаркое, белое вино.

— Как твое мясо? — говорит дама в парчовой накидке, глядя на мужа.

— Превосходно. А у тебя?

— Специй многовато. Помнишь — как на прошлой неделе?

— А ваше мясо, адмирал?

— От грудинки еще никогда не отказывался,— объявляет счастливым голосом адмирал.

— А по комплекции незаметно,— замечает собеседник.— С прошлого года, как, впрочем, и за последние десять лет, вы не прибавили ни килограмма.

— Вам, может, незаметно, зато ей заметно,— говорит адмирал и подмигивает жене.

— Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, в этом году в комнатах сквозняки,— говорит адмиральша. Другие кивают, занимаясь омаром и мясом.— Мне всегда лучше спится в проветренных комнатах, но от сквозняков я просыпаюсь с кашлем.

— Накрывайтесь с головой,— говорит другая.

Адмиральша согласно кивает, но смотрит озадаченно.

— Суньте голову под простыню, и сквозняк будет вам нипочем,— повторяет другая.— Со мной это постоянная история в Гриндельвальде. Постель стоит у окна. Его можно оставлять открытым, если натянуть простыню на лицо. Тогда и не простудишься.

Дама с парчовой накидкой ерзает на стуле, переставляет под столом ноги.

Подают кофе. Мужчины уходят в курительную, женщины выходят на просторную веранду и опускаются на плетеные качели.

— Как подвинулось дело с прошлого года? — спрашивает адмирал.

— Не жалуюсь,— отвечает другой, прихлебывая коньяк.

— Дети?

— Стали на год старше.

На веранде раскачиваются женщины и смотрят в ночную темь.

И так в каждом отеле, в каждом доме, в каждом городе. Ибо в этом мире время проходит, а случается немногое. И как мало что происходит из года в год, так же мало что происходит из месяца в месяц, изо дня в день. Если время и ход событий одно и то же, то время вообще едва движется. Если время и события не одно и то же, тогда едва движутся люди. Если человек ни к чему не стремится в этом мире, он страдает, не ведая этого. Если человек к чему-то стремится, он страдает — и знает это, но страдает очень не спеша.

Интерлюдия

На склоне дня Эйнштейн и Бессо медленно бредут по Шпайхергассе. Это тихое время. Лавочники опускают тенты и выводят на улицу велосипеды. Со второго этажа мать кричит из окна дочери, чтобы та шла домой и готовила обед.

Эйнштейн объяснял другу, для чего ему хочется понять время. Но про сны он ничего не сказал. Сейчас они придут к Бессо домой. Иногда Эйнштейн застревает здесь на обед, и тогда Милева приходит за ним с парнишкой на руках. Обычно это случается, когда Эйнштейна захватывают новые планы, как сейчас, и тогда в течение всего обеда он дергает ногой под столом. Сотрапезник он неважный.

Эйнштейн склоняется к Бессо, а тот тоже коротышка, и говорит:

— Я хочу понять время, чтобы быть ближе к Богу.

Бессо согласно кивает. Но тут возникают вопросы, и он их ставит. Может статься, Богу неинтересно быть ближе к своим созданиям — что разумным, что неразумным. Во-вторых, не факт, что понимать значит быть ближе. И наконец, эта работа над проблемой времени может оказаться не по силам двадцатишестилетнему человеку.

С другой стороны, Бессо считает, что его друг способен на многое. Уже в этом году Эйнштейн закончил свою докторскую диссертацию, написал статью о фотонах и еще одну о броуновском движении. В сущности, и этот его замысел начался с исследований электричества и магнетизма, что требует, как о том объявил однажды Эйнштейн, пересмотра концепции времени. Бессо поражается его запросам.

Пока он оставляет Эйнштейна наедине с его мыслями. Он гадает, что приготовила к обеду Анна, и заглядывает в глубь боковой улочки, где в лучах заходящего солнца поблескивает на Аре серебряная лодка. При ходьбе оба мягко постукивают по булыжнику каблуками. Они знают друг друга со студенческих лет в Цюрихе.

— Из Рима получил письмо от брата,— говорит Бессо.— Приедет погостить на месяц. Анна его любит, потому что он всегда делает комплименты ее фигуре.— Эйнштейн рассеянно улыбается.— Пока будет брат, я не смогу гулять с тобой после работы. Ты не пропадешь?

— Что? — спрашивает Эйнштейн.

— Я не смогу бывать с тобой подолгу, пока тут будет брат,— повторяет Бессо.— Справишься без меня?

— Безусловно,— говорит Эйнштейн.— Не беспокойся обо мне.

Сколько знает его Бессо, Эйнштейн всегда был самостоятельным человеком. Он вырос в семье, которая постоянно переезжала с места на место. Как и Бессо, он женат, но с женою почти не появляется. Даже дома он глубокой ночью сбегает от Милевы на кухню, исписывает страницы уравнениями, которые на следующий день в конторе показывает Бессо.

Бессо бросает на друга любопытный взгляд. Потому что мечта о близости кажется странной для отшельника и погруженного в себя человека.

8 мая 1905 г.

Конец света наступит 26 сентября 1907 года. Все это знают.

В Берне дело обстоит так же, как во всех столицах и городах. За год до конца света закрываются школы. Зачем учиться впрок, когда будущего осталось всего ничего? В восторге от того, что у них никогда больше не будет уроков, дети играют в прятки в пассажах Крамгассе, бегают по Арштрассе и «пекут блины» на реке, спускают свои монетки на леденцы и лакричные конфеты. Родители им все позволяют.

За месяц до конца сворачиваются все дела. Бундесхаус прекращает свою деятельность. На Шпайхергассе стихает федеральный телеграф. Встают часовая фабрика на Лаупенштрассе, мельница у моста Нидегг. К чему коммерция, зачем производство, когда осталось так мало времени?

Люди сидят в уличных кафе на Амтхаусгассе, прихлебывают кофе и откровенничают друг с другом. Воздух дышит освобождением. Кареглазая женщина, к примеру, жалуется матери, как мало они бывали вместе, когда она была маленькой, а мать работала белошвеей. Они решают съездить в Люцерн. Они вместят обе жизни в этот малый остаток времени. За соседним столиком мужчина рассказывает другу о ненавистном начальнике: тот после работы занимается любовью с его женой в раздевалке и грозит уволить его, если он или его жена поднимут скандал. Но теперь-то чего бояться? Мужчина свел счеты с начальником и помирился с женой. С легким сердцем он вытягивает ноги и уводит глаза к вершинам Альп.

В пекарне на Марктгассе толстопалый пекарь ставит тесто в печь и напевает. В эти дни, покупая хлеб, люди вежливы, они улыбаются и сразу платят, поскольку деньги теряют цену. Они говорят о пикниках во Фрибуре, о незабвенных временах, когда они слушали рассказы своих детей, о долгих дневных прогулках. Похоже, они не возражают против скорого конца света, поскольку всех ожидает одна участь. Мир сроком на один месяц — это мир равенства.

За день до конца улицы взрываются хохотом. Никогда не говорившие друг с другом соседи встречаются по-дружески, раздеваются и плещутся в фонтанах. Кто-то ныряет в Аре. Наплававшись до изнеможения, люди ложатся на густую береговую траву и читают стихи. Прежде не знавшие друг друга адвокат и почтовый служащий рука об руку гуляют по Ботаническому саду, улыбаются, завидев цикламены и астры, рассуждают об искусстве и цвете. Что значит их прежнее положение? В мире одного дня они равны.

В сумерках улицы направо с Арбергергассе прислонились к стене мужчина и женщина, пьют пиво и жуют копченую говядину. После она поведет его к себе. Она замужем за другим, но уже многие годы ей нужен этот мужчина, и в последний день мира она удовлетворит свою потребность.

Искупая прошлые злодеяния, кто-то мечется по городу и творит добро. Эти люди единственные улыбаются вымученно.

За минуту до конца света все сходятся перед Кунстмузеум. Взявшись за руки, мужчины, женщины и дети образуют огромный круг. Никто не двигается. Никто не говорит. В этой абсолютной тишине слышно, как бьются сердца соседей справа и слева. Идет последняя минута. В этой абсолютной тишине, поймав луч света, в саду с исподу вспыхивает пурпурная горечавка, краткий миг она пылает, потом теряется среди других цветов. За музеем под набежавшим ветром трепещет хвоей лиственница. Еще дальше за деревьями парка Аре посверкивает на солнце, на ее зыбкой поверхности крошится его свет. На западе вздымается в небо башня Святого Винсента, красная и хрупкая, ее каменная ажурность подобна жилкам листа. Еще выше снежные вершины Альп, сплав белизны и пурпура, безмолвные громады. По небу плывет облако. Суетится воробей. Никто не говорит.

В последние секунды, вот так, держась за руки, они все словно бросаются вниз с пика Топаз. Конец приближается, как несущаяся навстречу земля. Их обдает холодный воздух, тела делаются невесомы. Широко раздвигается безмолвный горизонт. Все ближе неохватное снежное одеяло, готовое принять и укрыть телесно-розовое кольцо жизни.

10 мая 1905 г.

День клонится к вечеру, и солнце ненадолго прикорнуло в снежной седловине Альп, огонь ластится ко льду. Косые лучи света обтекли горы, пересекли покойное озеро, поделили нижний город на тень и свет.

Во многих отношениях город представляет собой единое целое. С севера на запад его замыкает проходимая граница еловых, лиственничных и сосновых лесов, а повыше растут огненные лилии, пурпурные горечавки, альпийский водосбор. Ради масла, сыра и шоколада на пригородных пастбищах тучнеет скот. Ткацкая фабричка производит шелка, тесьму, хлопчатобумажное полотно. Звонит церковный колокол. Улицы и проулки наполняет запах копченого мяса.

Однако внимательный глаз выявит мозаичность города. Есть квартал, который живет в пятнадцатом веке. Здесь этажи домов грубой кладки соединяются наружными лестницами и галереями, а верхние щипцы зияют и открыты ветру. В стыках плиточных крыш растет мох. Другой район городишка прямо сошел с картины восемнадцатого века. Бурая обожженная черепица топорщится на вытянутых в струнку крышах. В церкви округлые окна, выступающие крытые галереи, гранитные парапеты. А третий район живет в сегодняшнем дне, здесь аркады тянутся вдоль улиц, на балконах металлические поручни, фасады выложены гладким песчаником. Каждый квартал закреплен за своим временем.

В завершение дня, в эти несколько минут, когда солнце покоится в снеговой седловине Альп, можно присесть у озера и поразмышлять о свойствах времени. Предположительно время может быть гладким и грубым, колючим и шелковым, жестким и мягким. А в этом мире время — липкая материя. Разные части города где-то завязли в истории и дальше не пошли. Также и люди увязают в каком-то месте своей жизни и уже не могут выдраться.

Вот сейчас в одном из домов предгорья человек беседует с другом. Он рассказывает о годах учения в гимназии. По стенам висят свидетельства его успехов в математике и истории, на книжных полках лежат спортивные медали и стоят кубки. На столе фотография, где он капитан фехтовальной команды, в обнимку с ним другие юноши, которые потом окончили университет, стали инженерами и банкирами, женились. В комоде хранится его тогдашнего, двадцатилетнего, одежда — фехтовальная куртка, твидовые штаны, теперь уже тесные в поясе. Его друг, годами пытавшийся свести его с людьми, вежливо кивает, старается не задохнуться в крохотной комнатушке.

В другом доме человек сидит за столом с двумя приборами. Десять лет назад он сидел так же против отца и не мог сказать, как он любит его, он перебирал в памяти детские годы, ища какую-нибудь минуту близости, вспоминал вечера, когда молчаливый человек сидел одиноко с книгой и он не смог сказать ему, как он его любит, не смог. На столе две тарелки, два бокала, две вилки — все, как в тот последний вечер. Он начинает есть, кусок не идет в горло; он безудержно рыдает. Он так и не сказал, что любит его.

В третьем доме женщина любовно смотрит на фотографию сына — молодого, смеющегося, полного жизни. Она пишет ему по давно не существующему адресу, воображает счастливые ответные письма. Когда сын стучит в ее дверь, она не отвечает. Когда он с распухшим лицом и остекленевшими глазами кричит ей с улицы и просит денег, она не слышит его. Когда сын, нетвердо подойдя к двери, оставляет ей записки, умоляя увидеться, она выбрасывает их потом, не читая. Когда сын с вечера встает под ее окнами, она пораньше ложится спать. Утром она смотрит на фотографию, пишет любящие письма по давно не существующему адресу.

Старая дева видит лицо юноши, любившего ее, в зеркале спальни, на потолке в булочной, на глади озера, в небе.

Трагедия этого мира в том, что все несчастны, завязнув в горе — либо в радости. Трагедия этого мира в том, что все одиноки. Ибо прошлой жизни нечего делать в сегодняшней. Всякий, кто увязнул там, остается там один.

11 мая 1905 г.

Слоняясь по Марктгассе, нельзя не поразиться увиденному. На фруктовых лотках ровными рядами выложены вишни, в галантерейном магазине аккуратными стопками составлены шляпы, на балконах в строгой симметрии подобраны цветы, пол чисто выметен в булочной, насухо вытерт в молочной. Все знает свое место.

Когда подгулявшая компания уходит из ресторана, у столов даже более прибранный вид, чем прежде. Когда ветерок обдувает улицы, он делает уборку, унося на край города пыль и мусор. Когда волна размывает берег, берег потом сам приводит себя в порядок. Когда с деревьев падают листья, они устилают землю углом, как севшие птицы. Когда из облака вылепливается голова, она такой и останется. Когда труба дымит в окно, сажу относит в угол комнаты, воздух

остается чистым. Открытые ветру и дождю окрашенные балконы со временем только хорошеют. При звуке грома восстанавливается разбитая ваза, осколки в точности занимают свои места и скрепляются. Душистый запах с кори́чной тачки со временем не ослабевает, но только крепнет.

Не правда ли, все это выглядит необычно?

В этом мире время несет с собою возрастающий порядок. Порядок суть закон природы, универсальная установка, космическая директива. Если время — стрела, то цель ее — порядок. Будущее — это модель, структура, согласие, сосредоточенность; прошлое — произвол, путаница, разлад, рассеяние.

Философы порешили на том, что без устремления к порядку время утрачивает смысл. Будущее станет неотличимо от прошлого. Последовательность событий предстанет хаосом положений, надерганных из тысячи романов. История представится смутной, как та дымка, что вечерами обволакивает кроны деревьев.

В таком мире обитатели запущенных домов лежат в постелях и ждут, когда природные стихии сметут пыль с подоконников и расставят обувь в чулане. Запустив дела, люди могут бражничать, между тем как дни пойдут своим чередом, сами собой устроятся нужные встречи, оплатятся счета. Можно кое-как покидать в ридикюль губную помаду, кисточки, письма, уповая на то, что все само собою разберется. Не надо подрезать деревья в саду, выпалывать сорняки. На рабочих столах к концу дня отменный порядок. Одежда, брошенная вечером на пол, утром лежит на стуле. Отыскиваются пропавшие носки.

На другой лад нельзя не поразиться увиденному, посетив город весной. Ибо весной жителям осточертевает порядок в их жизни. Весной люди с бешеной энергией захламливают дома. Они наносят грязь, крушат стулья, бьют окна. Весной на Арбергергассе, как на любой другой жилой улице, слышны звуки битого стекла, вопли, стоны, смех. Весной люди встречаются без договоренности, сжигают росписи деловых встреч, выбрасывают часы, пьют ночь напролет. Это горячечное самозабвение продолжается до самого лета, когда люди придут в чувство и призовут себя к порядку.

14 мая 1905 г.

Есть место, где время недвижимо. Капли дождя повисают в воздухе. Маятники часов замирают на мертвой точке. Собаки задирают морды с безгласным воем. Прохожие оцепеневают на пыльных улицах с вздернутой, как у марионетки, ногой. Запахи фиников, манго, кориандра, тмина взвесью стоят в воздухе.

С какой бы стороны ни приближался к этому месту пришелец, он все больше и больше замедляет шаг. Все реже постукивает его сердце, задерживается дыхание, падает температура, съеживаются мысли, покуда он не достигнет мертвой точки и не станет. Ибо здесь циркульная ножка времени. Отсюда время распространяется вовне концентрическими кругами — от состояния покоя в центре все быстрее по мере нарастания диаметра.

Кто посещает средоточие времени? Родители с детьми и любовники.

И точно, тут, где время недвижимо, родители стискивают детей в костенеющем объятье, которое уже не отпустит. Красавица дочь, голубоглазая блондинка, никогда не перестанет улыбаться нынешней улыбкой, не утратит мягкого румянца, не сморщится и не увянет, никогда не понесет обиды, не забудет родительских наставлений, никогда не задумается о том, о чем не ведают родители, не вкусит порока, не скажет родителям, что не любит их, не оставит свою комнату ради заокеанской мечты, никогда не отлепится от них.

Тут же, где время недвижимо, в тени домов целуются любовники, стиснув друг друга в костенеющем объятье, которое уже не разомкнется. Любовник никогда не уберет руки с обретенного места, никогда не вернет памятный браслет, никогда не уедет далеко от любимой, никогда, жертвуя собой, не подвергнется опасности, никогда не устанет выказывать любовь, не станет ревновать, не полюбит другую, никогда не погасит жар этого краткого отрезка времени.

Надо еще иметь в виду, что эти фигуры освещаются слабейшим красным

светом, поскольку в центральной точке времени света практически нет, колебания волн замедленны, как эхо в каньонах, сила убывает до слабого мерцания светлячков.

Вблизи мертвой точки движение возможно, но так движутся ледники. Год может потребоваться на то, чтобы провести щеткой по волосам, тысячелетие — на один поцелуй. Пока тут обменяются улыбкой, в наружном мире сменятся времена года. Пока стиснут в объятьях ребенка, там перебросят мосты. Пока выговорят прощальные слова, там падут и забудутся города.

Те же, кто возвращается в наружный мир... Дети быстро вырастают, забывают вечность длившиеся объятья родителей — для них теперь это было несколько секунд. Дети становятся взрослыми, живут вдали от родителей, своим домом, учатся жить своим умом, болеют, стареют. Дети клянут родителей за то, что те пытались навсегда удержать их при себе, клянут время за морщинистую кожу и охрипшие голоса. Эти теперь уже старые дети тоже хотят остановить время, вернув его вспять. Они хотят, чтобы их собственные дети примерзли к той центральной точке времени.

Вернувшиеся любовники узнают, что их друзья давно умерли. Шутка сказать, сменились поколения. Они обретаются в неузнаваемом мире. Вернувшиеся любовники по-прежнему обнимаются в тени домов, но теперь это пустые и односторонние объятья. Скоро они забывают вечные обещания, данные, как им кажется теперь, впопыхах. Они ревнуют друг друга даже на людях, бросают друг другу злые слова, теряют жар, разлучаются и одиноко стареют в мире, которого не знают.

Одни говорят, что лучше не подходить к средоточию времени. Жизнь — это сосуд печали, но прожить жизнь — достойное дело, а без времени жизни нет. Другие не соглашаются. По ним, лучше благостная вечность, даже если это оцепенелая и стылая вечность, какую коротает наколотая бабочка в коробке.

15 мая 1905 г.

Вообразите мир, в котором нет времени. Одни образы.

Девочка на берегу, ошеломленная первой встречей с океаном. Женщина на балконе в рассветный час, распущенные волосы, шелковая ночная рубашка, босые ноги, губы. Крутой свод пассажа близ фонтана Церингер на Крамгассе, песчаник и железо. Мужчина в тиши своего кабинета с фотографией женщины в руке, гримаса боли на его лице. Скопа, позирующая в небе, раскинув крылья, лучи солнца пронзают перья. Мальчик один в пустом зале, его сердце частит, словно он стоит на сцене. Следы на снегу, зимний остров. Судно в ночном дрейфе, его смутные издали огоньки похожи на красную звездочку в черном небе. Запертый стеклянный шкаф с лекарствами. Осенний лист на земле, багряно-золотой с бурым, хрупкий. Женщина, притаившаяся за кустами у дома, где теперь живет ее муж, ей нужно с ним поговорить. Под теплым весенним дождиком молодой человек напоследок обходит любимые места. Пыль на подоконнике. Лоток с перцами на Марктгассе — желтыми, зелеными, красными. Маттерхорн, белоснежной зубчатой короной вспарывающий небесную твердь, зеленая долина, бревенчатые домики. Игольное ушко. Роса на листьях, хрусталь, опалы. Рыдающая в постели мать, в воздухе запах базилика. Совсем юный велосипедист на Кляйне Шанце, для второй такой улыбки ему не хватит целой жизни. Высокий восьмиугольник молитвенной башни с открытым балконом — величественный, увешанный гербами. Утренняя дымка над озером. Выдвинутый ящик комода. Два друга в кафе, лицо одного освещает лампа, другой в тени. Кошка следит за букашкой на оконном стекле. Молодая женщина на скамейке читает письмо, в зеленых глазах стоят счастливые слезы. Огромное поле, разлинованное посадками кедра и лиственницы. В окно, сильно присев, заглядывает предвечернее солнце. Упавшее могучее дерево, корни топырятся, кора и ветви еще зеленые. Белая шлюпка идет с попутным ветром, паруса надуты, словно крылья гигантской белой птицы. Отец и сын в пустом ресторане, отец печально уставился на стол. В круглой раме окна скошенные поля, телега, коровы зеленые и багровые на вечереющем солнце. Разбитая бутылка на полу, в щелях бурая жидкость, у женщины красные глаза. На кухне старик готовит внуку завтрак, мальчишка глазеет в окно на

крашеную белую скамейку. Потрепанная книга на столе рядом с тусклой лампой. Прибой, ветер рвет на клочки барашки. Женщина с мокрой головой лежит на кушетке, держит за руку мужчину, которого больше не увидит. Поезд с красными вагонами на каменной громаде хрупкосводчатого моста, внизу вода, вдали укромные пятнышки домов. В солнечном пучке от окна веют пылинки. Тонкая кожа на горле — настолько тонкая, что видны толчки крови. Обвившие друг друга нагие мужчина и женщина. Голубые тени деревьев в полнолуние. Вершина горы, напористо обдуваемая, разлегшаяся вокруг долина, бутерброды с мясом и сыром. Дернувшийся от отцовского подзатыльника ребенок, гневно кривящиеся губы отца, ничего не понимающий ребенок. Чужое лицо в зеркале, седые виски. Молодой человек, вцепившись в телефон, отказывается верить услышанному. Семейная фотография, молодые, нескованные родители, смеющиеся дети в галстучках и платьицах. Пробившийся сквозь чащу далекий огонек. Красный закат. Яичная скорлупа — белая, хрупкая, целая. Выброшенная на берег голубая шляпка. Срезанные розы плывут под мостом, за ним поднимается замок. Рыжеволосый любовник — пылкий, бедовый, яркий. Лиловолепестковый ирис в руке у молодой женщины. Комната: четыре стены, два окна, две постели, стол, лампа, двое с красными заплаканными лицами. Первый поцелуй. Планеты в плену пространства, океаны, безмолвие. Капля воды на оконном стекле. Свернувшаяся кольцом веревка. Желтая щетка.

20 мая 1905 г.

Достаточно бросить взгляд на торговое многолюдье на Шпитальгассе, чтобы уяснить происходящее. Покупатели тычутся от прилавка к прилавку, выясняя, что где продается. Вот табак, а где горчичное семя? Вот сахарная свекла, а где треска? Вот козье молоко, а где лавровый лист? Это не туристы, впервые приехавшие в Берн. Это бернские горожане. Никто не помнит, что два дня назад он покупал шоколад в лавке у Фердинанда, это номер семнадцатый, а мясо в кулинарии Хофа, это номер тридцать шестой. Нужно заново искать где что продается. У многих в руках карты, ведущие этих картодержателей от одной аркады к другой,— и это в городе, где они прожили всю свою жизнь, на улице, по которой ходили много лет. Многие ходят с записными книжками, отмечая в них все, что узнали, пока это не выветрилось из головы. Ибо в этом мире у людей нет памяти.

Когда в конце работы настает время идти домой, каждый справляется по своей адресной книжке, где он живет. Мясник, за один этот день оскандалившийся с несколькими вырезками, обнаруживает, что он живет на Негелигассе в доме 29. Биржевой маклер, чья краткосрочная память на цены подсказала несколько великолепных инвестиций, читает, что теперь он живет на Бундесгассе в доме 89. Придя домой, всякий мужчина встречает на пороге женщину и детей, представляется им, помогает готовить ужин, читает сказки детям. Таким же образом всякая женщина, вернувшись с работы, получает мужа, детей, диваны, лампы, обои, фарфоровую посуду. Поздно вечером муж и жена не задерживаются за столом, обсуждая дневные дела, школьные успехи детей, банковский счет. Нет, они улыбаются друг другу, в них закипает кровь, больно тянет внизу, как при первой встрече пятнадцать лет назад. Они ищут спальню, задевая фотографии, которых не узнают, и проводят ночь в похоти. Ибо только привычка и память делают пресной физическую страсть. Без памяти каждая ночь это первая ночь, каждое утро — первое, каждый поцелуй и касание — тоже первые.

Мир без памяти — это мир настоящего. Прошлое существует только в книгах, в документах. Чтобы знать себя, при каждом имеется его собственная Книга Жизни, в которой содержится его жизнеописание. Ежедневно читая ее страницы, он заново узнает, кем были его родители, и высокого он рождения или низкого, и хорошо ли учился в школе или плохо, и добился ли чего в жизни. Без своей Книги Жизни человек лишь моментальная фотография, двухмерный образ, призрак. Из густолиственного кафе на Бруннгассхальде доносится страдальческий вопль мужчины, только что прочитавшего о том, что некогда он убил человека; слышатся стоны женщины, только что обнаружившей, что за ней ухаживал принц; разражается похвальбой

другая, узнав, что десять лет назад она окончила университет с высшими баллами. Одни проводят вечера за чтением своих Книг Жизни; другие лихорадочно заполняют пустые страницы событиями дня.

Со временем каждая Книга Жизни разбухает настолько, что ее невозможно прочесть целиком. Приходится выбирать. Пожилые мужчины и женщины могут читать начальные страницы, чтобы узнать себя молодыми; либо они читают заключительную часть, чтобы узнать себя зрелыми.

Некоторые вообще перестают читать. Они отринули прошлое. Они решили, что не имеет никакого значения, какими они были вчера — богатыми или бедными, образованными или невеждами, в силе или униженными, влюбленными или никак,— все это такой же вздор, как шевельнувший их волосы теплый ветерок. Такие люди глядят вам в глаза прямо и крепко пожимают вашу руку. У таких людей упругая молодая походка. Такие люди знают, как жить в мире без памяти.

22 мая 1905 г.

Рассветает. Над городом плывет розовый туман, поддуваемый с реки. Солнце медлит за мостом Нидегг, мечет длинные красные стрелы вдоль Крамгассе в гигантские часы, которые мерят время, освещает балконы снизу. Утренние звуки плывут по улицам, как запах хлеба. Ребенок просыпается и криком требует мать. Тихо скрипнув, поднимается навес, отмечая приход шляпника в мастерскую на Марктгассе. Завывает мотор на реке. Негромко толкуют две женщины под аркадой.

По мере того как город избавляется от тумана и остатков сна, отмечаются странные вещи. Вот недостроенный старый мост. Вот дом, сошедший с фундамента. Вот улица переломилась на восток без всякой на то причины. Вот посреди бакалейного рынка поместился банк. Нижние витражи Святого Винсента представляют религиозные сюжеты, тогда как верхние вдруг переключаются на весенние Альпы. Человек быстрым шагом направляется к Бундесхаусу, вдруг останавливается, хватается за голову, возбужденно вскрикивает, разворачивается и спешит в обратном направлении.

Это мир переменившихся планов, подвернувшихся возможностей, неожиданных прозрений. Ибо в этом мире время не течет ровным потоком, но движется прерывисто, вследствие чего люди вспышками прозревают будущее.

Когда матери вдруг открывается, где будет жить ее сын, она передвигает свой дом к нему поближе. Когда строитель провидит будущий торговый центр, он разворачивает дорогу в нужном направлении. Когда девочка мельком видит себя цветочницей, она решает бросить университет. Когда молодому человеку предъявляется образ женщины, на которой он женится, он начинает ее ждать. Когда поверенный узнает себя в мантии цюрихского судьи, он бросает работу в Берне. В самом деле, какой смысл тянуть с сегодняшним, когда известен завтрашний день?

Тем, кто заглянул в будущее, этот мир гарантирует успех. Редкое начинание не увенчается растущей карьерой. Редкое путешествие не окажется судьбоносным. Редкие друзья не останутся друзьями и в будущем. И усилия любви не бесплодны.

Для тех же, кому будущее ничего не подсказало, это мир праздной потерянности. Как поступать в университет, если неизвестен будущий род занятий? Как открывать аптеку на Марктгассе, когда такая же аптека на Шпитальгассе может больше преуспеть? Как любить мужчину, когда он может оказаться неверным? Такие люди спят бóльшую часть дня и ждут подсказки из будущего.

Соответственно, в этом мире, приоткрывающем эпизоды из будущего, мало рискуют. Тем, кто видел будущее, нет нужды рисковать, а те, кто не видел будущего, ждут прозрений и не рискуют.

Небольшое число очевидцев будущего делают все, что в их силах, отрицая его. Увидев себя поверенным в Люцерне, человек определяется садовником при музее в Невшателе. Увидев, что отец скоро умрет от больного сердца, юноша отправляется с ним в требующее сил плаванье на паруснике. Молодая женщина позволяет себе влюбиться в некоего мужчину, хотя видела, что он будет женат на другой. Такие люди в сумерках стоят на балконах и кричат, что будущее можно изменить, что

возможна тысяча вариантов будущего. Со временем садовнику из Невшателя надоедает получать низкую заработную плату и он делается поверенным в Люцерне. Отец умирает от сердца, и сын проклинает себя за то, что не удержал отца в постели. Молодую женщину оставит ее любовник, она выйдет замуж за человека, который к ее боли добавит одиночество.

Кому лучше приходится в этом мире прерывистого времени? Тем, кто видел будущее и прожил только одну жизнь? Или тем, кто не видел будущего и мешкает начинать жизнь? Или, наконец, тем, кто отвернулся от будущего и прожил две жизни?

29 мая 1905 г.

Ввергнутые в этот мир мужчина или женщина должны уметь увертываться от домов и прочих построек. Поскольку здесь все в движении. Поставленные на колеса дома, кренясь, пересекают Банхофплац и устремляются в теснины Марктгассе; при этом жильцы вторых этажей остерегающе покрикивают из окон. Почтамт уже не обретается на Постгассе, он катит через весь город по рельсам, словно паровоз. И Бундесхаус не стоит себе мирно на Бундесгассе. Везде и всюду слышны визг и рев двигателей и собственно движения. Когда на восходе человек выходит из дома, он прыгает со ступеньки, как с подножки, некоторое время бежит, ловит свою контору, там бегает по лестницам вверх и вниз, работает за столом, вертящимся волчком, после работы несется домой. Никто не сядет под деревом с книгой, не уставится в прудик, подернутый рябью, не ляжет на густую траву. Никто не знает покоя.

Почему все помешались на скорости? Потому что в этом мире для людей, находящихся в движении, время идет медленнее. И все передвигаются на высокой скорости — чтобы выиграть время.

Влияние скорости не сознавалось вплоть до изобретения двигателя внутреннего сгорания и начала скоростных перемещений. 8 сентября 1889 года мистер Рэндольф Уиг из графства Суррей в новом автомобиле и на большой скорости повез в Лондон свою тещу. К его удовольствию, он добрался вдвое быстрее ожидаемого, они едва успели разговориться, и тогда он решил рассмотреть этот феномен. После публикации его изысканий люди раз и навсегда прекратили ходить медленно.

Поскольку время — деньги, экономические соображения настоятельно требуют, чтобы каждая биржа, каждое промышленное предприятие, каждая бакалейная лавка неизменно передвигались как можно быстрее, чтобы добиться преимущества перед конкурентами. Такие здания оборудуются гигантскими тягловыми двигателями и никогда не стоят на месте. Их моторы и коленчатые валы производят куда больше шума, чем вся домашняя техника и жильцы.

По тем же соображениям, продавая дома, учитывают не только их размеры и внешний вид, но также скорость. Ибо чем быстрее передвигается дом, тем медленнее идут часы в доме, и у жильцов оказывается на руках больше времени. В зависимости от скорости жилец быстрого дома за один только день может выгадать на своих соседях несколько минут. Эта одержимость скоростью распространяется и на ночь, когда ценное время накапливается или тратится во сне. По ночам улицы ярко освещены, чтобы перемещающиеся дома могли избежать неизменно фатальных столкновений. По ночам люди грезят скоростью, молодостью, перспективами.

В этом скоростном мире, увы, не сразу оценили одно обстоятельство. Вот логическая тавтология: впечатление, относящееся к движению, от начала до конца относительно. Когда двое идут по улице, каждый воспринимает другого в движении, как пассажир поезда воспринимает деревья пролетающими мимо окна. Соответственно, когда двое идут по улице, каждому кажется, что чужое время движется медленнее. Каждому кажется, что другой выигрывает время. Эта повязанность может свести с ума. Хуже того, стоит обставить соседа, как тот наддает тоже.

Разочарованные и подавленные люди перестают смотреть в окна. Они опускают шторы и уже не знают, как быстро они движутся, как быстро движутся их соседи и конкуренты. Они встают утром, принимают душ, едят плетеный хлеб с ветчиной,

садятся за рабочий стол, слушают музыку, разговаривают с детьми, живут в свое удовольствие.

Некоторые утверждают, что только гигантские башенные часы на Крамгассе держатся правильного времени — они одни стоят на месте. Другие замечают, что и гигантские часы находятся в состоянии движения, если их наблюдать с реки Аре или с облака.

Интерлюдия

Эйнштейн и Бессо сидят в уличном кафе на Амтхаусгассе. Полдень. Бессо уговорил друга бросить дела и немного продышаться.

— Ты не очень хорошо выглядишь,— говорит Бессо.

Эйнштейн пожимает плечами — отчасти смущенно. Проходят минуты, а может, всего-навсего секунды.

— Я продвигаюсь,— говорит Эйнштейн.

— Я вижу,— говорит Бессо, тревожно вглядываясь в темные круги под глазами друга. Возможно также, что Эйнштейн снова перестал есть. Бессо вспоминает, что сам выглядел так же, хотя по другой причине. Это было в Цюрихе. Неожиданно на пятом десятке умер его отец. Бессо с ним не особенно ладил и потому был убит горем и казнился чувством вины. Он забросил занятия. Тогда, к его удивлению, Эйнштейн забрал его к себе на квартиру и целый месяц опекал его.

Видя сейчас таким Эйнштейна, Бессо хочет как-то ему помочь. Но тот, ясно, не нуждается в помощи. Эйнштейн, полагает Бессо, не способен страдать. Он безразличен к тому, что творится с ним и вокруг.

— Я продвигаюсь,— снова говорит Эйнштейн.— Я думаю, тайны раскроются. Ты видел публикацию Лоренца, которую я оставил у тебя на столе?

— Гадость.

— Да, гадость и ad hoc [1]. Весьма маловероятно, что она верна. Электромагнитные эксперименты свидетельствуют о чем-то более фундаментальном.— Эйнштейн скребет усы и жадно грызет крекер.

Некоторое время оба молчат. Бессо кладет в кофе четыре куска сахара, а Эйнштейн уводит глаза на Бернские Альпы, они далеко, их едва видно из-за дымки. Впрочем, Эйнштейн смотрит сквозь Альпы, в пространство. Это дальнозоркое смотрение порой оборачивается для него мигренью, и тогда он укладывается у себя на зачехленный зеленый диван и лежит закрыв глаза.

— Анна зовет тебя с Милевой пообедать на следующей неделе,— говорит Бессо.— Если нужно, берите мальчишку.— Эйнштейн кивает.

Бессо пьет вторую чашку кофе, отмечает за соседним столиком молодую женщину, заправляет рубашку в брюки. Он почти такой же неряха, как Эйнштейн, который в эту минуту рассматривает галактики. Бессо, конечно, тревожится за друга, хотя и прежде видел его в таком состоянии. Может, обед его отвлечет.

— В субботу вечером,— говорит Бессо.

— В субботу вечером я занят,— вдруг объявляет Эйнштейн.— Но Милева и Ханс Альберт могут.

Бессо смеется и говорит: — В субботу в восемь часов.— Прежде всего он не может понять, зачем его друг вообще женился. Эйнштейн и сам не может это объяснить. Он как-то признался Бессо, что связывал с Милевой некоторые надежды на какой-то порядок в доме, но из этого ничего не вышло. Неубранные постели, грязное белье, груды немытой посуды — все как было. А с ребенком работы по дому еще прибавилось.

— Что ты думаешь о заявке Расмуссена? — спрашивает Бессо.

— Бутылочная центрифуга?

— Да.

— Слишком большая вибрация вала не пойдет на пользу,— говорит Эйнштейн,— но идея хорошая. Я думаю, сработает гибкая подвеска, она сама найдет свою ось вращения.

Бессо знает, во что это выльется,— Эйнштейн заново переработает проект и отошлет его Расмуссену, не требуя ни платы, ни даже слова благодарности.

[1] *Букв.:* для данного случая *(лат.)*.

Зачастую осчастливленные им адресаты даже не знают, кто переписал их патентные заявки. При этом не сказать, чтоб Эйнштейну безразлично признание. Несколько лет назад, увидев выпуск «Annalen der Physik» со своей первой публикацией, он целых пять минут кукарекал петухом.

2 июня 1905 г.

В отбросах находят раскисший бурый персик и кладут на стол, чтобы порозовел. Он розовеет, твердеет, в хозяйственной сумке его относят к бакалейщику, кладут на полку, снимают и пакуют в ящик, относят к дереву в розовом цвету. В этом мире время течет вспять.

В кресле практически недвижимая лежит увядшая женщина. У нее багровое обрюзгшее лицо, скрипучее, как шорох листьев на мостовой, дыханье, она почти ничего не видит и не слышит. Идут годы. Все реже ее навещают. Постепенно женщина набирается сил, начинает больше есть, разглаживаются тяжелые складки на лице. Она слышит голоса, музыку. Смутные тени, плотнея и наливаясь светом, обретают форму: это столы, стулья, лица людей. Женщина делает вылазки из своего домика, ходит на рынок, время от времени навещает подругу, в погожий день пьет чай в уличном кафе. Из нижнего ящика комода она достает спицы и пряжу, начинает вязать. Она улыбается, когда хорошо выходит. Однажды в дом вносят ее мужа без кровинки в лице. Проходят часы, и его лицо розовеет. Он встает, сутулясь, распрямляется, говорит с ней. Ее дом становится их общим домом. Они вместе питаются, шутят, смеются. Они путешествуют, навещают друзей. В ее седой голове все больше каштановых прядей, в голосе звенят новые интонации. Она идет в гимназию на прием по случаю выхода на пенсию, начинает преподавать историю. Ей нравятся ее ученики, после уроков она спорит с ними. Она читает и за едой, и ночью. Встречается с друзьями, обсуждает историю и текущие события. Она помогает мужу с его бухгалтерией в аптеке, гуляет с ним в предгорьях, отвечает на его любовь. У нее разглаживается кожа, отрастают длинные каштановые волосы, делается упругой грудь. Впервые она видит своего мужа в университетской библиотеке, обменивается с ним взглядом. Она ходит на занятия. На ее выпуске в гимназии родители и сестра обливаются счастливыми слезами. Она живет в родительском доме, часами гуляет с матерью в ближайшем лесочке, помогает готовить. Она рассказывает сказки младшей сестре, ей самой читают на ночь, она совсем маленькая. Она ползает. Сосет грудь.

С эстрады стокгольмского зала спускается средних лет мужчина с медалью в руках. Он пожимает руку президента Шведской академии наук, получает Нобелевскую премию по физике, слушает дифирамбы в свой адрес. Человек невнимательно думает о награде, которую ему сейчас вручат. Его мысли устремляются на двадцать лет в будущее, когда, имея только карандаш и бумагу, он в одиночестве будет работать в крохотной каморке. Он будет работать день и ночь, ошибаясь, заполняя мусорную корзину негодящимися цепочками уравнений и логических следствий. Но в иные вечера он будет возвращаться к столу, уверенный, что узнал о Природе такое, чего не знает никто, что он увидел свет в глухом лесу, обладает бесценными тайнами. В такие вечера его сердце будет колотиться, как у любовника. Предвкушением этого полнокровия, ожиданием времени, когда он будет молод, неизвестен и не убоится ошибок, исполняется он сейчас, сидя на стуле в стокгольмском зале далеко-далеко от слабого голоса президента, выкликающего его имя.

Человек стоит у могилы друга, бросает горсть земли на гроб, апрельский ветер холодит лицо. Но он не плачет. Он предвидит день, когда у друга будут здоровые легкие, когда друг встанет с постели и рассмеется, когда они оба будут пить эль, плавать на лодке, разговаривать. Он не плачет. Он особенно ждет того памятного в будущем дня, когда они с другом будут жевать бутерброды, и он будет стращать себя старостью и сердечным одиночеством, и друг мягко покивает в ответ, и дождь будет течь по оконному стеклу.

3 июня 1905 г.

Вообразите мир, в котором люди живут всего один день. Либо частота сокращений сердца и дыхания убыстряется до такой степени, что весь жизненный круг сожмется до протяженности одного оборота земли вокруг своей оси, либо вращение земли замедлится до такой степени, что один ее кругооборот займет весь срок человеческой жизни. Годится любое допущение. В любом случае люди видят только один рассвет и один закат.

Живущим в этом мире не дано видеть смены времен года. Родившийся в декабре европеец никогда не увидит гиацинтов, лилий, астр, цикламенов, эдельвейсов, никогда не увидит багровых, а потом золотых кленовых листьев, никогда не услышит сверчка и певчих птиц. Родившемуся в декабре живется холодно. Так же родившийся в июне никогда не ощутит снежинки на щеке, не увидит хрустально застывшего озера, не услышит скрипа ботинок на выпавшем снегу. Родившийся в июне тепло проживает свою жизнь. О временах года известно только из книг.

В этом мире жизнью распоряжается свет. Родившийся на закате проводит первую половину жизни в потемках, изучает домашние ремесла, такие, как ткачество и часовое дело, много читает, духовно растет, много ест, боится неохватной тьмы за порогом, предпочитает сумерки. Родившийся с восходом солнца учится работам на улице — в поле или на стройке, крепнет физически, избегает книг и умствования, всегда весел и уверен в себе, ничего не боится.

Перемена света сбивает с толку как рассветных, так и закатных детей. Когда наступает рассвет, родившиеся на закате ошеломляются неожиданным видением деревьев, океанов, гор, их слепит дневной свет, они возвращаются в дома, закрывают окна и остаток жизни проводят в полумраке. Когда наступает закат, родившиеся на рассвете оплакивают пропажу птиц на небе, слоистой морской синевы, завораживающего дрейфа облаков. Они отказываются осваивать хмурые домашние занятия, лежат на земле, глядят вверх и тщатся увидеть однажды виденное.

В мире, где человеческая жизнь ограничивается одним-единственным днем, люди осмотрительны с временем, как осторожная кошка, наставившая ухо в потолок. Ибо терять время не из чего. Рождение, школа, любовные увлечения, брак, работа, старость — все должно уложиться в один солнечный переход, в одну перемену света. Когда люди идут по улице, они трогают пальцами шляпы и спешат дальше. Когда люди встречаются в домах, они обмениваются вежливыми вопросами о здоровье и сразу переходят к делу. Когда люди сходятся в кафе, они нервно следят за смещением тени и не засиживаются. Время — огромная ценность. Жизнь — это подгадавшее мгновение. Один снегопад. Один осенний день. Отсекаемая дверью полоска света. Краткая судорога рук и ног.

Когда приходит старость — на свету ли, впотьмах,— человек обнаруживает, что никого не знает. Не было времени узнать. Родители умерли в полдень или в полночь. Братьев и сестер сманили дальние города, скоротечные возможности. Друзья вслед за солнцем остыли. Дома, города, занятия, любовники — все было приурочено к жизни в пределах одного дня. В старости человек никого не знает. Он говорит с людьми, но он их не знает. Его жизнь распалась на отдельные слова, уже забытые отдельными людьми. Его жизнь дробится на быстрые эпизоды с малым числом очевидцев. Он сидит у ночного столика, прислушивается к пущенной воде в ванной и не может решить, существует ли что-нибудь вообще вне его сознания. Материнское объятье — это было? Смешное соперничество со школьным другом — это было? Новизна первой женщины — это было? Была у него любовница? Где они? Где они сейчас, когда он сидит у ночного столика, прислушивается к пущенной воде в ванной, смутно чуя перемену света?

5 июня 1905 г.

Описание рек, деревьев, зданий, людей на своем месте и в своем виде придает им характер общезначимых. Аре сворачивает на восток, редкие баржи

везут картофель и сахарную свеклу. Предгорья Альп утыканы соснами, их ветви в шишках загнуты кверху, как лапы канделябра. Трехэтажные, под красной черепицей, со слуховыми окнами дома покойно стоят на Арштрассе, караулят реку. Торговцы на Марктгассе, зазывно маша руками, навязывают прохожим носовые платки, часы, помидоры, кислый хлеб, сладкий укроп. По улицам плывет запах копченого мяса. У себя на балкончике на Крамгассе препираются мужчина и женщина, улыбаясь своему препирательству. Девушка не спеша прогуливается в парке на Кляйне Шанце. Массивная, красного дерева дверь Почтамта открывается и закрывается, открывается и закрывается. Лает собака.

Однако всякая пара глаз видит все по-разному. К примеру, мимо женщины, присевшей на берегу Аре, лодки снуют стремительно, как конькобежцы. Для другого зрителя они едва ползут и чуть ли не за полдня одолевают излучину реки. А мужчина на Арштрассе смотрит на реку и обнаруживает, что сначала лодки плывут вперед, потом возвращаются назад.

Эти неувязки случаются сплошь и рядом. Вот, пообедав, возвращается к себе в аптеку на Кохергассе фармацевт и видит такую картину: две женщины проносятся мимо него, они сучат руками и говорят так быстро, что он не разбирает слов. По своим делам спешит через улицу адвокат, дергая головой, как птичка. Мяч, детской рукой запущенный с балкона, просвистывает в воздухе, как пуля, и так же неуследим. Взгляд, мимоходом брошенный в окно дома 82, выявляет, что жильцы мечутся из комнаты в комнату, присаживаются, в минуту разделываются с обедом, исчезают, снова появляются. Облака над городом сходятся, расходятся, снова сходятся в ритме сменяющих друг друга вдоха и выдоха.

С противоположной стороны улицы эту сцену наблюдает пекарь. Он отмечает неторопливый променад двух дам, остановившихся поговорить с адвокатом и проследовавших дальше. Адвокат направляется в свою квартиру в доме 82, садится за обед, подходит к окну, видит падающий на мостовую мяч.

Третьему очевидцу, подпирающему фонарный столб на Кохергассе, события предстают вообще застывшими без движения: две женщины, адвокат, мяч, ребенок, три баржи, интерьер квартиры словно запечатлены рукою художника в яркий летний день.

Так обстоит дело с любой вереницей событий в мире, где время — чувство.

В мире, где время — чувство, подобно зрению или обонянию, последовательность эпизодов может быть быстрой и медленной, вялой и живой, кислой и сладкой, причинной и беспричинной, упорядоченной и случайной — в зависимости от жизненного опыта наблюдателя. В кафе на Амтхаусгассе сидят философы и рассуждают, впрямь ли существует время помимо восприятия его человеком. Кто ответит, скоро или медленно, обусловленные причиной или просто так совершаются события в прошлом или будущем? Кто ответит, происходят ли они вообще — события? Философы сидят, щуря глаза, и рассказывают друг другу красивые теории времени.

Малое число людей рождается вообще без чувства времени. Вследствие этого у них до болезненной степени развито чувство места. Они лежат в высокой траве, и со всего света к ним лезут с вопросами поэты и художники. Глухих ко времени умоляют растолковать, как стоят деревья весною, как выглядит снег на Альпах, как золотит церковь солнечный луч, как текут реки, где водится мох, каким узором складывается птичья стая. Однако глухие ко времени не способны высказать то, что они знают. Ибо речь — это последовательность слов, и сказать их требует времени.

9 июня 1905 г.

Допустим, люди живут вечно.

И странно, население каждого города разделяется на две категории: люди-после и люди-сейчас.

После объясняют, что не к спеху начинать университетское образование, учить второй язык, читать Вольтера или Ньютона, стараться продвинуться по службе, влюбляться, поднимать семью. Для всего этого есть неисчерпаемый запас времени. Располагая неограниченным временем, все это можно успеть сделать. И посему все это может подождать. К тому же наспех делаются только ошибки. Кто оспорит их

логику? После выделяются в любой лавке, на улице. Они ходят парящей походкой, на них просторная одежда. Они глотают любой журнал с любого места, переставляют дома мебель, с легкостью падающего листа вступают в разговор. После сидят в кафе, прихлебывая кофе, и рассуждают о видах на будущее.

Сейчас замечают, что в бесконечной жизни они сумеют осуществить все, что придет им в голову. Они сменят бесконечное множество поприщ, жен, убеждений. Всякий побывает юристом, каменщиком, писателем, бухгалтером, художником, врачом, фермером. Сейчас непрестанно читают новые книги, изучают новые профессии, новые языки. Дабы изведать бесконечность жизни, они начинают рано — и идут поспешая. Кто поставит под вопрос их логику? Сейчас легко опознать. Это владельцы кафе, университетские профессора, врачи и медицинские сестры, политики — эти люди, присев, начинают безостановочно качать ногой. Они поочередно проживают одну жизнь за другой, стремясь ничего не упустить. Когда двое сейчас случайно сходятся у шестигранного пилястра фонтана Церингер, они сравнивают жизненные свершения, обмениваются информацией и смотрят на часы. Когда на том же месте встречаются двое после, они толкуют о будущем и сверху донизу провожают глазами падающую воду.

У сейчас и после есть и общее. К бесконечной жизни полагается бесконечная череда родственников. Деды и бабки, прадеды и прабабки, двоюродные бабки и двоюродные деды и так далее, поколение за поколением вглубь — никто не умирает, все живы и все дают советы. Сыновья никогда не выходят из-под опеки своих отцов, дочери — своих матерей. Никому не дано существовать самостоятельно.

Когда мужчина начинает дело, он почитает себя обязанным обговорить его с родителями, с родителями родителей и так до бесконечности, учась на их ошибках. Ибо не бывает нового начинания. Какой-нибудь прародитель все это уже начинал. И все благополучно завершалось, между прочим. Но дорогой ценой. Ибо в таком мире прирост свершений отчасти тормозится ослабшим честолюбием.

Также дочь: когда требуется материнский совет, только им дело не ограничивается. Мать должна спросить свою мать, та — свою, и конца этому не будет. И как раз тогда, когда дети не могут сами принять решение, они не обратятся к родителям за советом. Родители не истина в последней инстанции. Таких истин — миллион.

Коль скоро к любому делу надо миллион раз примериться, жизнь превращается в опытную площадку. Шагнув с берега, мосты обрываются над серединой реки. Дома поднимаются на девять этажей, но стоят без крыш. Бакалейщик обновляет запасы имбиря, трески, соли и мяса по настроению — или слушаясь первого встречного. Фразы не договариваются до конца. Помолвки расстраиваются накануне свадьбы. На проспектах и улицах люди вертят головами, оглядываются назад, высматривая возможного соглядатая.

Такова цена бессмертия. Все ущербны. Все несвободны. Намаявшись, иные решают, что жить можно лишь умерев. В смерти человек свободен от груза прошлого. На глазах милых родственников эти немногие ныряют в озеро Констанс или бросаются с Монте-Лема, обрывая свою бессмертную жизнь. Вот так конечное сражает бесконечное, и миллионы осеней, миллионы снегопадов, миллионы подсказок оборачиваются ничем.

10 июня 1905 г.

Представим себе, что время не количество, а качество, подобно свечению над ночными деревьями, когда восходящая луна достигает верхней границы лесного пояса. Время существует, но его нельзя измерить.

Вот сейчас в центре залитой солнцем Банхофплац стоит и ждет некоего мужчину женщина. Некоторое время назад он увидел ее во фрибурском поезде, очаровался ею и пригласил погулять в парке Гроссе Шанце. По настойчивости, с какой он глядел на нее и говорил, женщина поняла, что он хочет скорого свидания. Она ждет его без особого нетерпения, благо у нее с собой книга. Через какое-то время, возможно на следующий день, он приходит, они сжимают друг

другу руки, бродят по парку, обходят островками высаженные тюльпаны, розы, лилии, альпийский водосбор, бессчетное время сидят на белой кедровой скамье. Обозначившись переменой света и покрасневшим небом, наступает вечер. Петлистой тропкой, посыпанной белым гравием, мужчина и женщина поднимаются в ресторан на холме. Сколько они пробыли вместе — целую жизнь или одно мгновение? Кто ответит?

Сквозь освинцованные стекла ресторана мать этого мужчины видит его с женщиной. Она ломает руки и скулит, потому что сыну полагается быть дома. В ее глазах он всегда ребенок. Давно ли он был домашний, играл в мяч с отцом, терся об ее спину перед сном? Сквозь освинцованное стекло ресторана мать видит мальчишеский смех при свечах и утверждается в мысли, что все было совсем недавно, что ее сын, ее мальчик — он ее, домашний. Она ждет снаружи, ломая руки, а тем временем в этой укромности, вблизи женщины, которую он встретил, ее сын быстро взрослеет.

Через улицу, на Арбергергассе, двое мужчин пререкаются из-за партии медикаментов. Получатель сердится, что не предназначенные для долгого хранения медикаменты доставлены просроченными и неэффективными. Он ждет их давно, даже ходил ждать на станцию, за это время много раз обернулась по своим делам седая дама из дома 27 по Шпитальгассе, много раз по-разному освещались Альпы, за это время успело похолодать и пошел дождь. Отправитель, невысокий усатый толстяк, чувствует себя оскорбленным. Он уложил препараты у себя на фабрике в Базеле, когда, скрипя тентами, открывался рынок. С момента подписания контракта не успели перестроиться облака, когда он сам нес коробки на поезд. Куда же быстрее?

В мире, где время невозможно измерить, нет часов, нет календарей, нет четких договоренностей. Не время рождает события, но действие других событий. Пока не повезут камень и доски, не начнется стройка. Пока камнетесу не понадобятся деньги, из карьера не доставят камень. Пока дочка адвоката не отпустит шутку насчет его лысины, он не отправится в Верховный суд излагать свои соображения по делу. Пока учащийся не сдаст экзамены, его образование в бернской гимназии не завершено. Пока не заполнятся все вагоны, поезд не уйдет со станции на Банхофплац.

В мире, где время — качество, события метят себя окраской неба, интонацией окрика с лодки, чувством счастья либо страха на пороге комнаты. Рождение ребенка, патент на изобретение не фиксируются во времени раз и навсегда, по хронометру. Наоборот, события протекают пространство воображения, объявляя о себе взглядом, желанием. Также время между двумя событиями оказывается долгим или кратким на фоне встречных событий, при разной силе освещения, под влиянием игры светотени, в зависимости от угла зрения.

Некоторые пытаются исчислить время, разобрать его на части, разобраться с ним. Такие обращаются в камень. Они застывают на углах улиц холодные, литые, тяжелые. Со временем истуканов отвозят к камнетесу, и тот распиливает их на равные части и продает строителям, когда нуждается в деньгах.

11 июня 1905 г.

На углу Крамгассе и Театерплац расположилось маленькое уличное кафе: шесть голубых столиков, ящик с голубыми петуниями на кухонном окне,— отсюда виден и слышен весь Берн. Люди обходят пассажи на Крамгассе, беседуют, останавливаются купить полотно, или часы, или корицу; выпущенные на перемену восьмилетки из грамматической школы на Кохергассе шеренгой следуют за учителем к реке; над заречной фабричкой лениво курится дымок; в желобах фонтана Церингер журчит вода; огромные башенные часы на Крамгассе бьют четверть.

Если на мгновение отвлечься от городских звуков и запахов, можно наблюдать редкостное зрелище. Двое мужчин на углу Кохергассе не в силах расстаться, словно они никогда больше не увидят друг друга. Они прощаются, расходятся, затем спешат назад и обнимаются. Неподалеку на каменный край фонтана присела тихо плачущая женщина. Перепачканными желтыми руками она с такой силой

вцепилась в камень, что из-под ногтей выступила кровь. Она безнадежно глядит себе под ноги. Она являет одиночество человека, убежденного в том, что он один-одинешенек остался во всем свете. Две женщины в свитерах гуляют под руку по Крамгассе и хохочут с таким задором, что делается ясно: их ни в малой степени не занимает будущее.

Он и есть без будущего — этот мир. В этом мире время представляет собою линию, которая обрывается в настоящем — как в реальном смысле, так и умозрительно. В этом мире невозможно вообразить будущее. Вообразить будущее так же невозможно, как видеть цвета справа от фиолетового: что́ там лежит за видимым краем спектра, органы чувств не постигают. В мире без будущего всякая разлука друзей означает смерть. В мире без будущего всякое одиночество безысходно. В мире без будущего всякий смех звучит в последний раз. В мире без будущего за настоящим лежит ничто, и люди вцепляются в настоящее так, словно под ногами у них разверзается пропасть.

Бессильный вообразить будущее, человек бессилен осмыслить последствия своих действий. Некоторыми овладевает полнейшая апатия. Они день напролет бодрствуют в постели, не решаясь одеться. Они пьют кофе и разглядывают фотографии. Другие бодро встают утром, не заботясь о том, что каждое их действие кончится ничем, что они не могут планировать свою жизнь. Они живут от минуты до минуты, и каждая минута полна. Третьи же подставляют прошлое на место будущего. Они вспоминают все, что запомнилось, всякий сделанный шаг, всякую причину и результат, и они поражаются, каким образом события подвели их к этой минуте, к последней минуте света, к обрыву линии, которая есть время.

В маленьком кафе с шестью выставленными на улицу столами и ящиком с петуниями на окне сидит с кофе и пирожными молодой человек. Он праздно созерцает уличную жизнь. Он видел и двух хохотуний в свитерах, и средних лет женщину у фонтана, и двух друзей, что никак не могут распрощаться. Пока он сидит, на город наползает темная грозовая туча. А молодой человек все сидит. Он может вообразить лишь настоящее, а в настоящем есть потемневшее небо, но нет дождя. Он прихлебывает кофе, ест пирожное, и ему безумно нравится, что в конце света темнеет. Дождя по-прежнему нет, и в тускнеющем свете он косит глазами в газету, стараясь дочитать последнюю в своей жизни фразу. И вот дождь. Молодой человек заходит внутрь, снимает мокрый пиджак, ему безумно нравится, что в конце света идет дождь. Он обсуждает выпечку с поваром, но вовсе не потому, что пережидает дождь: он вообще ничего не ждет. В мире без будущего всякий отдельный момент — это конец света. Через двадцать минут суровая туча уходит, кончается дождь и небо веселеет. Молодой человек возвращается к своему столику, ему безумно нравится, что в конце света выглядывает солнце.

15 июня 1905 г.

В этом мире время является зримой величиной. Как, глядя вдаль, видишь дома, деревья, горные пики — меты пространства, так, глядя в другую сторону, видишь рождения, браки, смерти — меры времени, теряющегося в дымке отдаленного будущего. И как можно по выбору оставаться на одном месте или сниматься с него, так же можно перемещаться по оси времени. Некоторые боятся далеко уходить от обжитого времени. Они держатся одного временно́го местонахождения, жмутся к какому-нибудь уже привычному событию. Другие очертя голову устремляются в будущее, не подготовив себя к чехарде налетающих событий.

В маленькой библиотеке цюрихского политехнического института, мирно обсуждая докторскую диссертацию, сидят сам молодой человек и его наставник. За окном декабрь, в белокаменном камине ярко пылает огонь. Молодой человек и его учитель сидят в покойных дубовых креслах у круглого стола, заваленного листами с расчетами. Исследование не из легких. Каждый месяц на протяжении полутора лет молодой человек встречался здесь со своим профессором, просил совета и ободрения, на месяц пропадал с работой, возвращался с новыми вопросами. Профессор всегда предоставлял ответы. Вот и сейчас он объясняет.

Пока учитель высказывается, молодой человек засматривается в окно на ель, любопытствуя, как на ней удерживается снег, и гадает, как будет обходиться собственными силами, получив ученую степень. Не сходя с кресла, молодой человек делает нерешительный шажок, на минуту-другую заглядывает в будущее и содрогается от холода и неопределенности. Он дает задний ход. Куда лучше остаться в этом отрезке времени, в тепле камина и расположенного к нему наставника. Куда лучше прекратить свое движение во времени. И молодой человек остается — в этом дне, в этой маленькой библиотеке. Друзья мимоходом заглядывают в окно, видят, что он остается, и уходят в будущее каждый своим шагом.

В доме 27 по Викторияштрассе, это в Берне, лежит в постели молодая женщина. За стеной скандалят родители, она это слышит. Зажав уши, она смотрит на фотографию на столике, где она девочкой присела на берегу, рядом мама и папа. У стены стоит каштанового цвета бюро, на нем фарфоровый умывальный таз. На стенах лупится, идет трещинами голубая краска. В ногах у девушки наполовину собранный открытый чемодан. Она смотрит на фотографию, вглядывается в будущее. Будущее манит ее. Она решается. Так и не собрав вещей, она выбегает из дома, где замешкалась ее жизнь, и прямиком устремляется в будущее. Пролетают год, пять лет, десять, двадцать, и наконец она тормозит. Но она так разбежалась, что остановиться получается только в пятьдесят лет. Она толком даже не разглядела промелькнувших событий. Лысеющий адвокат, от которого она забеременела, потом он ее оставил. Смутный год в университете. Какое-то время квартирка в Лозанне. Подруга во Фрибуре. Редкие наезды к постаревшим родителям. Больничная палата, где умерла мать. Провонявшая чесноком сырая комната в Цюрихе, где умер отец. Письмо от дочери, живущей где-то в Европе.

У женщины перехватывает дыхание. Ей пятьдесят лет. Она лежит в постели, старается припомнить свою жизнь, смотрит на фотографию, где она девочкой присела на берегу, рядом мама и папа.

17 июня 1905 г.

В Берне утро, вторник. Толстопалый пекарь на Марктгассе сердито выговаривает женщине, что она не расплатилась за прошлый раз, машет руками, она же втихомолку складывает в сумку сдобные сухари. За порогом булочной ребенок на роликовых коньках, клацая по камням мостовой, спешит за мячом, брошенным из окна. На восточном углу Марктгасссе, на пересечении с Крамгассе, стоят под аркадой, тесно прижавшись друг к другу, мужчина и женщина. С газетами под мышкой мимо проходят двое мужчин. В трехстах метрах к югу над Аре парит птица.

Мир замирает.

Пекарь смолкает на полуслове. Мальчик застывает в шаге, мяч повисает в воздухе. Мужчина и женщина под аркадой застывают в скульптурную группу. Как и двое прохожих, чей разговор обрывается, словно на граммофоне подняли иголку. Птица застывает, повиснув над рекой, как бутафорская.

Через микросекунду мир трогается дальше.

Пекарь продолжает браниться, словно ничего не произошло. Все так же мальчик спешит за мячом. Мужчина и женщина теснее прижимаются друг к другу. Двое прохожих продолжают обсуждать рост цен на мясном рынке. Птица, взмахнув крыльями, завершает круг над Аре.

Идут минуты, и мир снова запинается. Потом срывается вперед. Запинки. Рывки.

Что представляет собой этот мир? В этом мире время не идет сплошняком. В этом мире время прерывисто. Время есть протяженность нервных волокон: издали оно кажется сплошным, вблизи же прерывистым, между волокон есть микроскопические зазоры. Нервное возбуждение действует в одном отрезке времени, натыкается на обрыв, проскакивает пустоту и возобновляет свою работу в следующем отрезке.

Эти разрывы времени настолько крохотны, что одну-единственную секунду надо невероятно увеличить и поделить на тысячу долей, и потом каждую долю

поделить на тысячу долек, и только тогда обнаружится выпавшая крохотуля. Разрывы времени настолько крохотны, что они практически незаметны. С каждым новым рывком времени обновленный мир выглядит таким же, как прежде. В точности как прежде стоят и движутся облака, закладывают виражи птицы, протекают разговоры, мысли.

Отрезки времени стыкуются почти идеально, хотя и не совсем. При определенных обстоятельствах развитие событий может чуть сместиться. К примеру, в этот же самый вторник молодой человек и молодая женщина, обоим далеко за двадцать, стоят под уличным фонарем на Гербернгассе, там же, в Берне. Они познакомились месяц назад. Он безумно влюблен в нее, но поскольку он обжегся раньше, когда без всяких объяснений женщина оставила его, сейчас он боится любви. Он должен быть уверен в этой женщине. Он вглядывается в ее лицо, безмолвно выспрашивает о чувствах, ловит малейший знак, караулит слабейшее движение бровью, легчайший румянец, увлажнение глаз.

В действительности и она его любит, но не умеет сказать это. И она просто улыбается ему, не ведая о его страхах. Пока они стоят у столба, время запинается и трогается дальше. Все так же склонены их головы, в том же ритме бьются сердца. Но где-то на самом дне ее сознания смутно обозначилась какая-то мысль. Молодая женщина тянется за этой новой мыслью в подсознание, и отсутствующее выражение зыбит ее улыбку. Нужно очень внимательно вглядываться, чтобы уловить это мимолетное отсутствие, но молодой человек начеку, и он замечает, и для него это знак. Он объявляет молодой женщине, что впредь не может ее видеть, возвращается в свою тесную квартирку на Цойгхаусгассе, решает переехать в Цюрих и работать у дяди в банке. Молодая женщина отлепляется от столба на Гербернгассе и медленно бредет домой, недоумевая, почему молодой человек не полюбил ее.

Интерлюдия

Эйнштейн и Бессо сидят в лодочке, бросив якорь. Бессо жует бутерброд с сыром, Эйнштейн пыхтит трубкой и ладит наживку.

— У тебя получается что-нибудь поймать здесь, посреди реки? — спрашивает Бессо, впервые отправившийся на рыбалку с Эйнштейном.

— Ни разу,— отвечает Эйнштейн.

— Может, отплывем поближе к берегу, к камышам?

— Можно,— говорит Эйнштейн.— Там у меня тоже ничего не ловилось. У тебя в сумке найдется бутерброд?

Бессо передает Эйнштейну бутерброд и пиво. Он чувствует некоторую вину за то, что упросил друга взять его с собой на эту воскресную прогулку. Эйнштейн рассчитывал порыбачить в одиночестве, подумать без помех.

— Ешь,— говорит Бессо.— Всю рыбу не переловишь.

Эйнштейн опускает Бессо на колени наживку и начинает есть. Некоторое время друзья молчат. Мимо проходит маленький красный ялик, поднимая волну, их лодка ходит ходуном.

Закусив, Эйнштейн и Бессо снимают сиденья и ложатся на дно лодки, подняв глаза к небу. На сегодня Эйнштейн покончил с рыбной ловлей.

— На что, по-твоему, похожи облака, Мишель? — спрашивает Эйнштейн.

— Козел гонится за человеком, а тот хмурится.

— Ты практичный человек, Мишель.— Эйнштейн тоже смотрит на облака. Но в мыслях у него время. Он хочет рассказать Бессо свои сны, но не может решиться.

— Я думаю, у тебя получится с теорией времени,— говорит Бессо.— Когда ты ее выведешь, мы опять пойдем рыбачить и ты объяснишь ее мне. Когда станешь знаменитым, будешь вспоминать, что первому рассказал ее мне вот в этой лодке.

Эйнштейн смеется, и сотрясенные облака ходят взад и вперед.

18 июня 1905 г.

Вытекая из собора в центре Рима, цепочка из десяти тысяч человек, подобно стрелке гигантских часов, радиально протягивается к окраине города и уходит дальше. Но это не изгнание терпеливых паломников, а, напротив, приобщение. Они ждут своей очереди ступить в Храм Времени. Они жаждут преклониться перед Великими Часами. Дабы посетить это святилище, они приехали издалека, даже из других стран. Паломники тихо стоят, пока цепочка медленно подтягивается с безукоризненно чистых улиц. Кто-то читает молитвенник. Кто-то держит на руках ребенка. Кто-то ест фиги или пьет воду. И пока они ждут, им нет дела до времени. Они не смотрят на часы, потому что у них нет часов. Они не ждут боя башенных часов, потому что башенных часов нет. И ручные часы, и башенные упразднены, остались только Великие Часы в Храме Времени.

Внутри храма кольцом вокруг Великих Часов стоят двенадцать паломников — по одному на каждую часовую отметину в сооружении из металла и стекла. Внутри их кольца, свисая с двенадцатиметровой высоты, ходит массивный бронзовый маятник, отражая огоньки свечей. Песнопения сопровождают каждый мах маятника, каждую отмеренную прибавку времени. Песнопения сопровождают каждую минуту, что вычитается из жизни паломников. Это их жертвоприношение.

Пробыв час у Великих Часов, паломники выходят, и под высокие своды ступают следующие двенадцать. Эта процессия не иссякает уже много веков.

Давным-давно, еще до Великих Часов, время измерялось сменой положения небесных тел: медленная звездная карусель на ночном небе, солнечная дуга и разница в свете, прибывающая и убывающая луна, приливы и отливы, времена года. Также измеряли время частотой сердцебиения, периодичностью сонливости и сна, возвратным чувством голода, менструальным циклом у женщин, продолжительностью одиночества. Потом в маленьком итальянском городке были сделаны первые механические часы. Люди были ошеломлены. Потом их обуял ужас. Творение рук человеческих исчисляет ход времени, с линейкой и компасом вторгается в область желаний, отпускает каждому мгновения жизни. Это было колдовство, это была мука, нарушение естественного права. Но отмахнуться от часов уже было нельзя. Часы надлежало боготворить. Изобретателя убедили построить Великие Часы. Потом его убили, а все другие часы поломали. Тогда и начались паломничества.

В некоторых отношениях жизнь остается той же, как до Великих Часов. Улицы и проспекты городов оживляются детским смехом. Домашние своевременно собираются к столу, едят копченое мясо и пьют пиво. Юноши и девушки обмениваются робкими взглядами из разных концов пассажа. Художники украшают дома и общественные здания своими картинами. Философы мыслят. Но каждый вдох, каждое покачивание ногой, каждый романтический порыв даются с малюсенькой натугой, и это сознается. Всякое действие — не важно, сколь малое — уже несвободно. Ибо все знают, что в некоем храме в центре Рима раскачивается массивный бронзовый маятник, мудрено связанный с храповиками и зубчатыми колесами, массивный бронзовый маятник, отмеривающий им жизнь. И каждый знает, что рано или поздно он обязан лицезреть свободную паузу своей жизни, обязан преклониться перед Великими Часами. Каждый мужчина и каждая женщина обязаны совершить хождение к Храму Времени.

Посему в любой день и в любой час из центра Рима радиально изливается десятитысячная цепочка паломников, жаждущих поклониться Великим Часам. Они стоят тихо, читают молитвенники, держат на руках детей. Они стоят тихо, но втайне их распаляет гнев. Ибо им надлежит увидеть измеренным не подлежащее измерению. Им предстоит увидеть чеканный ход минут и десятилетий. Свои же пытливость и дерзость уготовили им ловушку. И расплачиваться приходится своими жизнями.

20 июня 1905 г.

В этом мире время — локальный феномен. Двое часов рядышком идут примерно с одной скоростью. Однако на расстоянии друг от друга часы идут с разной скоростью, и чем больше расстояние, тем больше они расходятся. Что справедливо для часов, также справедливо для частоты сердцебиения, ритма дыхания, движения ветра в высокой траве. В этом мире время течет с разной скоростью в разных местах.

Поскольку для торговли нужно временно объединяться, таковая между городами не ведется. Слишком велики расхождения между ними. Если пересчитать тысячу швейцарских франков в Берне займет десять минут, а в Цюрихе один час, то как могут эти города иметь общие дела? Соответственно, каждый город существует сам по себе. Каждый город как остров. Каждый город вынужден выращивать свои сливы и вишни, разводить свой крупный рогатый скот и свиней, строить свои собственные фабрики. Каждый город должен обходиться собственными силами.

Бывает, в городе объявляется пришелец из другого города. Чувствует ли он себя сбитым с толку? На что требуются секунды в Берне, занимает часы во Фрибуре и дни в Люцерне. Пока в одном месте упадет лист, в другом распускается цветок. Пока в одном месте громыхнул гром, в другом полюбили друг друга двое. Пока мальчик вырастет в мужчину, капля воды успевает стечь по оконному стеклу. Но нет, путник даже не подозревает о подобном разнобое. Перемещаясь из одного пространства времени в другое, его тело приноравливается к местному движению времени. Если каждый толчок сердца, каждый мах маятника, каждый взмах крылом баклана согласованы между собой, то откуда путнику знать, что он перешел в другой временной режим? Если иноходь человеческих желаний так же согласуется с зыбью на пруду, то откуда ему знать, что вокруг что-то не так?

Только связавшись с городом, который он оставил, путник осознает, что вступил в иную область времени. Тогда-то он узнает, что за время отсутствия его швейная мастерская невероятно процвела и расширилась, что его дочь давно выросла и уже состарилась, а может, и то, что соседская жена допела песню, которую пела, когда он выходил из ворот. Тогда-то путник понимает, что он изгой — по месту и во времени. В родной город такие уже не возвращаются.

Некоторым очень нравится жить обособленно. Они заявляют, что их город главнее всех прочих и незачем налаживать общение с ними. Где глаже шелк, как не со своей фабрики? Где тучнее коровы, как не со своих пастбищ? Где точнее часы, как не из своей мастерской? Такие люди утром, с восходом солнца из-за гор, выходят на балконы и даже не смотрят в сторону городской окраины.

Другие жаждут контактов. Они засыпают вопросами редкого путника, забредшего в их город, спрашивают, где он побывал, и где какого цвета закаты, и какого роста люди, какой величины звери, и на каких языках говорят, и как ухаживают, и что изобретают. Со временем кто-нибудь из любопытствующих решает увидеть все собственными глазами, узнать жизнь других городов, он уезжает и становится путником. Он не вернется.

Этот мир привязанного к месту времени, мир обособленный, делает жизнь чрезвычайно разнообразной. Ведь раз города не сливаются, жизнь может развиваться на тысячу ладов. В одном люди живут кучно, в другом порознь. В одном одеваются скромно, в другом не одеваются вообще. В одном оплакивают врагов, в другом не имеют ни врагов, ни друзей. В одном ходят пешком, в другом ездят в экипажах замысловатой конструкции. Этим далеко не исчерпывается разнообразие областей, удаленных друг от друга всего на сто километров. Прямо за горой, прямо за рекой лежит другая жизнь. Но эти жизни не находят общего языка. Эти жизни ничем не делятся. Они ничему не учатся друг у друга. Богатства, какие доставляет обособленность, ею же самой и глушатся.

22 июня 1905 г.

В гимназии Агассиса выпускной день. На мраморных ступенях стоят сто двадцать девять мальчиков в белых рубашках и коричневых галстуках и вертятся на солнце, директор школы оглашает их имена. На лужайке перед школой, глядя в землю, нехотя слушают родители и родственники, дремлют на стульях. Выступающий от имени выпускников монотонно бубнит свою речь. Он вяло улыбается, когда ему вручают медаль, и после церемонии забрасывает ее в кусты. Никто его не поздравляет. Мальчики, их матери, отцы, сестры еле тянутся к домам на Амтхаусгассе и Арштрассе либо к скучающим скамейкам у Банхофплац, пообедав, остаются сидеть, играют в карты, убивая время, дремлют. Воскресная одежда складывается и убирается в ящик до следующего раза. В конце лета некоторые мальчики определятся в университеты Берна или Цюриха, другие пойдут в отцовское дело, третьи отправятся искать работу в Германии или Франции. Эти шаги делаются с полным безразличием, механически, подобно раскачиванию взад-вперед маятника, или как в шахматной партии, где каждый ход — вынужденный. Ибо в этом мире будущее — постоянная величина.

Это мир, в котором время не течет, обтекая событие. Напротив, время — структура жесткая, с хребтом, протянувшаяся в бесконечность спереди и сзади, превращающая в окаменелость как будущее, так и прошлое. Каждое действие, каждая мысль, каждое дуновение ветра, каждый перелет птиц раз и навсегда предопределены.

В репетиционном зале Штадттеатер балерина пробегает по сцене и взмывает в воздух. Она повисает на мгновение и опускается на пол. Saut, batterie, saut [1]. Ноги скрещиваются и трепещут, руки образуют разомкнутый свод. Сейчас она готовится к пируэту: правая нога уходит назад на четвертую позицию, толчок, посылом рук ускоренное вращение. Она сама точность. Часовой механизм. Танцуя, она думает, что могла бы продлить полет в прыжке, но ей не дано летать, потому что ее движения не принадлежат ей. Действия ее тела относительно плоскости пола и пространства предопределены до миллиардной доли дюйма. Тут нет места полету. Полет свидетельствовал бы о некотором непорядке, между тем непорядок исключается. И поэтому она обегает сцену с обреченностью часового механизма, непредсказанных прыжков не делает, вызова не бросает, ногу опускает точно на меловую черту и даже не мечтает решиться на неположенные кабриоли.

В мире с неизменным будущим жизнь представляет собой бесконечную анфиладу комнат, где в каждый момент времени освещена лишь одна, остальные же погружены во тьму, но они ждут. Мы переходим из комнаты в комнату, заглядываем в освещенную, в сиюминутное, и следуем дальше. Мы не знаем комнат впереди, но мы знаем, что ничего изменить там не можем. Мы зрители собственной жизни.

В свой обеденный перерыв идет по городу фармацевт из аптеки на Кохергассе. Он задерживается у часового магазина на Марктгассе, в соседней булочной покупает бутерброд, бредет дальше — к зелени, к реке. Он должен своему другу деньги, но предпочитает сделать себе подарок. Гуляя, он радуется новому пальто, решает расплатиться с другом в будущем году, а может, вообще не отдавать. Кто пристыдит его? В мире постоянного будущего нет правильного и неправильного. Чтобы знать, что правильно и что неправильно, нужна свобода выбора, но если каждое действие уже подобрано, никакой свободы выбора нет. В мире постоянного будущего нет чувства ответственности. Все комнаты уже распределены. Этими мыслями думает фармацевт, шагая по дорожке через Бруннгассхальде и вдыхая сырой лесной воздух. Он только что не улыбается — так нравится ему принятое решение. Он дышит сырым воздухом и вкушает непривычную свободу личного произвола, он чувствует себя свободным в несвободном мире.

---

[1] Прыжок, батри (па в балете), прыжок *(франц.)*.

25 июня 1905 г.

Воскресный полдень. В воскресных костюмах отяжелевшие после воскресного обеда люди прогуливаются по Арштрассе, негромко переговариваются под журчание реки. Магазины закрыты. Три женщины идут по Марктгассе, задерживаются у реклам, заглядывают в окна, не спеша идут дальше. Хозяин гостиницы скребет ступени, садится и смотрит газету, откидывается к стене и закрывает глаза. Улицы спят. Они спят под скрипичную музыку.

На столах книги, в центре комнаты стоит молодой человек и играет на скрипке. Он любит свою скрипку. Он выводит нежную мелодию. Играя, он смотрит вниз на улицу, замечает тесно стоящую парочку, смотрит на них глубокими карими глазами и отводит взгляд. Он стоит не шелохнувшись. Его музыка одна движется, музыка заполняет комнату. Он стоит недвижимо и думает о жене и маленьком сыне, они живут в комнате внизу.

Он еще играет, когда другой такой же человек встает в центре комнаты и играет на скрипке. Этот другой выглядывает вниз на улицу, замечает тесно стоящую парочку, отводит взгляд и думает о жене и сыне. И пока он еще играет, третий мужчина встает и играет на скрипке. Будет еще четвертый и пятый — бесчисленное множество молодых людей играют на скрипках у себя в комнатах. Бесконечное множество мелодий и мыслей. И вот этот час, когда молодые люди играют на скрипках, это не один час, но много часов. Ибо время подобно свету между двумя зеркалами. Время скачет взад и вперед, рождая бесконечное множество образов, мелодий, мыслей. Это мир неисчислимых подобий.

Задумываясь, молодой человек чувствует других. Он чувствует их музыку и их мысли. Он чувствует себя тысячекратно повторенным, чувствует эту комнату с книгами тысячекратно повторенной. Он чувствует свои мысли повторенными. Должен ли он оставить жену? Как быть с той минутой в библиотеке политехнического института, когда она взглянула на него с другого края стола? Как быть с ее густыми каштановыми волосами? Но где ее поддержка? Где его уединение сверх этого часа, что он играет на скрипке?

Он чувствует других. Он чувствует себя тысячекратно повторенным, чувствует эту комнату тысячекратно повторенной, чувствует свои мысли повторенными. И какое из этих повторений он сам — подлинный, завтрашний? Должен ли он оставить жену? Как быть с той минутой в библиотеке политехнического института? Где ее поддержка? Где его уединение сверх этого часа, что он играет на скрипке? Его мысли скачут взад и вперед тысячу раз, мечась между его подобиями, с каждым скачком они слабеют. Должен ли он оставить жену? Где ее поддержка? Где его уединение? С каждым новым отражением мысли тускнеют. Где ее поддержка? Где уединение? Мысли совсем гаснут, он уже едва помнит, какими вопросами задавался и ради чего. Где уединение? Он выглядывает на пустую улицу, играет. Его музыка плывет и наполняет комнату, и, когда проходит час, вместивший неисчислимое множество часов, он помнит только музыку.

27 июня 1905 г.

Каждый вторник из карьера к востоку от Берна средних лет мужчина везет камни на стройку на Ходлерштрассе. У него есть жена, двое взрослых разъехавшихся детей, брат-туберкулезник в Берлине. Во всякое время года он носит белое шерстяное пальто, в карьере работает допоздна, перекусив с женой, отправляется спать, по воскресеньям возится в огороде. А во вторник утром он нагружает тачку камнями и направляется в город.

В городе он покупает муку и сахар на Марктгассе. Он высиживает покойные полчаса на задней скамье Святого Винсента. Он останавливается у Почтамта и отправляет письмо в Берлин. Встречая на улице людей, он опускает глаза вниз. Некоторые его узнают, стараются перехватить взгляд, поздороваться. Он бормочет невнятное и идет не задерживаясь. Даже разгружаясь на Ходлерштрассе, он не

смотрит каменщику в глаза. Он глядит в сторону, на вопросы дружелюбного каменщика он отвечает стене и вообще уходит в угол, когда начинают взвешивать его камни.

Мартовским утром сорок лет назад, школьником, он опи́сался в классе. Он не мог сдержаться. Когда это случилось, он не хотел вставать с места, но мальчики увидели лужу и заставили его ходить по классу круг за кругом. Они тыкали пальцами в мокрое пятно на брюках, вопили. В тот день молочное солнце мутно сочилось в окна и заливало половицы. На крючках рядом с дверью висели две дюжины пиджаков. Доска во всю длину была исчиркана мелом — названиями европейских столиц. У парт откидывалась крышка, под ней был ящик. У него в верхнем правом углу крышки было вырезано: Иоганн. От паровых труб воздух был сырым и тяжелым. Большие красные стрелки на часах показывали 2.15. Мальчики вопили, гоняя его в мокрых штанах по комнате. Они кричали: — Дырявый пузырь, дырявый пузырь!

Это воспоминание стало его жизнью. Утром он просыпается мальчиком, который описался. На улице он знает, что люди видят мокрое пятно у него на штанах. Он смотрит на штаны и отводит глаза. Когда приезжают дети, он не выходит из комнаты и говорит с ними через дверь. Он мальчик, который не мог сдержаться.

Но что есть прошлое? Может, неотменимость прошлого иллюзорна? Может, прошлое — это калейдоскоп образов, узор, преображаемый встряской, порывом ветра, смехом, мыслью? Как знать, ведь все меняется вокруг.

В мире переменного прошлого проснувшийся однажды камнерез уже не мальчик, который не мог сдержаться. То давнишнее мартовское утро было таким же, как все другие. В то забытое утро он сидел в классе, читал стих, когда вызвал учитель, после школы катался на коньках с мальчиками. Сейчас у него каменоломня. У него девять костюмов. Он покупает жене фаянсовую посуду, по воскресеньям они устраивают себе долгие прогулки. Он навещает друзей на Амтхаусгассе и Арштрассе, улыбается, жмет им руки. Он финансирует концерты в Казино.

Однажды утром он просыпается и...

Солнце поднимается над городом, и десять тысяч человек зевают и принимаются за тосты и кофе. Десять тысяч человек заполняют пассаж на Крамгассе, идут в конторы на Шпайхергассе, ведут детей в парк. У каждого свои воспоминания: отказавший в любви отец, вечно первенствовавший брат, восхитительно целовавшийся любовник, жульничество на школьном экзамене, покой, нисходящий с хлопьями снега, публикация стихов. В мире переменного прошлого эти воспоминания суть пшеница на ветру, летучие сны, облачная лепнина. Случившись однажды, события утрачивают реальность, их переиначивают взгляд, гроза, ночь. Со временем прошлое оказывается небывшим. Но так ли это? Так ли, что прошлое не такая же незыблемость, как вот эта минута, когда солнце струит лучи поверх Бернских Альп, торговцы напевают, поднимая тенты, а камнетес нагружает свою тачку.

28 июня 1905 г.

— Не переедай,— стучит бабушка по плечу своего сына.— Не то помрешь до меня, и некому будет заботиться о моем серебре.— Семья выбралась на пикник на берегу Аре в десяти километрах к югу от Берна. Девочки, покончив с едой, бегают друг за дружкой вокруг лиственницы. У них начинает кружиться голова, они валятся в густую траву, немного лежат спокойно, потом катаются по земле — опять до головокружения. На одеяле сын с очень толстой женой и бабушка едят копченую свинину, сыр, хлеб с горчицей, виноград, шоколадный пирог. Легкий ветерок набегает на реку, и жующие и запивающие вдыхают сладостный летний воздух. Сын снимает ботинки и шевелит пальцами в траве.

Вдруг над головами проносится стая птиц. Молодой человек подхватывается с одеяла и бежит за ними, не тратя времени на обувание. Он пропадает за холмом. Вскоре к нему присоединяются люди, углядевшие стаю еще на вылете из города.

Одна птичка опускается на дерево. Женщина взбирается по стволу, тянется схватить птицу, но та легко перепархивает на верхнюю ветку. Женщина лезет выше, осторожно садится на ветку, ползет. Птица порхает на прежнюю ветку, ниже. Женщина еще на ветке, а по земле уже скачет другая птица, клюет семена. К ней подкрадываются двое мужчин с огромным стеклянным колпаком. Но быстрая птичка не про них, она взмывает в воздух и вливается в стаю.

Сейчас птицы летят городом. На колокольне Святого Винсента стоит пастор и пытается заманить птиц в арочные окна храма. Старуха в парке Кляйне Шанце видит, как птицы, присев, облепили куст. Она медленно бредет к ним со стеклянным колпаком, заранее знает, что ничего не поймает, роняет колпак на землю и начинает плакать.

И она не одинока в своем отчаянии. Каждый мужчина и каждая женщина страстно желают поймать птицу. Потому что эта соловьиная стая есть само время. Время трепещет, суматошится, скачет в этих птицах. Накройте соловья стеклянным колпаком — и время станет. Уловленное мгновение сберегается для всех людей, деревьев и земли.

Вообще же птицы редко ловятся. Угнаться за птицами могут только дети, а у них нет желания останавливать время. Для детей время и так движется слишком медленно. Они торопят следующий миг, ждут не дождутся дней рождения и новогодних праздников, они не чают перевалить за первую половину жизни. А пожилым отчаянно хочется задержать время, но уже не та прыть и не те силы, чтобы ловить птичку. Для пожилых время скачет намного быстрее. У них руки чешутся присвоить хоть минуту от утреннего чаепития, или те несколько секунд, когда внучка путается в платьице, или тот полдень, когда, отразившись на снегу, солнце заливает светом музыкальную комнату. Но они нерасторопны. Остается только смотреть, как под носом скачет и летит недоступное время.

Когда случается поймать соловья, ловцы не скрывают радости, что заморозили юркое мгновение. Они упиваются сохранностью на своих местах родных и друзей, улыбок, вновь и вновь переживают радость награды, рождения, любви, не могут надышаться запахом корицы и белых махровых фиалок. Ловцы радуются замороженному мгновенью, но скоро обнаруживается, что соловей чахнет, что его чистая переливчатая песня, слабея, смолкает совсем, что пленный миг выдохся и кончился.

Эпилог

Вдалеке бьют восемь раз башенные часы. Молодой служащий патентного бюро отрывает голову от стола, встает, потягивается и направляется к окну.

За окном уже бодрствует город. Жена дает мужу сверток с едой, они препираются. По пути в гимназию на Цойгхаусгассе мальчишки перебрасываются мячом, предвкушают летние каникулы. Две женщины с пустыми сумками спешат на Марктгассе.

Скоро в комнату входит старший служащий, направляется к своему столу и, не сказав ни слова, принимается за работу. Обернувшись, Эйнштейн смотрит на часы в углу комнаты. Три минуты девятого. Он перебирает мелочь в кармане.

В четыре минуты девятого появляется машинистка. Она видит у окна Эйнштейна с рукописью в руках и улыбается. Она уже печатала ему несколько неслужебных работ в свободное время, и он охотно платил ей, сколько она спрашивала. Сдержанный человек, хотя иногда отпустит шутку. Он ей нравится.

Эйнштейн отдает ей рукопись, свою теорию времени. Шесть минут девятого. Он идет к своему столу, смотрит на груду папок, направляется к полке, тянет из кучки тетрадку с записями. Бросив, возвращается к окну. Для конца июня необыкновенно ясный воздух. Над крышей жилого дома он видит вершины Альп, голубые от белого снега. Еще выше крохотной точкой медленно петляет в небе птица.

Эйнштейн возвращается к столу, присаживается на минуту и снова идет к окну. Он чувствует опустошенность. Ему неинтересно писать отзывы на патентные заявки, неинтересно говорить с Бессо, неинтересно думать о физике. Он чувствует опустошенность и без всякого интереса смотрит на крохотную точку и Альпы.

К истории времени

Книга Алана Лайтмана вызвала бурный энтузиазм не только у таких изощренных читателей, как, скажем, Сальман Рушди, но и у весьма широкой аудитории, о чем говорит почетное место в списке бестселлеров. Другое дело, что, обнаружив там «Сны Эйнштейна», я вспомнил Леньку Пантелеева из «Республики ШКИД»: Ленька, хоть и считавшийся в ШКИДе первым поэтом, основал журнал «Вестник техники», где объяснялось, как выкручивать лампочки в подъезде. Примерно так же выглядят «Сны Эйнштейна» в окружении обычного коктейля бестселлеров, составленного из детективов, триллеров и любовных романов. Чем бы ни была книга Лайтмана, «романом» она именуется лишь потому, что неизвестно, к какому жанру относить подобные сочинения.

В предисловии к одной из книг столь популярного сейчас в России Карлоса Кастанеды антрополог Уолтер Гольдшмидт пишет: «Разные народы живут в разных мирах, отличающихся друг от друга своими «метафизическими параметрами», то есть категориями пространства, времени, каузальности и так далее. Знакомство с чужими мирами — а этим и занимается антропология — приводит к тому, что мы начинаем и собственный мир ощущать «культурной конструкцией».

Встреча с чужой картиной вселенной заставляет нас усомниться в истинности нашей. Выбитый из метафизической колеи человек теряет почву под ногами и повисает в воздухе. Но взамен он обретает зоркость, позволяющую разглядеть тайну, скрытую под покровом очевидного. Встреча с неизвестным остраняет восприятие мира: реальность превращается в игру, правила которой определяет не столько Природа, сколько Культура.

«Сны Эйнштейна» — руководство к такой игре. Меняя один из «метафизических параметров» — время, автор кроит вселенные на любой вкус. Демонстрируя возможность миров с иными временными координатами, Лайтман заставляет нас ощутить загадочную власть и того времени, в котором мы живем.

Об этом писал Августин в одиннадцатой главе своей «Исповеди»: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю». С этого «незнания» начинается история времени, история гипотез времени, каждая из которых формирует свою версию реальности.

Так, в фундаменте нашей действительности — линеарное гомогенное «научное» время. Всюду и всегда одинаковое, оно тянется по прямой из прошлого в бесконечное будущее.

Такое время мы ощущаем единственно возможным, правильным, нормальным, естественным, но на самом деле оно искусственного, причем сравнительно недавнего происхождения. Истоки его — в христианстве, которое впервые создало концепцию уникального события — распятия Христа. С этого критического момента у истории появился вектор, и каждое событие в ней приобрело статус неповторимости. Голгофа разомкнула кольцо более древнего циклического времени.

Борьба между христианским и языческим временем продолжалась все средние века. Циклическое время было ближе и крестьянам, и земельной аристократии, и даже первым ученым, картину мира которых определяли преимущественно астрономические и астрологические образы.

Линеарное время окончательно победило только тогда, когда главную роль стало играть третье сословие — купцы, коммерсанты. Развитие денежного обращения, а значит, и «легализации» банковского процента выразилось в формуле «время — деньги»: чем больше времени, тем больше денег.

Линеарное время и порожденная им идея прогресса постепенно разрушили архаический обиход, опирающийся на циклическое время. Знаком этой победы стало массовое распространение механических часов. Они, по словам американского историка и критика Льюиса Мамфорда, «отлучили время от человека и помогли создать специальный мир науки». В этом «мире математически исчисляемых последовательностей» и воцарилось хорошо нам знакомое идеальное, синхронное для всей вселенной время. Без него, без одинакового для всех времени не было бы промышленной революции. Развитие производства, фабрика, конвейер требо-

вали синхронизации всей жизни. Машина приучала всех к своему расписанию: люди привыкли жить «по гудку». Поэтому малозначительная в древности черта — пунктуальность — превратилась в одну из главных гражданских добродетелей индустриальной цивилизации. Неудивительно, что золотые, семейные, переходящие по наследству часы считались знаком достатка, солидности и надежности.

Однако механическое гомогенное время в принципе чуждо человеческой природе. Оно противоречит и нашей психологии (каждый знает, что в очереди или постели минуты текут по-разному), и нашей истории. В доиндустриальных обществах не существовало универсального времени — оно дробилось на резко отличные друг от друга отрезки. Память об этом прекрасно сохранили германские языки. Название каждого дня недели в них содержит восходящее к античности посвящение богам. По-английски Moon-day — день Луны, Sun-day — Солнца, Wednes-day — день Одина (Меркурия), Fri-day — день Фрейи (Венеры), Thurs-day — день Тора (Юпитера).

Деление календаря на праздники и будни подразумевало качественно различное восприятие времени — сакральное, принадлежащее богам, и профанное, принадлежащее людям. Мы до сих пор подспудно ощущаем важность этого деления. Скажем, в Америке исторические праздники могут для удобства «переезжать» на другой день, поближе к выходным. Но все религиозные праздники — от христианского Рождества до языческого Халловина — никогда не переносятся: на них по-прежнему лежит сакральная печать.

Сосуществование разных временных систем — характерная особенность цивилизации, живущей на переломе, между индустриальной и постиндустриальной эпохами. В нашем мире все еще доминирует универсальное время, но оно уже плохо работает.

Развитие технологии расщепляет массовое общество и освобождает человека от власти машинного времени. В децентрализованном мире синхронность потеряла свое былое значение. Да и пунктуальность сегодня не так ценна, а иногда и невозможна, хотя бы из-за непредсказуемости дорожного движения. Механическое время постепенно заменяется более удобным биологическим.

Это стало возможным из-за того, что все меньше ниточек привязывает нас к жесткому расписанию. Приметы этой тихой революции повсюду. Видеомагнитофоны позволяют смотреть кино или спортивный матч не вместе с другими телезрителями, а когда угодно. Компьютерная связь уничтожает временные диапазоны. Сегодня в Америке работают круглосуточно супермаркеты, банки, закусочные, телевизионные станции и даже библиотеки. Все больше фирм переходит на свободное, гибкое расписание. Многие люди вообще работают дома.

Американский социолог Олвин Тоффлер назвал этот процесс «демассификацией» времени. На смену старым социальным ритмам машинной цивилизации, пишет он, приходят новые темпоральные структуры, которые основаны на индивидуальном восприятии времени. Каждый живет в своей временной капсуле, по своим часам, со своим ощущением длительности.

«Темпоральная приватизация» — распад коллективного времени — приводит к грандиозным переменам во всех сферах, включая, разумеется, и эстетическую. В основе нашего искусства все то же универсальное линеарное время. Оно автоматически выстраивает текст вдоль хронологической прямой, которая задает причинно-следственную схему событий. Автор может, конечно, усложнить конструкцию, специально нарушая последовательность своей истории, тасуя ее части. Но такие манипуляции не меняют природу линеарного текста: как бы ни запутывал писатель читателя, книгу надо читать с первой страницы. Повествование тут навязывает читателю неподвижную точку зрения. В каком-то смысле эпический роман — это пережиток промышленной эпохи, который своими средствами приучал читателя «жить по гудку». Поэтому такое построение — с началом, серединой и концом — уже плохо вяжется с новыми темпоральными структурами. Между тем бывают и другие книги — такие, которые можно читать с любого места. Простым примером тут может служить любой словарь, сложным — «Хазарский словарь» Милорада Павича.

Еще сложнее темпоральная структура компьютерной книги — гипертекста, где от читателя зависит, в какой последовательности и насколько глубоко он знакомится с текстом.

Новая эстетика, как и утверждали теоретики ОПОЯЗа, прорастает в низких жанрах. (Пушкин пришел из альбомной поэзии, Блок — из городского романса, Чехов — из Чехонте.) Соответственно и новые приемы обращения с художественным временем следует искать на обочине искусства. С этой точки зрения в последние годы вызывал большой интерес телесериал — одиозная «мыльная опера». Американские феминистки видят в ней первый опыт чисто женского массового искусства. Предназначенный для домашних хозяек, этот жанр построен на специфическом для этой аудитории восприятии времени. Концепция идеального времени меньше повлияла на женщин, поскольку они не были так тесно связаны с «машиной», с промышленной эпохой в целом. (Поэтому, кстати, женщины редко бывают пунктуальными.) В мужском, то есть обычном, искусстве сюжет линеарный, а кульминация обязательно перенесена в финал. В центре же «мыльной оперы» вообще не действие, а сложная вязь интимных отношений. Если «правда» мужского искусства окончательна, то «мыльная опера» исповедует нечто вроде бахтинской полифонии: у каждого из героев своя точка зрения, и ни одна из этих «правд» не может быть последней, окончательной. Каждая новая серия, как каждый новый день, приносит новые сюжетные повороты. Тут некому подвести черту и сделать выводы: финал у «мыльной оперы», как в жизни — смерть без эпилога.

Другой пример «бесконечного» искусства — комиксы. Хотя каждый эпизод тут развернут во времени, в целом растянутая иногда на десятилетия серийность работает на конфликтах, которые не могут разрешиться окончательной победой одной из противоборствующих сторон. Герои комиксов, например, знаменитые в Америке Бэтмен и Джокер попадают во временное кольцо — их схватка обречена длиться вечно. В отличие от сюжета обычного романа, где побеждает либо Добро, либо Зло, тут антагонисты намертво связаны — как зима и лето или день и ночь.

Уже художники поп-арта, начиная с Энди Уорхола, исследовали возможности этой поэтики, но новая волна интереса к комиксам сейчас идет из Голливуда. Лучший пример тут даже не истерически популярный «Бэтмен» с Джеком Николсоном, а другой американский фильм — лауреат Каннского фестиваля 94-го года «Бульварное чтиво» («Pulp fiction»). Ее автор, Квентин Тарантино, взял из комиксов не только сюжетные коллизии и героев, но и специфическую темпоральную структуру серийного бульварного романа в картинках. К середине фильма зритель видит, как убивают главного героя, но действие с ним продолжается. Только теперь мы смотрим фильм в обратном направлении — с конца к началу. Сюжет сворачивается в кольцо, что разрушает причинно-следственную связь: «раньше этого» не значит «вследствие этого». В «Бульварном чтиве» зритель имеет дело с ритуальным магическим временем — вместо стрелы времени, направленной из прошлого в будущее, здесь темпоральный круг, проникающий сквозь границу жизни и смерти.

Эстетическое бессмертие оказывается сродни органическому, герои сериалов или комиксов, как растения, живут в мире обратимой смерти. Об этом говорит и другое важное событие — фильм «Парк юрского периода». Успех спилберговской команды, «оживившей» динозавров, навел ученых на мысль проделать ту же операцию с голливудскими звездами. Синтезировать в компьютере умершего актера в десять-пятнадцать раз труднее и дороже, чем динозавра, но сделать это можно, что и доказал швейцарский кибернетик Дэниэл Тальман. Он снял семиминутный фильм «Рандеву в Монреале», где играют «реанимированные» в компьютере Мэрилин Монро и Хэмфри Богарт. В ближайшие годы развитие технологии приведет к тому, что смерть — во всяком случае, с точки зрения кинозрителя — станет относительным, временным событием.

Возвращаясь из этого экскурса в новейшую историю времени к книге Лайтмана, следует сказать, что только в ряду всех этих социальных и эстетических перемен она и может найти свое законное место. «Сны Эйнштейна» не роман, это — сборник сценариев-заготовок для темпоральных игр недалекого будущего.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

САРА КИРШ

Стихи

С немецкого

К сожалению, я не могу начать своей заметки словами: представлять читателю знаменитую немецкую поэтессу Сару Кирш не нужно. Литературная судьба Сары Кирш в России сложилась не слишком удачно. В начале 70-х годов небольшие подборки ее стихотворений появлялись в журналах (в том числе и в «Иностранной литературе») и в поэтических сборниках. С 1977 года публиковать в СССР поэтессу перестали: ей, как и некоторым другим писателям и поэтам ГДР, пришлось переселиться в Западную Германию после острой полемики вокруг Вольфа Бирмана, поэта, лишенного властями восточно-германского гражданства за его неприятие реального социализма.

Как поэта ФРГ Сару Кирш наши литначальники издавать отказывались, а в антологии ГДР после 1977 года не включали даже ранних ее стихов. Положение складывалось парадоксальное: в СССР выходили сборники поэзии ГДР и ФРГ, но ни в тех, ни в других не было многих поэтов, сыгравших исключительную роль в истории литературы обеих стран. Кроме Сары Кирш, достаточно упомянуть хотя бы Петера Хухеля, Гюнтера Кунерта, Райнера Кунце.

Предлагаемые вниманию читателей стихотворения взяты из сборников последнего десятилетия. В последних книгах С. Кирш проявила себя как продолжательница традиций свободного стиха своего учителя Иоганнеса Бобровского, а, например, не Брехта, стиха, в котором меньше рацио, больше загадочности, недоговоренности, но все же стиха внятного. Закодированная поэзия Саре Кирш абсолютно чужда. Традиция Бобровского помогает ей выразить тончайшие оттенки своих чувств, с психологической точностью передать свое нравственное кредо.

Печататься Сара Кирш, родившаяся в 1935 году в Лимлингероде (Гарц), начала еще в поздние 50-е годы в Лейпциге, где изучала биологию в университете и поэтическое искусство в Литинституте им. И. Р. Бехера. Кроме стихотворений, публиковала рассказы, репортажи, детские книжки, переводы из А. Ахматовой, А. Блока, Э. Багрицкого. В 1977 году награждена премией им. Петрарки, а также многими другими немецкими и международными литературными премиями. Переведена почти на все основные европейские языки.

«Заклинания» — так называлась одна из книг С. Кирш, изданная в 1973 году в ГДР. Заклиная читателя и саму себя, поэтесса стремится утвердиться как целостная личность. Вероятно, эти заклинания свое воздействие возымели. Даже очень горькие мысли и чувства поэтесса высказывает в своих поздних книгах с почти олимпийским спокойствием.

ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР

Из сборника «ДОЧЬ ЛЕСНОГО ЦАРЯ»

* * *

Новый год: ветры
Старых времен —
Моя зубная боль.

© 1992 Deutsche Verlags-Anstalt GmBH, Stuttgart

* * *

Под небом
Нового года
Старые люди.

* * *

Как бы снег ни приукрашивал
Ее — моя родина
Выглядит жалко.

* * *

Луну над рекой
Оставил
Шалун.

* * *

Голос, говорю я, голос! Собака
Помогает мне покончить
С этим годом.

* * *

Норманенштрассе: смотрю,
Как люди убираются
К Новому году.

* * *

Год уходит
А я все не снимаю
Дорожное платье.

На утесе

Море ревело
Громче чем ветер.
Я шла
Сквозь эти порывы
И этот крик
По ступеням из лавы.
Ветер-старик
Рассмеялся
Скажи мне о чем кричат
Морские гуси.

Далее

Сизое Балтийское море
Несет дрожащий корабль.
Я рассматриваю
Шхеры крохотные устойчивые

Миры покоящиеся на
Красном граните березы
Порывисто машут ветвями.
Ветер со мной говорит
По-фински.

Свободные стихи

Проснувшись вчера ночью я знала
Что должна проститься
С этими стихами. Так бывает всегда
Спустя несколько лет. Пора им выйти
В свет. Невозможно их
Вечно (!) удерживать под этой крышей.
Бедные малютки. Их надо выпустить в люди.
Немногим дозволено будет вернуться.
Большинству же бродить вокруг неприкаянными.
Кто знает, что из них выйдет. Прежде чем они
Обретут покой.

Зимнее поле

Снежные бури ливни
Бесконечные осадки
Волки-оборотни пожирают мой
Дырявый сон топят последние
Хранящие любовь краски
Терзают берег моего мерзкого
Сердца. Я посеяла

Гнев в нежном семени
Уже отравленном мочой
Нечесаных овец вопреки
Влиянию скрежета планет
Не знающих жалости
Я в глуши

Воскресенье

Небо. Облака бегущие к редким
Островам солнца я сижу сиднем я слушаю
Весь день Эрика Клэптона мой
Послушный магнитофон так утешает мою
Безутешность на этой блеклой
Планете я бы могла весь барабан
Револьвера извести на себя.

Без сна

Сломанная ива голосит на ветру.
Полная луна уселась
На мою мельницу.
По млечному пути мчится
Тень лебедя.

Я рисую себе нашу новую встречу.
И всю ночь не могу уснуть.
Я открываю в себе
Три короба вранья сороки
Смехом встречают день.

Северный июнь

Ночь потеряла
Свои свойства:
Белые ступени
Красно-бурое
Полотно горизонта.

Кто взлетит по ступеням
Может стать счастливым.
Трижды зову я тебя но
Тебя нет
На земле.

Зимний сад 1

Я лежу вытянувшись подо льдом
Под пленкой прозрачного света.
Рыба бьется об лед, солнце
Стоит высоко, я чувствую
Колкую песню крапивника. Долгая
Власть черной грохочущей ветреной ночи.
Дребезжит и ломается лед. Ложится
Всей тяжестью море на меня и на землю.

Зимний сад 2

Все мы здесь между тем
Принимаемся пить.
Превращают тоску в свободу
Деревья и олени
На обоях.

Окна и двери навсегда
Забиты гвоздями
Заколочены наглухо. Никто
Не может сказать что за
Время года сейчас.
Как бьется мое сердце! Стучит
От тоски или страха? Я знаю
Только что я жду чего-то во-
Преки смерти и тебе.

Как несчастливы мы
Все курим тяжелую
дурманящую дрянь.

После

Свечи мерцают в саду
Гости медленно
Удаляются. Я прячусь за
Живой изгородью в крестьянской
Одежде. Приготовления к
Тому что никогда не произойдет.

Мимолетное

Я поднималась над собой
И говорила себе: за-
Будь! Стань
Тверже. Ты сможешь

Рассказать о земле.
Неописуемые
Деревья в начале
Лета.

Перевод Л. КЕРЧИНОЙ

Из сборника «СТО СТИХОТВОРЕНИЙ»

Самоубийство

Но у нее это было что-то семейное
Раньше жили они на болоте
И у бабки ее постоянно
То один срывался портрет то другой
Со стены когда погибал где-нибудь
Еще один сын

Страшно английская песня

Я опять записалась в армию Вашу, мой герцог,
Я готова любой Ваш исполнить приказ и каштаны
Обеими — только велите! — руками таскать из огня,
Направляйте меня куда Вам виднее, в худшем
Случае — прямо на виселицу. Когда же со мной
Покончено будет, Вам принесут и положат
Мое сердце на стол, в шелковой тряпочке, так
Я хочу.

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

© Langewiesche-Brant, Ebenhausen bei München, 1985

МИХАЙ КОРНИШ

Рассказы

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

От переводчика

Венгерский прозаик и драматург Михай Корниш (родился в 1949 г.) вошел в литературу еще при социализме, но долгое время находил применение своим способностям не столько на литературном поприще, сколько на полуадминистративных, полутворческих должностях в кинематографе, на радио, в театре. Иначе и не могло быть: слишком уж насмешливый, беспардонный он писатель, слишком любит замахиваться не только на «отдельные недостатки», но и на «высокие» вещи. Любовь, родина, верность, благородство, даже Бог — все это для него объект иронии и насмешки. Ясно, что такому писателю нельзя было давать слишком много воли в обществе, где через слово поминаются «великие идеалы» и «интересы всего человечества». Так что подлинный Корниш появился перед читателем только в 1992 г., с выходом сборника «Наконец-то живем» («Végre élsz»), откуда взяты и эти рассказы. И оказалось, что Михай Корниш — не циник, не ниспровергатель, не разрушитель, а враг миражей, розового тумана, эффектных шаблонов, которые в течение десятилетий вытесняли в головах людей настоящие, исконные ценности.

Три публикуемые ниже рассказа — очень разные и по теме, и по «техническому» решению. Но во всех трех мы видим то, что отличает Михая Корниша как писателя: великолепная, свободная, веселая фантазия и блестящий, легкий психологизм (подчеркиваю эпитет «легкий»: ведь психологизм в прозе обычно ассоциируется с тяжеловесностью, кропотливой обстоятельностью, многословием).

С наследием тоталитаризма в жизни и в душе человека Корниш прощается скорее с жизнерадостным, чем с язвительным смехом. Он с удовольствием спешит за своим воображением, попадая в самые невероятные ситуации; порой кажется, он сам с трудом выпутывается из них,— во всяком случае, читателю иной раз нелегко следовать за его лихими виражами. В то же время и сквозь самую прихотливую игру воображения просвечивает тоскливая, хмурая реальность недавнего прошлого. И потому, например, подростки у него (рассказ «Апрельский дурак») играют не в казаков-разбойников, а в коммунистов-подпольщиков. Корниш, как и все мы, не свободен от политики; однако главное для него — другое. Что именно? Наверное, человек. Со всем тем, что есть в нем хорошего и плохого, доброго и жестокого, с его простодушием и хитростью, силой и слабостью. И с политикой. И со стремлением отторгнуть политику...

АПРЕЛЬСКИЙ ДУРАК

Первого октября, в 8.30 вечера, звоню я Тамашу Нейфельду и говорю ему: я тут надумал основать Коммунистическую партию венгров.

Интересная мысль, говорит Нейфельд. И я, не теряя времени, прямо в лоб спрашиваю его:

А ты не хотел бы тоже стать членом?

Он сначала немного колеблется, потом отвечает: а, ладно. Товарищ, торжест-

© Cserépfalvi Kiadó, 1992

венно говорим мы друг другу в трубку, то-ва-рищ... Слушай, Нейфельд, главное — чтобы все было нелегально. Как хочешь, а преждевременного провала нельзя допустить. Это будет роковая ошибка. Знаешь, Табори, говорит он, я ведь тоже тебе вообще-то собирался звонить, и как раз насчет этого. Клевый момент был!

Значит, Табори и Нейфельд...

И еще Андял. И еще Хорешни. И еще Сентеш, Хюбнер, Шаламон, Шимонович. Значит, основываем? Само собой, конечно, говорит Нейфельд, а как же!

И через пять дней Партия создана.

I

Наступило время суровых испытаний. Делать приходилось все то же самое, что мы делали до сих пор. Спать ложились в пижаме, утром зашнуровывали ботинки — как обыкновенные люди. Войдя в класс, вешали рядком на крючки костыли, надевали халаты, садились за парту и убирали руки за спину. Когда в класс входил кто-нибудь из взрослых, вставали. Если велели сесть, садились. Дневники свои несли домой, а не сжигали, скажем, на костре. Если хотели что-то сказать, поднимали руку; увидев на светофоре красный свет, застывали по стойке смирно, но как только зажигался зеленый, оживали и, чинно сложив губы бантиком, торопливо переходили улицу по белым полоскам; старались не плевать на пол и на стены. Всегда помнили, что чужим надо говорить: «здравствуйте!», знакомым: «чоколом!» [1], а друг другу: «сервус!» [2], и что эти вещи нельзя ни в коем случае путать, и вообще надо здороваться по возможности со всеми знакомыми, и в автобусе можно читать газету, а, скажем, энциклопедию нельзя, и в кино запрещается аплодировать, в театре же аплодировать, наоборот, *полагается*, и утром следует завтракать, а обедать — в обед...

Кошмарное было время.

Выковывалась Партия, собственно, на втором этаже кафе «Центральное» — туда мы ходили обедать. Бывало, сядешь, отдашь талон, и официантка тебе бряк на стол три пластмассовые тарелки с первым, вторым и третьим (тут тоже безумие: сперва, будь добр, лопай что-нибудь жидкое, потом — протертое мясо с гарниром, а сладкое — почему-то в самом конце). Здесь мы усваивали передовое мировоззрение трехмильными шагами. Ведь раньше мы, например, даже не догадывались, что блюда, которыми нас кормят, сделаны из человечьего мяса. И, конечно же, из кусочков получше, которые признаны годными для общепита. Берут их у погибших в дорожных авариях; если у них, конечно, нет родственников... Все окончательно прояснилось в ходе нашей закрытой партийной дискуссии... Правда, что толку с этой ясности? Ладно, мы знаем теперь, что источник нашей силы и здоровья — плоть неведомых жертв; но все равно, одобряя такое положение или не одобряя, набивали этой протертой гадостью животы, от нее становились крепче наши кости, от нее мы быстрее росли. Чтобы не вызывать подозрений, мы съедали все, что нам давали.

При всем том в тарелках частенько случалось нам находить всякие интересные вещи и даже ценности. Помешаешь, скажем, суп, и в нем всплывет обрывок носового платка с монограммой. Или мелькнет какой-нибудь значок, обломок брошки. В гарнире вылезет уголок разваренного футляра от проездного, скрежетнет на зубах истертая монетка в десять или двадцать филлеров; в пирожном блеснет обручальное кольцо или филигранный крестик на длинной старинной цепочке. Однажды, осторожно разделив ножиком две пластинки печенья с джемом, в непропекшемся, похожем на гной тесте мы обнаружили изящный овальный медальон; в нем, под помутневшим стеклом, сердито смотрел на нас мужчина в пенсне; а вокруг его головы, на серебряном фоне, выгравирована была надпись: «Пустите детей приходить ко Мне...» [3]

Во время еды, если кому-то из нас случалось рыгнуть, вокруг разносился запах одеколона, бензина или в крайнем случае молока. Из наших желудков вырывался последний вздох неизвестных страдальцев, а со вздохом — последний их крик: упрек, или дурацкая шутка, или крылатое изречение. Я, например, иногда ни с того ни с сего орал: «Венгры, устремляйтесь к морю!» Или: «Граф, снимите карту...» Или еще: «Что с вами, любезный? Этот сорт вина — к камамберу?!» Ну, или: «Только в присутствии моего адвоката!!..» Потому что во мне бродил, временами ударяя мне в голову, дух разных посторонних людей.

До сих пор помню один ну очень смешной случай. Было это с Йоргосом Теодоросом; как-то рассматривали мы картофельную похлебку, и вдруг он вытянул шею и изрек:

---

[1] «Целую» *(венг.)*. Усеченная формула «целую руку», ставшая в Венгрии общепринятой: так дети обычно приветствуют взрослых. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] «Привет» *(венг.)*

[3] Евангелие от Марка, 10, 14.

— С передовым мировоззреньем изменим мир без сожаленья!

Потом, не обращая никакого внимания на наши вытаращенные глаза, продолжал:

— Самое святое в жизни — труд! Уничтожим империалистическую гадину в ее логове!

Мы не знали, что и подумать. Наш товарищ, покраснев как вареный рак, торопливо зажал рот ладонями. Но было поздно.

— Истина не нуждается в визах! Скорей бы утро, и за работу! Пусть платят богатые! За свободный народ в свободной стране! — вопил он, совсем потеряв голову. И остановиться смог, только выпив ровно девять глотков воды. Коммунистическая партия чуть от хохота не уписалась.

Конечно, редко за обедом в «Центральном» царило такое веселье. Чаще, прожевав последний кусок, мы потихоньку покидали кафе и расходились кто куда: ведь затуманенный взгляд, пропотевшая одежда и пылающие на лице, не поддающиеся никакой маскировке прыщи запросто могли навлечь на нас внимание прохожих, и без того настроенных подозрительно.

Опустив головы, мы пробирались домой.

2

Жили мы в обстановке, которая сегодня уже покажется неправдоподобной. Весь Будапешт тогда был покрыт асфальтом — это такой грязно-серый, дьявольски твердый, ни на что не пригодный материал. Ни шарик воздушный из него не надуешь, ни мороженое не намешаешь — не то что сегодня у вас. Сколько ни ходи, нельзя было встретить там ни верблюда, ни жирафа, ни бегемота. Улицы были зажаты между высокими каменными домами; в домах, поделенных закопченными стенами на квартиры, жили люди. Жили они на разных уровнях — как тогда говорили: на первом, втором или третьем этаже. А уровни (какой смешной и ужасный факт!) соединялись лестницами, взгроможденными друг на друга каменными ступенями, по которым ты должен был, не пикнув, взбираться, если хотел попасть домой. Кое-где, правда, были «лифты» — такие железные клетки, внутри обитые деревом. Четверо-пятеро человек вставали в лифт, нажимали кнопку... Некоторым даже казалось, что они парят в воздухе. На стенах домов висели плакаты, напечатанные на дрянной бумаге. На них были короткие приказы вроде «Пейте молоко!», «Покупайте обувь в обувном магазине!». На других тоскливо улыбались манекены в купальных костюмах, держа в руке флакон с кремом для загара. Вместо пробки — пенящаяся головка мужского члена.

На эти стены никто никогда не смотрел. Не смотрели, правда, и на небо; разве что дети иногда задирали голову вверх — и зря, потому что весь Будапешт был тогда накрыт большим тазом. Старым тазом с отбитой эмалью и пятнами ржавчины; свет проникал лишь в дырки, пробитые в его днище пулями,— это был свет Внешнего солнца: наше маленькое солнце вращалось внутри таза. Оно было величиной с двухфоринтовую монету и время от времени стукалось об эмаль. Тогда шел дождик.

А сейчас слушай внимательно, юное поколение!

Вы не поверите: люди норовили убежать от дождя! Торопливо надевали шляпы, открывали зонтики, кучками собирались в подворотнях, готовые торчать там, переминаясь с ноги на ногу, часами — лишь бы на них не упало ни капли. Если ты отваживался гулять под дождем, ты вызывал подозрение; поэтому ни один член Партии в дождь не рисковал выходить из дома.

Но дождь шел так редко!..

Правда, в наше время и снег был редок. Если все же повалит, то тут же чернеет и становится ни на что не пригодным. Никто не решился бы, скажем, варить в нем яйца мастодонта. Нельзя было ни выращивать в нем снежные пальмы, ни ловить на удочку ледяных рыб! И даже у этого снега были строгие гонители: городские власти выдавали им древесные опилки и тысячи тонн соли, чтобы те по ночам посыпали каждую улицу, каждый закоулок. Потому что зрелища снега никто не мог вынести. Хотя на голой мостовой, отполированной солью и опилками, на костылях было нисколько не легче. Улицы по утрам наполнялись пронзительным визгом: это визжали резиновые, с железным острием наконечники костылей. Хотите верьте, хотите нет, этот жуткий скрип становился помехой движению: людям чудились в нем свистки полицейских; и каждый думал, что свистят именно ему. Временами весь город из-за этого замирал на минуту-другую.

Хотите верьте, хотите нет, но вставать мы должны были утром. Первыми поднимались рабочие. Даже зимой, в декабре, бедолаги выскакивали на улицу прямо в подштанниках — и только в трамвае кое-как надевали все остальное. Это

для них придуманы были итальянские свитера с высоким воротом и башмаки без шнурков, куда можно было сунуть ногу одним ловким движением. Женщины-работницы ходили в прозрачных нейлоновых блузках, из тех, что сохнут всего несколько часов, и в чулках, которые над коленками закреплялись тугими резиновыми подвязками — ах, до чего здорово было смотреть, как они, едва усевшись на деревянные скамьи трамвайного вагона, принимались подтягивать, поправлять, дергать под юбками в складку эти чертовы резинки!

Венгерский рабочий класс в меру своих возможностей всегда шел в ногу с модой.

Мальчишки из ремесленных училищ щеголяли в приталенных бушлатах; девушки-продавщицы наносили пипеткой синюю и зеленую краску на веки, которые от этого становились как бы блестящими; ранним утром, когда они, тяжело опираясь на костыли, ежились под холодным ветром на перроне, ожидая пригородного поезда, просторные синие юбки колыхались на них, хлопая по ногам. Все были хмурые, непроспавшиеся. Даже кондуктор сонно пошатывался, хриплым голосом напоминая про билеты, и у него слипались глаза, когда он клал в сумку деньги.

К счастью, от остановки трамвая до заводской проходной на асфальте были начерчены большие белые стрелы, так что с дороги сбиться было не просто. В семь часов, когда через проходную пробегал последний человек, вахтер выходил из своей кабинки в сопровождении двух охранников с автоматами и закрывал железные ворота на амбарный замок. И до трех часов пополудни завод сообщался с Будапештом только по телефону.

Немного позже вставали мы и служащие.

На газовых плитах закипал кофе с молоком, кухни оживали, маленьким пацанам причесывали волосы. Глава семейства, надев шелковый халат, проверял у домочадцев удостоверения личности. В кармашек пиджака засовывался белый платочек; в прихожей сверкали начищенные костыльным кремом «Радуга» служебные костыли.

Потом наполнялись автобусы. Пассажиры, положив портфель на колени, принимались сортировать деньги: десятка ложилась к десятке, форинт к форинту. К иным домам подкатывали бесшумные черные лимузины. Выходящий из подъезда человек горячо обнимал шофера, влезал на заднее сиденье и распускал ремень, а то и расстегивал ширинку. Лимузин вздрагивал и устремлялся вперед.

Младшие школьники спешили в школу пешком, горбясь под ветром; гимназисты летели во всю прыть. В восемь часов в городе только и слышно было, что стук костылей! Мы, революционеры, бежали с широко раскрытыми ртами, чтобы все видели: и у нас простужено горло, и у нас стучат зубы от холода.

Трудно, очень трудно было в те времена участвовать в сопротивлении.

3

А кроме того — и опасно.

Особенно если ты ходил в школу. Мы ведь были подростки, неопытные и наивные; авторы учебников на этом свои расчеты и строили. До сих пор у меня валяется несколько дешевых книжонок, выпущенных издательством «Просвещение»; о, какая неописуемая гнусность изливается на читателя с их страниц!

В них были не только рисунки с подписями, но и множество фотографий — выполненное цветной офсетной печатью изощренное свинство, с объяснениями, аккуратно сгруппированными по пунктам, нашпигованными пошлыми намеками и призывами. Учебники были коварно разделены на короткие главки, материал изложен доходчиво и понятно, самые похабные мысли набраны курсивом — цинизм тех, кто их сочинял, был безграничен! Много душевных сил и непреклонной веры требовалось честному человеку, чтобы сохранить себя для светлого будущего.

Особенно изобиловал порнографическими подробностями «Сборник задач и упражнений по алгебре» П. А. Ларичева. Иной раз эту книжку мы просто рвали друг у друга из рук. Например, Тамаш Нейфельд (сегодня, пожалуй, в этом можно уже признаться без краски стыда) долго был буквально ее рабом; если б не энергичное вмешательство Гизеллы Хорешни, не доброжелательное ее ворчание («Ой, Тамаш, ты ненормальный, ей-богу! Ну ненормальный, и все!»), еще неизвестно, сумел ли бы Тамаш сам выкарабкаться из этого зловонного болота. Все мы вздохнули с облегчением, когда в один прекрасный день — вообще-то как раз наступали самые мрачные месяцы — увидели, как они, два наших товарища, бесстрашные участники сопротивления, идут по коридору, держась за руки. Они нашли путь к спасению; однако беспартийное большинство, да и многие замечательные умы из нашей среды как учились, так и учились.

Учились даже дома. До дыр зачитывали печально известные популярные

брошюры, подчеркивали и заключали в рамочку предложения и абзацы; более того, даже специальную тетрадку вели, куда выписывали самые пошлые места. А в классе, затаив дыхание, во все глаза смотрели на доску и хихикали вместе с испорченным до мозга костей преподавателем... Более темных личностей я с тех пор не встречал, честное слово. Пора было бы наконец забыть о них, но перед моим мысленным взором вновь и вновь появляется то один, то другой, я вижу дьявольские их физиономии, вижу, как они облизывают свои порочные губы, как с глупой ухмылкой тычут меня в плечо или кладут потную ладонь мне на затылок и, нагнувшись, спрашивают что-нибудь или шутят... О, эти люди способны были на что угодно!..

Когда наступало время опроса, большая часть класса глухо стонала. У того, кто был вызван к доске — нам-то это было прекрасно видно,— волоски на руках и на шее вставали дыбом, глаза бегали, лицо краснело и надувалось, и все-таки он — *отвечал*.

Мы, участники сопротивления, много размышляли над этим.

О чем думает отвечающий? Что он себе представляет в эту минуту? Что у него есть домик с участком земли? Или — космический скафандр? Что он, стоя на трибуне, целует маленьких пионеров? Или, заплатив огромную сумму в долларах, ложится в саркофаг, где его заморозят на столетия? Что ему вручают орден? Что он грабит банк? Бьет дочерей?..

У беспартийных в конце концов всегда получалось: они *что-нибудь* да выдавливали из себя. Учащенно дыша, едва справляясь с волнением, они, однако, выпаливали заданный урок. Отличники — скороговоркой, покачиваясь на пятках; хорошисты — запинаясь и путая слова; троечники — с невероятным напряжением, с дергающимся лицом .. Лишь тот, кто долго молча стоял, повесив голову, опустив глаза, все больше бледнея, получал двойку, а то и вообще кол. Участники сопротивления — из соображений конспирации, конечно,— добивались для себя прочной тройки. Мы и сегодня с чистой совестью утверждаем: это был достойный компромисс. Ведь мы знали по опыту: за двоечниками ведется слежка, имена кандидатов во второгодники попадают прямо на стол родительских советов; коммунист просто не может позволить себе провала. «Не дадим такой козырь в руки врага!» — говорили мы, и когда очередь доходила до кого-нибудь из наших товарищей, он, преодолев отвращение, что-то все-таки лепетал.

Надо сказать: когда член нашей Партии вынужден был, преодолевая страх и отчаяние, выйти к доске, его ближайший товарищ по конспиративной цепочке быстро выяснял у соседей, что задано на сегодня, и, полистав под партой учебник, наметанным глазом находил искомое вранье. И затем подавал соответствующие сигналы: скажем, сжимал руку в кулак, крутил большим пальцем в воздухе, а то просто моргал, глядя на лампу.

Текли полные напряжения секунды; учитель сидел, развалившись на стуле, как какая-нибудь дешевая шлюха, взгляд его бдительно бегал по нашим рядам... А революционер, косясь в нашу сторону и следя за нашими руками, темпераментно выкрикивал: Ja hatchu, ti hotchesh, on hotchet...

Преподаватель с кислой улыбкой заносил в журнал тройку, а наш товарищ, ухмыляясь, шагал на место, и, хотя мы не произносили ни слова, глаза наши ликовали!

4

Сколько нам приходилось молчать, пока мы, Партия, боролись за светлое будущее!

Конечно, в том, старом мире, все помалкивали. Население помалкивало вслух:

взвесьте кило муки пойди погуляй с собакой врач сказал что-то с сердцем вот гроб себе сколачиваю если будешь долго возиться я тебя ждать не стану знаешь старина не доверяй блондинкам субботу я посвящаю сыну можно обратиться с ходатайством в СЭВ не бросай меня Чаба чутье надеюсь меня не подводит счастливого Нового года пожалуйста счет за телефон а вот этот слыхали встречаются два червяка тогда кто-то говорит с меня достаточно двадцатка и на этом закончим...

Партия предпочитала проводить дни, стиснув зубы.

Ведь за каждым нашим шагом ревностно следили два миллиона коллаборационистов: революционеры и те, кого подозревали в сочувствии к ним, вызывали у них сильнейший страх. Завидев целующуюся парочку, коллаборационист тут же писал письмо в газету: он требовал решительных мер: заменить все узкие юбки на широкие, приструнить свистунов, провести облаву в детских библиотеках, очистить страну от любителей рисовать на стенах, от владельцев водяных пистолетов, от

вандалов, безобразничающих на детских площадках, от всех, кто болтает ногами на качелях, кто моет руки в луже, кто сидит на газонах!..

В такой обстановке даже пустяковая оплошность может стать роковой. Габор Андял, наш дорогой, незабвенный друг, принявший мученичество за идею, однажды, когда мы ехали на четвертом трамвае к Сельскохозяйственной выставке, вдруг ни с того ни с сего запел. Его пытались одернуть, Нейфельд наступил ему на ногу, я потянул за рукав — все напрасно. Андял, зажмурив глаза, ревел во всю глотку: «О дева, ты уже, увы, не дева, ты знаешь, мне известно почему! Да! Ха-ха-ха...»

Домохозяйки тут же взяли его в кольцо, вагоновожатый остановил трамвай и обернулся. Андял устало, но без всякого сопротивления продиктовал свои данные и без звука терпел, когда ехавший с нами учитель за волосы выволакивал его из вагона. Потом он все же рванулся было назад и попытался влезть обратно в вагон. Домохозяйки, скрежеща зубами, каблуками били его по рукам, пока он не отцепился от двери. Трамвай двинулся в путь без него: мы молча смотрели сквозь грязное стекло, как он стоит, смертельно бледный, в школьном халате, и чешется. Костыли, зажатые у него под мышками, мелко дрожали...

Больше мы не видели его никогда.

5

А зима свирепела.

В городе просели мостовые; тротуары, накренившись к дороге, стали покатыми. В трещинах асфальта, смешиваясь со снегом, сгребенным к краям тротуаров, выступала кровь. Колеса машин разбрызгивали ее широкими фонтанами, капли крови летели на лица, одежду, сумки прохожих.

Зрелище это ввергало в уныние, но в то же время вселяло в наши сердца надежду: должно же людям рано или поздно броситься это в глаза! Но мы, увы, ошибались. Толстые зимние пальто, непромокаемые плащи — больше мы не видели ничего. Ни лиц, ни тем более глаз.

А тут еще началось саловыделение.

Сначала я обнаружил его на лицах родителей. Оно покрывало их тонкой, относительно прочной пленкой. Потом стало в палец толщиной. Оно появилось и у меня на лице; когда его становилось много, оно стекало за пазуху и в ботинки.

Оно текло в обувь уже у всех и у каждого.

Не только в грубые башмаки работяг и в боты пенсионеров, но и в добротные, на каучуковой подошве туфли чиновников, в элегантные, с блестящими застежками ботики дам, в лакированные полуботинки артистов.

Партия искренне изумлялась, но, ничего не поделаешь, *видела*: никто, кроме ее членов, и не пытается удалять с себя сало. (Мы-то днем и ночью скребли себя щеточкой для ногтей, скребли упорно и терпеливо, хотя и без всякого результата: проходил час-другой, и сало опять покрывало тебя плотным слоем. После уроков, идя домой, мы пробовали обертывать опоры костылей под мышками оставшейся от завтрака салфеткой; но едва удалившись от школы на два квартала, ты опять чувствовал, будто плаваешь в собственном соку.) Взрослые вообще чихать хотели на *все*. Словно бы ничего и не было. Особенно ненавидели мы за это нашу толстомордую классную руководительницу: отчитывая нас, она беспрестанно гладила себе горло, потом сальной рукой лезла себе в затылок и, как дома, хозяйничала в волосах, а когда ей это надоедало, опять хваталась за горло. Когда она записывала в журнал замечание, все мы видели, как большие капли сала падают с ее щек на бумагу.

Однажды вечером я пристал к отцу: как это так, что сало его нисколько не беспокоит?

Он ухмыльнулся и ответил — ни капельки не стыдясь,— что, дескать, наш умный организм таким способом защищается от воздействия холода.

Потом, правда, добавил, что его родители удаляли сало ваткой, смоченной в камфоре. По крайней мере, время от времени протирали лицо, а если такой возможности не было — как, например, в годы войны,— им было очень не по себе. Еще он вспомнил, как бабушка, спускаясь в бомбоубежище, надевала на себя два платья: боялась, вдруг соседи увидят ее засаленную домашнюю одежду.

А сегодня у кого есть на это время?

— А тебе оно не мешает, папа?

— Мешает? Еще чего! Дурачок... Мое тело старое, остывает быстрее, чем твое, а сало — прекрасная теплоизоляция. Это защитный слой, сынок, так что не обращай на него внимания. И вообще... от сала одежда здорово так скользит по телу, это приятно, меня это освежает, я себя моложе чувствую. И двигаюсь куда свободнее! Вот увидишь, рано или поздно ты тоже к этому привыкнешь, тебе даже понравится... О-хо-хо!..

Думаю, именно в этот момент я стал законченным террористом. И на следующий день началась подпольная борьба.

6

Утро у нас обычно проходило без всякой пользы, зато вторая половина дня была заполнена напряженной и неустанной деятельностью.

Мы — фантазировали.

Придя домой, каждый партийный работник тут же садился в кресло или укладывался на кровать. Кто как. Лично я ходил от стены к стене, хрустя суставами пальцев и трепля свои кудри, пока все тело не наливалось истомой. Тогда я падал на кровать и напрягал свой мозг, извлекая из его закоулков очередной грандиозный замысел.

(Чтобы читатель понял дальнейшее, он должен знать, что Коммунистическая партия венгров — в первый период своей истории — была по своему характеру анархистской.

Это, однако, нас не пугало. Ведь нам давно известна была эта открытая выдающимися умами, сопровождающаяся незначительным повышением температуры, не слишком тяжелая болезнь, о которой мы знали, что она не что иное, как детская болезнь коммунизма. Что скрывать: мы видели в ней главное доказательство своего развития и с удовольствием отыскивали в себе ее жутковатые симптомы.)

Мне, например, с первой же попытки удалось заставить Будапешт плакать. Первые всхлипы, ставшие для меня сигналом успеха, послышались в 16.35 с лестничной площадки. Я с радостью побежал открывать дверь. На площадке плакал почтальон.

Это был бледный усатый мужчина лет пятидесяти. Прямой, как струна, он стоял у перил и, хлюпая носом, царапал костылем пол, покрытый плитками из искусственного мрамора; потом, надрывно вскрикнув от душевной боли, согнулся, упал на перила и зарыдал. Медленно приоткрылись двери соседних квартир. Глаза выглядывающих оттуда жильцов тоже были полны слез; этажи вверху и внизу наполнились громким сопением и прерывистыми вздохами. И вот хором взмыли рыдания: У-ху-ху-ху-у-у...— и двери с громким стуком захлопнулись, и зашумели открытые одновременно водопроводные краны и спущенная вода в унитазах...

Я выскочил на балкон. Внизу, на улице, прохожие закрывали лица ладонями. Кто-то сел прямо на асфальт и, тиская в кулаке рубашку на груди, жалобно звал маму; другие, шатаясь, все-таки брели дальше: видно, спешили куда-то. Многие бились головой о стекла витрин; автомобили останавливались как попало на проезжей части, ездоки один за другим выпрыгивали из них, падали наземь и, колотя ладонями по мостовой, голосили во всю глотку...

Я вернулся в комнату и включил радио. Детский хор Венгерского радио и телевидения сначала хныкал, потом заревел во всю мочь. Мелодия сбилась и перепуталась, к детским голосам примешались тяжелые мужские рыдания — думаю, это плакал капельмейстер. От его голоса я просто опьянел.

Для верности я проверил и станцию «Петёфи». Там, кажется, передавали какую-то дискуссию, но в этот момент все ее участники вместе с ведущим били кулаками по столу и надрывно стенали. Я подкрутил радио на полную громкость и лег на диван.

Я лежал и слушал голоса мира.

Будапешт плакал, как гигантский дом младенца! Словно одновременно разбили десять тысяч оконных стекол, слобно враз загудели все заводские трубы, а за ними запели пионерские горны и новогодние фанфары, залились колокольчики в городских бассейнах, затрещали сотни трещоток футбольных болельщиков...

Скоро я устал, к сожалению. В 17.01 жизнь вернулась в привычное русло. По радио начался концерт по заявкам, на улице зарычали и двинулись в путь авто, затрезвонили велосипеды, оглушительно затарахтели отбойные молотки... Еще более грандиозное представление устроил Лаци Сенгеш: 20 ноября по его мысленному приказу взлетели на воздух все, кто на территории Будапешта носил синий костюм, красный галстук на резинке и зеленую фетровую шляпу. Вышеозначенные пижоны расстались с непосредственным местом своего нахождения в один и тот же момент; причем еще повезло тем, кого диверсия, совершенная Сентешем, застала под открытым небом: они достигли облаков без единой травмы. Что же касается бедняг, которые сидели в министерствах, канцеляриях или конторках в цеху, то им пришлось проламывать потолок, крышу или кровлю из волнистого оранжевого пластика своей собственной головой — другого пути не было.

Мы, террористы, базировались на школьном дворе, окруженном со всех сторон стенами соседних домов. Была перемена. В такие минуты нашему брату положено играть в пятнашки, потихоньку курить — чтобы дополнить жалкую учительскую зарплату так называемой «поимочной надбавкой» — и сбивать с ног девчонок; но

участники сопротивления такой ерундой, ясное дело, не занимались... И тут на небе появились летящие пижоны, похожие на маленькие ракеты; их волосы и плащи развевались на ветру, они отчаянно дрыгали ногами. Небо от них стало в крапинку. Возмущенные вопли их доносились до нас, как мирный крик перелетных птиц. (*«И звенят невидимые хоры, и бряцают крохотные шпоры»* [1]).

Достигнув горизонта, все пижоны до одного взорвались. Спустя какое-то время весь наш двор засыпало липкой пленкой, на ощупь напоминающей лоскуты воздушных шариков, и мы все, сколько нас было товарищей, обнявшись, подобно медвежатам, покатились — надо же было нам, не вызывая подозрений, как-то выразить охватившую нас безумную радость! — по наледям, протянувшимся на школьном дворе... А чуть погодя увидели в коридоре преподавателя, дежурившего по продленке: в синем костюме и красном галстуке на резинке, стуча костылями, он торопился в учительскую...

Сентеш уронил голову на грудь и побежал в класс. Мы пожали плечами, вздернули брови и двинулись следом. Так нам стало ясно, что анархистские методы не изменят судьбу родины; но все же мы поболели еще некоторое время детской болезнью, потому что каждый думал только о себе.

Раз, например, сидел я дома один перед телевизором; родителям в тот вечер пришлось тащиться в театр («абонементная повинность»). И вот я вижу, как один министр, выступая в парламенте, вдруг обеими руками полез себе в рот, взялся за щеки и стал себя раздирать, пока не разодрал пополам. Язык его вывалился на бумаги, что лежали перед ним на пюпитре.

Телекамера тактично отъехала; но тогда в поле зрения оказался зал заседаний. Сонные лица депутатов вдруг оживились, они замахали руками, приветствуя сидящих дома родственников, потом, глядя на министра, тоже полезли себе в рот или вцепились в щеки с такой силой, что у них ногти побелели, и, упав на пол, забулькали хором: «Буль-буль! Буль-буль!»

Однако спектакль на том не закончился (в центральной дирекции телевидения наверняка в это время все с ума сходили): министр отшвырнул свои костыли, тело его сползло под трибуну, только подбородок зацепился за пюпитр, и изо рта его вылетели зубы. Звук был такой, будто в зал швырнули целую горсть гороха. Скоро весь зал под огромным куполом полон был мелодичным звоном золотых и серебряных зубов. Депутат от области Боршод-Абауй-Земплен (перед ним лежала табличка с его именем) сам вырывал у себя зубы руками; десны у него были, видно, очень здоровые, потому что он не мог сдержать стонов. Другие же делали эту работу с необычайной легкостью и даже время от времени наклонялись в другие ряды, посмотреть, как идут дела там. Из телевизора неслось кряхтенье, хрюканье, надсадный, но сдержанный хрип, короткие повизгивания... И все-таки, должен сказать, самым незабываемым эпизодом нашего анархистского периода стал такой случай: на проспекте Ваци, ночью, полицейский проверял у подвыпивших рабочих удостоверения личности — и вдруг остановился, задумался, распахнул полы своей длинной шинели, наклонился чуть ли не до земли, спустил широкие шаровары аж до сапог и стал умолять изумленных прохожих, чтобы его отхлестали по заднице. Честно говоря, даже я был удивлен. Люди вокруг вообще оцепенели. А полицейский твердил свое:

— Родимые, ну хоть пните как следует! Холодно же, мать вашу!.. И жена дома ждет... Трудно вам, что ли? Молодой человек, у вас сердце доброе, я чувствую. Ну, размахнись, братишка, врежь разок, а то пропаду я, в аду буду гореть!..

Мы молча топтались вокруг него. Какой-то немолодой чернорабочий с лысиной во всю голову отважился было, собрался с силами... но в последний момент приятель его одернул. «Пущай мерзнет! Может, скорей окочурится»,— сказал он, обнял лысого за плечи, и они ушли, поддерживая друг друга. Люди рядом со мной только головами качали. А полицейский, видя, что его просьбу никто не собирается выполнять, рассвирепел:

— Сволочи поганые, чего варежки-то раззявили? Задница белая, да? Не нравится, да? Да на вашем месте я бы такого до полусмерти исколошматил, с дерьмом бы смешал!.. Да поймите вы... вас ведь по-человечески просят!..

Я смущенно вертел в руке удостоверение личности и смотрел, как под студеным ветром покрывается гусиной кожей полицейская задница. Даже сало на ней, застыв, стало отваливаться кусками и падать в штанины. Наконец появился какой-то пьянчужка; он опустился на колени и подобострастно поцеловал голый зад стража порядка; потом подошел ко мне и стал клянчить сигаретку. Нету, сказал я, самому бы разжиться где. Жалко, сейчас мне ох как бы надо, вздохнул он.

А полицейский стоял и тихо плакал. Никто, никто его даже не шлепнул; даже так, для виду...

---

[1] Строчка из стихотворения Ш. Петёфи «Тисса», входящего в обязательную школьную программу. *(Перевод В. Левика.)*

— Скоты! Подхватили свои костыли — и поминай как звали! А меня бить надо, иначе я не исправлюсь!..

Я двинулся к мерцающим вдалеке огням площади Маркса. Полицейский хрипло крикнул мне вслед:

— Что же это за жизнь такая!... Проси не проси, никому до тебя дела нет. Эх, не умеем мы внимательно относиться друг к другу!..

В тот день я лег спать с удивительно приятным ощущением... Я торопился на нелегальную сходку, чтобы во всех подробностях поведать о том, что мне довелось увидеть и пережить. Да, я еще не сказал: каждую ночь у нас было партсобрание. Ровно в полночь, прямо в пижамах, мы приходили на угол улицы Пала Няри, что напротив церкви...

7

Мы подходили туда по одному, с разных направлений. Шли пешком; чтобы не поднимать шум, мы даже не надевали шлепанцы. Тот, кто когда-нибудь был подпольщиком, знает: шлепанцы громко шлепают; босиком же мы передвигались бесшумно, как кошки.

Не здороваясь друг с другом, мы стояли, прислонясь к черной витрине углового продмага. Мы даже не смотрели друг на друга, пока не подходил последний член партии,— это обычно была Пирошка Шимонович, наша неустрашимая Девочка с мизинчик: дома ее запирали на ключ. Косясь друг на друга, мы проводили безмолвную поверку, потом через низенькую решетчатую ограду перелезали в церковный палисадник. Йоргос Теодорос точным движением, словно хирург, открывал ржавый замок на церковных дверях — для этого он пользовался собственноручно сделанным каучуковым гитарным медиатором,— а долговязый Сентеш, поднявшись на цыпочки, нажимал ручку. Дрожа, мы прижимались к стене; если никто в округе не просыпался и ни один дворник не высовывал голову из своего подъезда, мы в мгновение ока исчезали в черной щели приоткрытых дверей.

Хотя видно нам было хорошо (на нелегальных сходках зрачки у коммуниста расширяются и излучают свет), мы зажигали несколько свечей: пускай за спинами шевелятся зловещие тени. Товарищи девчонки, смеясь, закручивали фитили, словно кончики усов, а Шаламон, у которого с собой были спички, по очереди подносил трепещущий огонек к свечам в их руках. Мы брали за углы освященное покрывало на алтаре и складывали его, потом с места запрыгивали на алтарь; даже товарищи девчонки ни за что не хотели, чтобы им помогали. Стоя на пахнущем благовониями алтаре, мы запевали «Дубинушку». Товарищи женщины, стоя за нами, нащупывали край пижамных курток товарищей мужчин, и руки их касались горячих коммунистических торсов...

Мы разворачивали съестные припасы.

Каждый что-нибудь приносил с собой на собрание: старое густое варенье с торчащей в нем ложечкой, шкурку от свиного сала, тыквенные семечки — сплошь такие вещи, которые не съешь за один присест, которые надо долго, неторопливо грызть или жевать, одновременно размышляя, слушая, обдумывая услышанное. Руки товарищей женщин и во время дискуссии согревали нам спину, придавая уверенность в своих силах. Мы расстегивали их спереди. Когда тихий обмен мнениями угасал, его сменяла беззвучная деятельность: коммунисты обоняли друг друга.

В те времена только мы хорошо пахли.

(Про себя мы этого сами не знали, нам об этом говорили товарищи; мне, например, Чилла Хюбнер: «От тебя пахнет, как от почтовой марки!»; я же в тот момент с удивлением обнаружил, что волосы у товарища Хюбнер пахнут, как у нас дома — корзинка с маминым рукоделием. Хотя, кажется, не совсем... На другой день я специально понюхал корзинку: ничего общего.)

Члены Партии часто отдыхали, приникнув к пушку на шее друг друга; а в серьезных и важных дискуссиях мы излагали свои позиции, прижав губы к уху сидящего рядом товарища, потом наклоняли головы так, чтобы один шептал, а остальные могли его слышать. Так нам удавалось избегать суеты, никто не перебивал и не прерывал другого. Наверно, поэтому мы всегда говорили то, что хотел слышать другой. Что мы — рабы, что диверсия снова не удалась, хотя задумано было здорово, и что зима никак, черт возьми, не кончается!

Один из нас начинал выступать и, плывя по волнам согласного чавканья, шептал минут двадцать-тридцать, а когда чувствовал, что проголодался, говорил: «Продолжай отсюда!» И что интересно: на каком бы, пусть как будто совсем непонятном, месте он ни прерывал свою речь, сидящий рядом без всяких усилий развивал его мысль дальше. Что говорить, ужасно (с тобой, юное поколение, живущее в прекрасном новом мире, такого случиться уже не может), но если кто-то

начинает фразу: «Луна вращается вокруг...»,— то закончить вы ее можете только так: «...Земли! Земля вращается вокруг Солнца!»

«Сегодня,— шептал кто-нибудь в сто двадцатый раз,— нет революционной ситуации. Сегодня и классов-то нет. Только одни слои».— «А какие»? — влезал оппонент, воспользовавшись паузой.— «РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ... НУ И САМО СОБОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ».

В конце концов Эрне Шаламон не выдержал:

— Вот мы теоретизируем всё, а ведь март на носу!-- шептал он в наши сконфуженные уши.— Такая предпосылка, этакая предпосылка... Беда в том, что мы слишком много знаем! Например, что такое государство и революция? Нет тут ни государства, ни революции!

Его выпад вызвал острую критику. «Шаламон отстал. Как это ни прискорбно. Он дурак и подрывает. Ему не место в наших рядах»,-- постановила Коммунистическая партия венгров и на одну неделю исключила его из своих рядов. А Шаламон, воспользовавшись правом последнего слова, произнес слова, позже ставшие знаменитыми:

— Сало сначала с себя сотрите, а потом уж меня репрессируйте! Вы мне хоть письку отрежьте, история все равно меня оправдает! — И с тем повернулся и ушел.

Партия продолжала работать, хотя совесть у нее была неспокойна. На другую ночь, со среды на четверг, мы подвели черту в персональном деле нашего товарища, постановив: «Кое-кто сейчас увлекается фракционерством — и пусть! Партия и не такие удары выдержит...» Но в четверг нам его очень уже не хватало. А что, если именно Эрне Шаламон необходим нам для победы, думали мы. В конце концов Гизелла Хорешни выразила общее мнение:

— Ну и ладно, пускай я ревизионистка, но на дворе все равно зима, а мы тут салом заплываем. Чего вы, собственно, хотите?

В пятницу мы в торжественной обстановке реабилитировали Эрне Шаламона.

Собрание постановило: в последнее время лес теории заслонил от нас деревья практики. Этому должен быть положен конец. Не желаем быть кабинетными учеными! С сегодняшнего дня обратим наши взоры к жизни — и больше не будем их отводить от нее.

И тут же объявили начало свободной дискуссии о весне.

8

1. Будет ли она?
2. Какой будет?
3. Будет ли она вечной?
4. Можно ли жить в такое время? (Как одеваться?)
5. Позволяется ли весной есть мороженое? —

вот по таким вопросам развернулась дискуссия.

Относительно решающего вопроса мнение было однозначным: весна — будет. Должна быть. Должна быть в конце концов! Если ты участник сопротивления, то не имеешь права сомневаться в этом.

Но -- когда?

Об этом мы понятия не имели.

Нейфельд высказал мнение: годика через два, когда ослабнет империалистическое давление и великие державы сядут за стол переговоров, тогда вполне можно допустить. Мы устроили Тамашу обструкцию и обозвали его ура-оптимистом. По нашим расчетам, даже при самых благоприятных условиях весна наступит не раньше, чем начнутся экзамены на аттестат зрелости. И то вряд ли.

Мы задумались. Кому это было бы выгодно?

Совсем иные времена, иные требования; и вообще должны повеять новые ветры. Подобную задачу наша маленькая страна, опираясь лишь на собственные возможности, ясное дело, не решит. Потом, руководство страны тоже не заинтересовано выпускать на свободу силы, над которыми оно не сможет осуществлять эффективный контроль.

Что, если однажды выглянет солнце?

Кто тогда усидит на месте?

Кто захочет покупать уголь?

Кто станет весной смотреть телевизор?..

Нет, сами они весну вводить не станут.

Мы приняли резолюцию: когда-нибудь весна наступит. Но если наступит, то не официально. Она родится в тяжелой борьбе и потребует таких жертв, какие нынче трудно даже предвидеть. Возможно, в числе жертв окажемся и мы, но это ерунда. Игра стоит свеч... А какой она будет?

Приятно было думать и рассуждать об этом, тем более что у нас не было ну

абсолютно никаких познаний в этом вопросе и ничто не связывало полет нашей мысли. Правда, самые пожилые из нас часто повторяли, что они-то уже пережили несколько весен... В такие моменты глаза их туманились, они крепче стискивали перекладины костылей, но ничего конкретного не могли вспомнить. Напрасно мы их расспрашивали, пытаясь добиться хоть какой-нибудь информации — вместо ответа они лишь губами причмокивали, а то еще принимались подмигивать... Может, поэтому наша фантазия так разыгралась, когда выступила Чилла Хюбнер:

— Вот увидите, придет день, когда растает каток с искусственным льдом и его придется закрыть. Все перчатки останутся лежать на складе, и каждый будет голыми руками выбирать себе яблоки, и станет видно, кто работает больше, а у кого руки белые и холеные... И... и *будет светить такое солнце!..* И об этом неминуемо объявят по радио.

Мы согласились с Чиллой: объявят.

Ну, а цвет солнца?

Нейфельд сказал: солнце будет серебристым. Мы снисходительно улыбнулись. Всем известно, что это луна серебристого цвета. Нейфельд развел руками, как бы извиняясь: я-де всегда придерживаюсь реальности, из нее исхожу. И ничего тут не поделаешь!

Шимонович сказала: солнце будет зеленым. Вернее, салатовым. Вообще-то цвет нам понравился, но мы требовали доказательств. Пирошка объяснила свой выбор так:

— Почему я обеими руками за зеленое? Потому что недавно читала, что джунгли такие зеленые — прямо класс! И все это от хлорофилла, а хлорофилл от солнца, вот почему.

Хм... в этом что-то есть. Но тем не менее...

Еще несколько красок всплыло в острой, нелицеприятной дискуссии: розовый... темно-коричневый... даже черный! Но решения вынести мы не смогли. Оно будет светить. Светить! Это главное.

Что оно еще и тепло давать будет, никому из нас в голову не приходило.

Сладко было планировать будущее; время летело быстро. И вот однажды пришел рассвет, когда говорить было не о чем. Уже и гладить соседа (соседку) не особо хотелось, а мусорные машины были еще далеко — и речь незаметно переключилась на тему смерти.

Это в те времена была тоже тема запретная. Сам я лишь незадолго до того дня из туманных полунамеков узнал, что жизни каждого человека когда-нибудь наступает конец. В школе этого не проходили вообще, родители же стыдливо помалкивали, почему-то считая то, что совсем от них не зависит, своим личным делом.

Конечно, я давно замечал, что взрослые как-то странно относятся к старикам: или не обращают на них внимания, стараются отмахнуться, или сюсюкают, словно бы даже заискивают перед ними, а в сущности, таким способом просто затыкают им рот; но подозрений у меня все равно пока не возникало. Да уж, не всякий мыслитель способен обнаружить связь между кладбищем, окруженным высокой оградой, заставленным неуклюжими, угловатыми каменными плитами, и напечатанными где-нибудь в уголке газеты извещениями — *ушел от нас дорогой муж, сын, любимая мама, после короткой* — или: *продолжительной болезни, панихида...* ну и так далее.

Мне казалось: пышными похоронами, газетными извещениями, прочувствованными словами людей награждают за многолетнее примерное поведение. Официальные некрологи, помещенные на первых страницах газет, как будто бы подтверждали эти мои догадки. Улыбающееся лицо в черной рамке: писатель, государственный деятель, ученый, под ним — длинный восторженный текст, украшенный редко встречающимися эпитетами вроде «безупречный», «кристально честный», «незабвенный» и такими, например, оборотами: «его светлый облик, со знаменитыми костылями, вечно будет жить в сердцах миллионов!» Помню, я с искренней завистью воспринимал эти переполненные почтительностью, доставшиеся другим слова, это не ограниченное никакими оговорками всеобщее признание...

Истинное лицо смерти мы узнали благодаря Лаци Сентешу. Как оказалось, он осмелился приблизиться к ней, не спросив разрешения Партии. Однажды — дело шло к вечеру — он услыхал во дворе какие-то крики и без раздумий выскочил на галерею.

— Там уже весь дом на перилах висел, один жилец сам чуть не свалился. А *того* звали доктор Элемер Сабо, я его до тех пор почти и не знал. Так, всего раз видел на лестнице: идет, ест жареную кукурузу, на вид совсем чокнутый... Ходил всегда с портфелем, один раз мамке руку поцеловал... Что самое интересное — у него обе ноги в живот вошли. От этого он стал вроде как лилипут: сантиметров шестьдесят или семьдесят или чуть побольше. Мы прямо во все глаза на него смотрели — ну, я скажу, вообще!.. Он, этот Сабо, еще жив был, у него пена шла изо рта, консьержка говорит: он прощения у нее просил. Я,

правда, не верю, но она божится, что так и есть. Вроде как все твердил: извините, мол, целую ручки, простите, целую ручки. Потому что он прямо перед ней жахнулся, она у окна сидела и глядела во двор. У нас консьержка всегда в окне сидит и глядит во двор... Он еще потоптался на месте... Это точно, это я сам видел. Потом повалился и стал еще меньше, скажем, как средняя собака. Ну, приехали из полиции, всех загнали в квартиры, только баба эта, консьержка, осталась как свидетельница. А его быстро убрали; когда я опять вышел, дворник уже двор поливал водой с мыльным раствором... Вот, в общем, и все.

Бледные, с ужасом смотрели мы друг на друга; нам стало на алтаре как-то неуютно. Первой заговорила Шимонович. Ей вспомнилось, как несколько лет тому назад вдруг исчезла, прямо из кровати, ее родная бабушка. Случилось это при загадочных обстоятельствах: лежала, лежала и вдруг пропала. Пирошка всех тогда спрашивала, что случилось с бабулей, а ей отвечали, что та уехала в деревню и что они потом когда-нибудь поедут к ней в гости. В гости они к ней не поехали, а Пирошка скоро и спрашивать перестала.

— А что делается в больницах!..— напомнил кто-то.

— Верно, там больше всего людей исчезает. А иначе зачем больницы были бы нужны? Раз ты больной, тебя рано или поздно все равно выкинут!..

Тут я стал, кажется, понимать, какой цели служат подхалимские газетные извещения, в которых покойного нахваливают в хвост и в гриву. Приходится хвалить, а то люди подумают, что те, кто его оплакивает, не совсем согласны с таким поворотом дел. Сами, дескать, намылились жить вечно — вот и бегают, кричат на всех углах: «Умер. Хороним. Все в порядке вещей...»

А что говорить о знаменитых людях? «Нет, не умер, ничего подобного! — вот что означают траурные рамки.— Кто у нас достиг столь многого, будет жить вечно! Вот вам пример, видите? А ну-ка достать из-за пазухи маршальские жезлы!»

Сомнений не оставалось: если мы не возьмем власть, то умрем. И не только мы. Мало-помалу умрут все. Йоргос Теодорос обеими руками колотил по алтарю:

— Если ты знаешь, что все здесь должны будут умереть, и молчишь — разве ты коммунист? Я выхожу из партии!

Чиллу Хюбнер занесло еще дальше.

— Мы вот рассусоливаем тут насчет будущего, а вокруг — смерть. Тысячи и тысячи уходят из жизни!.. Вы что, не понимаете, что такой удел и нас ждет? — вопрошала она, хотя никто с ней не спорил. Мы сидели, нахохлившись, словно воробьи на телеграфных проводах. А Чилла продолжала:

— Ведь если ты умер, ты никогда больше не скажешь ни единого паршивого слова! Не выпьешь ни глотка воды. Для тебя даже зимы не будет, а уж что говорить о весне! У того, кто умер, ничего не будет, даже запаха пота... А мы тут сидим сложа руки и мечтаем. Не желаю я из-за вас, сопляки, умирать! Выхожу из Партии...

Больно мне было слышать слова Чиллы Хюбнер.

Я фанатически верил в успех нашей борьбы, верил с той самой минуты, когда идея родилась у меня в голове. Я чувствовал: если нас вот так, ни с того ни с сего, не станет, это будет ужасная несправедливость!.. Трезвыми аргументами я попытался утихомирить разбушевавшиеся страсти.

— Товарищи, к чему скулеж? Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Скажем, смерть!.. Ладно, мы, может, на какой-то момент испугались... Но не до такой же степени, чтобы наложить в штаны! У нас есть Партия, она справится и с этой проблемой. Знаю, время торопит, мне тоже не хочется умирать... Но предлагаю не выходить из Партии, а поставить в повестку дня вопрос о немедленном взятии власти. Даешь весну! Готов спорить на что угодно: весной никто умирать не захочет.

Слово попросил Эрне Шаламон.

— Ну, я вам скажу!.. Ну, придумали!.. «Все умрем!..» «Даешь весну!..» Может, дойдет когда-нибудь очередь и до этого. А о том, что есть, почему молчим? Почему боимся сказать, что «Непсаби» [1] вон уж сколько недель выходит с одной и той же датой? Сами знаете: сколько времени пятница и пятница, а суббота все никак не наступит. Почему, я спрашиваю? Потому что там, наверху, у кого-то левая нога так хочет?! *Смерть* — и весна!.. Бросьте! Взгляните в лицо фактам: можно ли создать боеспособную коммунистическую партию, если мы даже не знаем, какое сегодня число? Я вам отвечу: хрен можно!.. Я требую, чтобы руководство Коммунистической партии венгров установило точное время, а если оно на это не способно — пускай подает в отставку!

Нам стало зябко. Мы повернулись друг к другу спинами, и к моменту, когда загромыхал первый опоражниваемый мусорный бак, сходка растаяла. На сей раз не было бархатных поцелуев; мы даже не обнялись на прощание.

[1] Фамильярное название органа ЦК ВСРП «Непсабадшаг».

Так распалась Партия.
Теперь мы днем жили, а ночью спали как убитые.

9

Жизнь опять подтвердила правоту мудрого Шаламона [1].

В кинотеатрах программа не менялась месяцами; застыло и расписание уроков: физкультура, история, география, математика, классный час, опять физкультура, история, география, математика, классный час... Бог знает, сколько еще, и бог знает, с каких пор.

Разбуди меня среди ночи — и я наизусть отбарабаню все, что ждет меня в жизни. Я сниму с полки эту книжку стихов, на седьмом стихотворении выбегу попить, вода пойдет не в то горло, я закашляюсь и стукнусь о край стола... И все равно я брал ту самую книгу, а спустя четверть часа корчился в приступе кашля. И пускай я знал, что меня ждет, если я пойду сейчас попить воды — все равно я ощущал жажду, а потом вынужден был откашливаться и стукаться о стол. У меня уже весь бок ныл, но я делал все то же: читал, пил воду и кашлял...

В «Центральном» мы ели одни и те же блюда, и каждый день, где-то около двух часов, я выплевывал на стол один и тот же до смерти надоевший обрывок фотографии: групповой портрет коллектива служащих, женщины в халатах на грязном дворе, головы их оторваны, костыли составлены пирамидой в сторонке... На улице навстречу мне проплывали одни и те же лица... Про Коммунистическую партию венгров я позабыл, словно ее и не было никогда. Забыл и названия дней недели, кроме одного: пятница. Мне даже не нужно было помнить, на какой улице я живу и как меня зовут. Каждый, кому я мог понадобиться, находил меня без малейшего труда; иногда присылали открытку из библиотеки; телефон с готовностью сообщал точное время: *17 часов 11 минут 15 секунд* — конечно, время каждый раз бралось с потолка. Те несколько вещей, с которыми я еще поддерживал отношения, привычно, хотя и со скукой, обслуживали меня: нож разрезал мясо, зубная щетка массировала десны, одеяло закрывало меня с головы до пяток...

Так шла пятница за пятницей. И вдруг, до того неожиданно, что я и сегодня не совсем понимаю, как все случилось, наступила суббота.

10

Началось с того, что я открыл глаза — и мне *понравилось*. Знаю: многие, очень многие испытали тем утром то же самое! Если бы мне захотелось взять в руки газету, я тут же бы разобрался, что к чему; но я лишь лежал и думал: как интересно — сегодня я надену другую одежду, услышу иные звуки, вон и комната какая-то не такая... Мои захватанные донельзя стол и стул не блестели от жира — их покрывала сухая белая пыль. Вообще пыль стала видна в воздухе, а на узорах ковра сидел целый отряд пушинок: хоть сразу чихай... В ужасном смущении я собирал свой портфель.

Какой-то рефлекс, с невероятной силой въевшийся в душу, гнал меня к школе. Я двинулся в путь еще с разинутым ртом — и на первом же перекрестке вдруг словно споткнулся: а, собственно, *зачем и куда* я иду?

Забавное зрелище я, должно быть, собой представлял, когда на своих костылях прыгал вокруг таблички «Въезд запрещен!», будто какой-нибудь зачарованный сизарь, воркующий: «Ух ты, ух ты, ну и ну...»

Каким-то образом я оказался на набережной. Просто вдруг обнаружил, что стою на ступеньках, ведущих к воде, зябко ежась на своих костылях, и смотрю на оттаивающий Дунай. За спиной у меня с грохотом проносились грузовики, грузчики орали и весело матерились в кузове.

Я огляделся, нашел чугунную тумбу — их, сохраненных революцией, и сегодня на набережной полным-полно — и сел, жадно вдыхая воздух. Вскоре поблизости появилась шлюха; в костюме из настоящего мохера, в туфлях на высоких, хотя и стоптанных, каблуках она ковыляла на костылях по неровному булыжнику. Я с вызовом стал разглядывать ее загорелые от работы ноги, руки, покрасневшие под холодным ветром. Она меня не заметила; клацая зубами, она торопилась куда-то. Я был уверен, что она не занята. Она спешила, потому что ей так нравилось. По всей видимости, радовалась тому, чему ни она, ни я не могли еще дать названия.

А потом было вовсе странное. Истинные революционеры ступали на серую воду и шли по ней, будто лунатики. И шепотом чертыхаясь, хотя ни одна волна до меня так и не докатилась, и страшась, что вот сейчас, сейчас утону... я обнаружил,

[1] Шаламон - венгерская огласовка имени Соломон.

что уже лечу, широко раскинув ставшие ненужными костыли! Прошли невероятно трудные полчаса, пока я, весь потный, поднялся на десятиметровую высоту; мне казалось, выше уже невозможно. Высоко в воздухе я на цыпочках добежал обратно до дамбы; мне так хотелось почувствовать усталость! Я отдувался, прерывисто дышал...— но усталости не было.

Трудно выносить новое. А уж привыкнуть к нему!..

Дальше я шел пешком. Да-да, костыли мои снова стучали по камню, пока я взбирался со ступеньки на ступеньку вверх, на набережную... долой с места преступления, и как можно скорей!

Я быстро добрался до площади Петёфи, стараясь подальше держаться от статуи — пару недель назад под ней еще колыхалась та печальной памяти буржуазно-демократическая манифестация; я пробирался между песочницами, когда меня окликнули:

— Эй, Табори, Табори! Товарищ!

Вокруг фонтанчика с питьевой водой топталась наша Партия. Там был и Шаламон, он навалился на Шимонович, а она лизала ему веки. Еще я увидел, что у Йоргоса Теодороса расстегнута на груди рубашка и он, задрав голову, плюет в небо. А Чилла Хюбнер, поднявшись в воздух, причесывает ежик Лаци Сентеша. Хорешни чистит арахис и подбрасывает его в воздух, а Нейфельд летает и ловит его.

Я подошел к ним.

Можно было уже говорить что угодно, но ветер холодной шершавой ладонью зажал нам рты. Я показал пальцем на солнце. Нейфельд показал рукой, под каким углом падает свет. Что ж, дни победы грядут, думал я, когда мы, все вместе, взлетели на ближайший каштан. Оттуда — на другой, на третий... Так славно было парить и бесшумно скользить меж деревьями... Некоторое время спустя мы уселись на толстой ветке, отдохнуть. Вокруг с воодушевлением чирикали воробьи. Хюбнер, не зная, что еще выкинуть, тоже взялась чирикать; воробьи удивились, потом рассердились — и заверещали громче. Тут уж подняла голос вся Коммунистическая партия. Воробьи чуть не попадали с веток от изумления...

Прохожие, которые до сих пор, напуганные солнцем и ветром, дрожали, прижимаясь к стенам домов, теперь, заслышав наш концерт, осмелели и понемногу стали собираться вокруг нашего дерева.

Пришел наш час. Мы начали действовать.

— Летайте, граждане, пожалуйста! Кому хочется, конечно! Пожалуйста, теперь можно. Совершенно бесплатно, сплошное удовольствие, разрешается всем!..

Что там говорить: скоро все деревья на площади были заняты.

Особенно вошли в раж пенсионеры: они носились кругами над площадью, озорно щелкая пальцами, парили над песочницами и опять улетали к трамвайным рельсам. Трепетали штанины ветхих брюк и застиранные юбки кладбищенского цвета. Старушки визжали так, что в ушах звенело.

Нейфельд подплыл ко мне.

— Видишь, мы-то были уверены, придется вести борьбу всю жизнь — и вот на́ тебе! Ну скажи, разве не клево?

Я согласился: клево.

Из поднебесья свалился мусорщик в штанах с лампасами, уселся на ветке напротив нас. «А молодежь где? — спросил он.— Скажите, если что не так брякну, я, ей-ей, сразу заткнусь! Видали, какой я: чистая коряга, а? Раньше, когда в футбол играл, я там был вроде пугала. Верно говорю. Всегда с конца первый, гы-гы... Зато как ударишь — ворота дрожат... Конечно, если оно того...»

— Вы не возражаете, если я над вами ржать буду? — осведомился Нейфельд с равнодушным лицом, но вежливо.

У мусорщика глаза на какое-то время застряли на лбу. Потом он подобострастно снял шляпу.

— Извольте, ничего, мы не возражаем.

Тамаш надул щеки пузырями, подлетел к мусорщику — и захохотал так, как еще никто и никогда не хохотал. Этот смех — кстати, первый смех эпохи коммунизма — был до того заразительным, что устоять было просто невозможно. Старик мусорщик и сам не смог удержаться: хохот вырвался из него, как взрыв гранаты. Лицо его вытянулось, на лысом черепе проступила седая щетина, завязки оранжевого фартука на плечах дружно лопнули, и от этого неудержимый смех еще безраздельнее завладел им; он хлопал себя по разрумянившимся щекам, бил кулаками в напрягшуюся грудь... Мы тоже смеялись.

И слышали, как смех волнами расходится по деревьям.

Уже дрожали желтые дорожки, облако пыли взвилось в воздух и умчалось. Площадь Петёфи хохотала так зычно и дружно, что на другом берегу подпрыгивали трамваи, фонари раскачивались и целовались, во многих домах, звеня, лопались оконные стекла.

Я огляделся; мне казалось, все это я вижу во сне; хотя то, что происходило вокруг, наконец-то не было сном... Многие сотни внезапно помолодевших людей парили в воздухе между кронами деревьев... И папа в зимнем пальто, и бабушка с черным, вытертым до блеска ридикюлем на локте...

Я ткнул Нейфельда в бок: смотри, что ты наделал. Он пожал плечами. И был прав. Историей движут не эмоции, а материальные силы. Конечно, если бы в этот день землю не вывернуло с ее привычной орбиты, то у нас не было бы причин для веселья.

Но ее — вывернуло.

И поэтому на следующий день, в то памятное первое апреля, ярким весенним солнцем, мир стал интернациональным.

МАЙ ПОД ПАРТОЙ

Табори!
Я пришла к тебе и застала тебя дома! Ты всегда сначала открываешь окошечко? Неужели не чувствуешь, какое это мещанство?

Хюбнер

Хюбнер!
Этот шарфик тебе здорово идет. Тебе уже говорили об этом? Может, зайдешь?

Табори

Смотри-ка, у вас даже прихожая есть? Прозаседавшиеся!

Х.

Чего-чего?
Напиши яснее!

Т.

Читай Евтушенко, тогда будет ясно. Куда тут идти? Пальто я все равно не сниму.

Х.

А кто говорит, чтоб сняла?
Это картина, но смотреть тебе на нее не обязательно.

Т.

Это ты был таким в детстве? Умора! Ха-ха-ха!.. Да нет, вовсе я не упала, просто споткнулась и сама могу встать, помогать не надо. А пришла я только затем, чтобы предупредить: тебя в классе не любят!

Доброжелатель

Ладно, только будь добра, не садись на мою книжку... Кто это тебе сказал?

Т.

Неважно кто. Лучшие люди класса, элита. И еще я сегодня сама слышала на большой перемене, как Роккенштейн при свидетелях говорил Сентешу: «ЭТОТ ТАБОРИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАЗНАЛСЯ, ИНДЮК. НАДО БЫ ЕМУ РОГА ОБЛОМАТЬ!» К сожалению, я тоже с ним согласна.

Ты что, сам не видишь, сколько в тебе экзистенциализма? Другим, может, это идет, а тебе — ни капельки.

Х.

Роки придется морду набить. А Хорешни что, промолчала?

Т.

Хорешни тебя просто терпеть не может. Всем говорит, что у тебя водянка мозгов. Но, по-моему, это натурализм: она слишком увлекается биологией. На себя бы посмотрела! Это только мальчишки считают, что она красивая. Например, ты... потому что ты ее кадрить собираешься. И не отрицай!

Х.

Черт лысый ее кадрить собирается. И вообще она кýрва. И нечего девчонке губы красить! И на школьной вечеринке нечего!

Т.

А мальчишке нечего притворяться, будто ему не нравится девочка, которой он все время подсказывает. Другим вот ты не подсказываешь!
Я знаю! САМА ВИДЕЛА!

Х.

Шпионишь за мной?

Т.

А тебе нравятся женщины с кривыми ногами?

Х.

Это ты про себя?

Т.

Ты — мерзкий, бесхарактерный тип. Самодовольное ничтожество. Где мой шарф?

Х.

Ну полно! Сразу в бутылку... Я пошутил. И ВООБЩЕ ТЫ НИЧЕГО. ОСОБЕННО КОГДА СЕРДИШЬСЯ.

Т.

Ой, не целуй так сильно, а то мне дома влетит. Милый! Погоди, дай я высморкаюсь...

Х.

Открой рот пошире, а то я не могу подобраться. Так тоже приятно. Ты что, молоко сегодня пила?

Т.

Подбирайся как хочешь, я же язык не могу проглотить... Мне нравится, как ты сопишь.

Х.

Тебе кто-нибудь гладил языком нёбо?

Т.

Нет еще... У тебя один зуб с дуплом. Поставь пломбу. Хочешь, выну у тебя изо рта волос. Если да, наморщи лоб.

Х.

Чей-нибудь другой бы волос мешал, а твой нисколько... Не лезь мне в горло, я же задохнусь!

Т.

А ты через нос дыши! Вообще-то целуешься ты хорошо. Которая я у тебя по счету?.. Давай без чмоканья, а то я с ритма сбиваюсь.

Х.

Один вопрос: ТЫ ТО ЖЕ ЧУВСТВУЕШЬ, ЧТО И Я?

Т.

Абсолютно. Ты — классный парень!

Х.

Тебя поили когда-нибудь изо рта малиновым сиропом?

Т.

Сейчас же отпусти, или я ухожу домой! Меня мужчина еще *там не трогал*. И не будет!.. Тебе только *это* нужно от девушки? СЧИТАЮ ДО ТРЕХ. ЕСЛИ НЕ УБЕРЕШЬ РУКУ...
Ты что о себе воображаешь? Что ты Казанова? Дурак!

Х.

Ты тоже можешь трогать сколько хочешь. Я-то думал, мы друг друга любим...
Я тебя — ДА.
А ты?

Т.

Знаешь, кто тебя *там* будет трогать?.. Мы что, с тобой свиней вместе пасли? Не стыдно? Это же совсем новая была блузка!

Х.

Понятия не имею, как это я так... Все-таки человек — это, в сущности, животное. Ты не думай, я не из тех, кто от женской груди с ума сходит. Я только три верхние кнопки хотел застегнуть. У тебя уже шея внизу была красная и от нее пар шел. А тут сквозняк — рама трухлявая, замазку не держит. Так что я за тебя беспокоился, чтобы ты не простудилась!.. Я же не виноват, что ты такая красивая... спортивная. А *ТО* ПРОСТО СЛУЧАЙНО ЗАДЕЛ... Все, что у тебя под комбинацией, для меня свято. Понимаешь, это так непривычно, когда... настоящая любовь...
Ты теперь меня презираешь, наверно? Я боюсь, что ты обо мне будешь плохо думать. Прочти вот это:

ДУМАЯ О ТЕБЕ

Опять со мной была жестока ты.
И я сижу, хожу разочарован.
Ты у меня в мозгу!
О, милое дитя!

Но как шепнуть тебе на ушко:
Крича? Ревя самумом?
Чтобы затрясся небосвод,
Пронзенный этим шумом?

Старые, как мир, и вечно
новые слова
О том, что я бесповоротно
Люблю тебя. И обожаю!

Пал Табори

Ладно, но тогда отвернись.

Чилла

ОТВЕРНИСЬ.

Чилла

СОВСЕМ ОТВЕРНИСЬ. Так не считается!
Будь добр, стой там. Если будешь подглядывать, я оденусь.
Пока раздеваюсь, я тоже тебе кое-что сочиню.

ТОККАТА И ФУГА

Юноша стоял в дверях. Равнодушные плечи его были устремлены к девушке. Та уже снимала комбинацию.
— Сейчас я отдамся ему,— думала она.— Она сама не знала, почему она решилась на это. В жилах горячо и мощно пульсировала какая-то влажная сила. Пальцы ее машинально стягивали блузку, расстегивали молнию. Вдруг в сознании всплыла и заполнила всю ее модная песенка: «ЧТО ГРУСТИШЬ, РАССКАЖИ И НЕ БОЙСЯ МЕНЯ...» Она чуть-чуть поплакала. Это — он.
Всю жизнь она тосковала по ласке.
Ведь ласки она почти не знала. Но все равно ждала.
Так она оказалась на кушетке.

КОНЕЦ

Нет, еще нельзя! Один вопрос: ты Кафку любишь?
Не надо отвечать, я только хочу сказать: я еще пока не красива. Красивой я стану только через два года. Милый, ты будешь столько ждать?

Чилла

Теперь можно.
Правда же я уродина.

Чилла

Дура! Ты классно выглядишь... Подними выше.

Т.

И неправда, врешь ты все, я тебе вовсе и не нравлюсь. А это там прыщик. Поцелуй, чтобы не было бо-бо.

Ч.

ДА ПОДНИМИ ЖЕ ВЫШЕ!

Т.

Выше уже не могу...
И, пожалуйста, осторожней!
Не туда...
ДА НЕ ТУДА, ГОВОРЮ!
Так не делай, а то я с тобой больше не вожусь...

Х.

Кто сейчас командует: ты или я?
Будешь командовать, считай, меня тут уже нет...
Если так сдавливать, можно вообще что-нибудь сделать?
Возьми в руку...

Т.

Сам возьми!..
У вас на потолке пятно.
Скажи родителям, крыша протекает.
Сколько сейчас времени? Точно?

Х.

Думай о чем-нибудь хорошем!!!
И зачем ты только пришла?

Т.

Да уж не за этим...
Ой, не дави на живот, ты... торопыга!..
Вообще-то я не сержусь... Можно в карты, например, поиграть. Куда-то лифчик запропастился...

Х.

Слушай, Хюбнер!
И, сокрушен стократ, я брошу вслед тебе расшитый златом плащ багрового забвенья [1]. Я тебя насквозь вижу. Ты от мужчины хочешь того же, что любая другая женщина. Меня нельзя просто так в постель залучить. А ты думала: можно?
Я к тебе с самыми чистыми чувствами, а ты с меня ботинки стаскивать. Наверняка со всеми так же... Видно, практика у тебя богатая!
Если ты и дальше собираешься вести подобный образ жизни, учти, к двадцати годам станешь как старая кушетка. Я в твою сторону и не взгляну. И другие тоже. А прыщи твои пусть кто-нибудь другой целует!..

Т.

Постскриптум: один хороший поэт писал: «Ловить мышей — и кошка не нужна: достаточно кусочка сала...» [2]. Я этим хочу сказать: СКВЕРНЫЕ

[1] Строки из стихотворения Э. Ади «Нежное прощальное письмо».
[2] Из стихотворения Ференца Барани: «Ловить мышей...».

БАБЫ СКВЕРНО КОНЧАЮТ. Ну можно тебя назвать нормальной, если ты под мышки лезешь: мне же щекотно! Спроси кого хочешь, он тебе то же самое скажет! СХОДИ ЛУЧШЕ К ВРАЧУ! Извини за откровенность. Хоть я давно к тебе ничего не чувствую, все же благодарен за то в тебе, Чилла, за что мужчина может быть благодарен женщине, давшей ему что-то, кроме равнодушного, скупого поцелуя.

Пал Табори

1. Я тебе не старая кушетка! Тогда сам-то ты кто?
2. Если со мной грубят, не думай, что я уже и в отпаде.
3. Не надо было на меня так наваливаться.
4. Пожалуйста, можешь повернуться спиной! Все равно ты мне нравишься, что ни делай.
5. Ботинки я потому с тебя сняла, что каблуки царапались. Могу рассказать тебе всю свою жизнь: полтора раза я была с Галом, потом он со мной порвал. С тех пор? С тех пор — никого. И вот появился ты — такой положительный, такой умный... Я решила: мы с тобой откроем новую главу в книге любви. И вдруг я получаю пинок оттуда, откуда и не ждала. Кто это был? Ты, милый. Знай: ты жестоко оскорбил женщину. Женщину, которая просто ужас как одинока. Когда я пишу это, в горле у меня стоит горечь невыплаканных слез. Я говорю себе: «Глупая! Чего ты еще ждала? И почему у тебя сердце все еще начинает бешено колотиться, когда ты смотришь на его губы? Ведь он тебя унизил! Стыд заливает тебе щеки жарким румянцем, когда ты вспоминаешь последний блаженный момент... Неужели это он лизал тебе нёбо?.. Очнись!»

Эти слова вырвались у меня невольно. Надеюсь, тебя не смущает, что рядом с тобой лежит человек, сердце у которого ЗВЕРСКИ БОЛИТ.

Чилла

Я тоже одинок. Только до сих пор об этом не говорил. Например, был одинок всю прошлую неделю.

Т.

Из-за меня?

Ч.

Конечно. Я СМОТРЕЛ НА ТЕБЯ, а ты на меня НЕ СМОТРЕЛА. Потом этот случай в бассейне... Во мне тогда что-то будто оборвалось. Особенно когда ты захохотала. Можно положить сюда руку?

Т.

Клади, куда хочешь. По-моему, мостом между двумя людьми может стать и откровенность. Знай: я хохотала над Шипошем, а не над тобой. Мне сейчас вспомнился *Че*. Этого Джонсона я бы просто убила!.. Классно, как ты двумя пальцами делаешь. Ты в мировую революцию веришь? Я — очень. ВСЕЙ ДУШОЙ. Меня только равнодушие венгров бесит. Здесь ее никто не хочет по-настоящему, и пока КИС [1] так будет работать...
АЙ...

Ч.

Сползи капельку.
Вот так. это как раз то, что надо. Еще, да?
МАЛО ВДРУГ СОДРОГНУТЬСЯ,
НУЖНО ВСЕГДА ВОСТОРГАТЬСЯ.
МАЛО ВСЕГДА ВОСТОРГАТЬСЯ,
НУЖНО ВСЕГДА ГОРЕТЬ!
ТОЛЬКО ГОРЕТЬ — ЭТО МАЛО [2]...
Ух, все. У меня сейчас ощущение, будто я Аттила Йожеф.

Т.

Ах, где ты так здорово этому научился? Как это у тебя получается — быть таким классным мужчиной? А по виду о тебе этого не скажешь!
Помнишь? «Я была здесь и застала тебя дома». И ты мне тогда сказал, что мне идет этот шарф. Ты был такой милый! Я уже тогда чувствовала, что лягу с тобой. Все хотят быть счастливыми, я тоже. С сегодняшнего дня у меня перед глазами будет птичка порхать.
Хорошо?!

Ч.

Милая Хюбнер!
Любовь — это нить золоченой пряжи; если она порвется, ее можно будет связать, но узелок все равно останется. Что я предлагаю? Давай обойдемся без узелков! Не беспокойся, ты останешься светлым воспоминанием в душе несчастного полигама. На этом я с тобой прощаюсь: летит, летит моя галера, вдали остался мирный брег, и в колыбели пенной меня качает море; пока ревут ветра, пока клубятся тучи, ударю я по струнам лютни, и вознесут уста мои гимн благодарственный тебе, стократ священная Свобода! [3]
ЗАХЛОПНИ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ!

[1] КИС — венгерский комсомол.
[2] Из стихотворения М. Ваци «Этого еще мало!».
[3] Из стихотворения Петёфи «Письмо Яношу Араню».

ОТЦОВА ПОБЕДА

только представьте я помер радуетесь теперь поди да здравствует анархия ну значит все началось с того что отправился я в «Корвин» [1] миксер купить я давно уже говорил что нужен нам такой миксер а мне каждый раз рот затыкают а ты помолчи ты понятия не имеешь какая это удобная вещь сразу можно картошку резать и кофе варить я видел такой у Зенгё гэдээровский с красным низом ты руки мне будешь за него целовать да и Шашне сказала приходите говорит обязательно для вас найдем она меня обожает потому что я всегда ей говорю о какая вы стройная неотразимая и изысканная она прямо тает уж она для меня все сделает а сама пучеглазая такая видно базедова болезнь мне иногда прямо охота глаза ей обратно вдавить ну в общем так
в одиннадцать я говорю если меня искать будут всем говорите я в седьмой пошел мы сейчас за седьмым следим знаешь откуда я тебе шубу украл а ты ее никогда и не надеваешь и сейчас пришла не в ней а какой хороший случай сейчас бы я на тебя в ней посмотрел ну ладно черт с ним в «Корвине» лестница временно разобрана только пожарная между этажами можете представить что там творится те кто уже взобрался пинают тех кто еще только пытается влезть ну скажи что за скотина человек как поднимется сразу звереет передо мной толстозадая баба лезла и как на меня пернет я ей или сдерживайтесь или ешьте шоколад что ли что за безобразие вы ведь не дома а та назло продолжает да еще кричит мне сверху ЗАТКНИСЬ мол И НЮХАЙ ну мать твою думаю про себя погоди вот окажусь наверху но кто мог подумать я туда еле-еле протиснулся эти идиоты совсем узкую дырку прорезали для лестницы на мои габариты никак не рассчитано в общем когда я влез-таки весь мокрый пришлось сесть и достать нитроглицерин но что это для моего сердца все равно что для слоновьей жопы дробина не свисти сынок а то сейчас же пойдешь домой ты что думаешь ты где находишься я ведь к твоему сведению и для тебя все это рассказываю ты тоже когда-нибудь постареешь станешь вспоминать что отец рассказывал когда помер тогда поймешь как много полезного я тебе передал шести энциклопедий стоит ну вот значит подхожу я к прилавку щелкаю каблуками и интересуюсь где Шашне НЕТУ ЕЕ ВЫШЛА КУДА-ТО НЕ ВИДИТЕ ЧТО ЛИ ладно вы ей только скажите ее тут Табори спрашивает АГА ОНА ТУТ ЖЕ ПРИЛЕТИТ отвечает всклокоченная пигалица и пальцами этак барабанит по прилавку нет вы не думайте что я из себя вышел я ей только говорю золотко ты бы сменила тон а то ей-богу врежу по харе ей-богу лучше скажи гэдээровский миксер есть она говорит НЕТ и что и не будет тут она мерзко так ухмыляется а у самой на лбу фингал прямо как огурец и говорит ТАКИМ КАК ВЫ И НЕ БУДЕТ ну я на это требую жалобную книгу и записываю туда дескать наше рабочее государство не затем трудится в поте лица обеспечивая население чтобы наглые продавщицы издевались над трудящимися а ее я специально предупредил чтоб не вздумала вырвать листок я на следующей неделе нарочно приду проверю а уж Шашне такое от меня получит что не будет выставлять на всеобщее обозрение ну тут иду я спускаться но вы не подумайте что вниз ведет другая лестница спускаться надо по той же самой и если ты там удержишься то ты настоящий акробат в общем в конце я целый этаж пролетел и вы же знаете как это бывает уклониться же никто не может так что люди сыпались вместе со мной как горох что поделаешь внизу меня бить собрались такой кавардак поднялся все орут ЧЕГО ЛЕЗЕТ ЕСЛИ РУКИ НЕ ДЕРЖАТ ИДИОТ СКОТИНА РОЖЕЙ ЕГО ОБ СТЕНКУ я говорю прочь от меня пока я всерьез не разозлился я ведь если разойдусь плохо будет и принимаюсь крутиться чтобы место возле себя портфелем немного освободить но не знаю что было бы не окажись там случайно Ваксман он меня тоже бить хотел просто не узнал а ведь мы с ним вместе в трудовых командах [2] были его все знали потому что его отца нилашисты [3] подвесили на крюк перед синагогой на улице Дохань но тот как-то все-таки выжил а ночью жена то есть мать Ваксмана сняла его с крюка и отнесла домой так они аж до освобождения дожили только Эльзу сожгли в Бухенвальде это их дочь классная была девчонка я с ней на каток ходил вообще приударял за ней у нее ноги были блеск ребята ее так и звали ЭЛЬЗА ВАКСМАН УБИЙСТВЕННЫЕ НОГИ и каждый раз ей кто-нибудь другой коньки надевал а с этим Ваксманом нас как-то вместе наказали было это в Сенткирайсабадье подвесили нас за локти к столбу потому что мы убежали из лагеря в деревню позвонить домой что живы а в лагере значит заметили что нас нету ну мы

[1] Четырехэтажный универсальный магазин в центре Будапешта.

[2] Во время второй мировой войны венгерские власти — во многом под давлением Германии — собирали евреев и неблагонадежных в трудовые команды — нечто среднее между концлагерем и трудовой повинностью.

[3] Нилашисты — члены партии венгерских фашистов.

возвращаемся а начальник нашей роты этот мошенник Гарзо которому я кстати и выдал потом на процессе [1] в рожу ему посмеялся ну так вот он сразу нам по затрещине аж зазвенело и говорит Я БЫ ВАС СВОБОДНО МОГ ПОД РАССТРЕЛ ДА Я СЕГОДНЯ В ХОРОШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА А ПОТОМУ ВАС ТОЛЬКО ВЗДЕРНУТ ЗА ЛОКТИ НА ВОСЕМЬ ЧАСОВ УВИДИМ ЧТО ВЫ ЗА ХРАБРЕЦЫ ну когда нас подвесили мы с Ваксманом в городк принялись играть и добрались аж до эр и только потом я сознание потеря никогда наверно не забуду это РИМ РИМАСОБАТ РАБЦА РЕТЕК РИГО РОТТЕНБИЛЛЕР а там не так уж долго до конца оставалось эх говорю Ваксман осел ты малохольный и не помнишь поди Ретек Риго Роттенбиллер ОТЕЦ РОДНОЙ ТАБОРИ кричит Ваксман и мы бросаемся на шею друг другу ГУЛЯЙТЕ ГУЛЯЙТЕ ГРАЖДАНЕ говорит Ваксман Я БРАТА РОДНОГО НАШЕЛ тогда все вокруг ужасно обрадовались потому что такое даже те любят кому до этого никакого дела вот так мне и удалось сухим выйти из воды правда к этому времени у меня уже один бок онемел и боль прямо разрывала так что Ваксман нашел такси кстати шлет тебе привет на будущей неделе заскочат с женой он меня и в машину усадил а на полпути я задыхаться начал шофер думал я перепил и тут же остановил машину я ему говорю не бойся блевать в машине не буду сердце у меня больное хочешь могу дыхнуть но это не понадобилось
добрел я до конторы и спрашиваю машинистку искали меня или нет но даже договорить не успел а как есть рухнул к ней на машинку вскрикнул и помер шмайс роэль ну думаю только этого не хватало потому что в первый момент как-то еще не очень ясно понимал что к чему и немного испугался как я из этого дела выпутаюсь да и машинистка заверещала ОЙЧТОВЫДЕЛАЕТЕ ОЙЧТОВЫДЕЛАЕТЕ ТОВАРИЩ ТАБОРИ ПОЖАЛУЙСТА ВСТАНЬТЕ тут входят Палудяи и Вайсне и тоже ПИШТА ЧТО С ТОБОЙ ПИШТА ВСТАВАЙ СЕЙЧАС ЖЕ ТЫ СМОЖЕШЬ НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА ПИШТА а я говорю братцы из айвэ сообщают что хрен смогу нет братцы мне уже не встать вот разве что когда Борбиро с обеда вернется тогда а до тех пор и не думайте и вообще вам легко говорить а ответственность-то на мне это постороннему наплевать а у меня крыша еще не поехала нет пускай он придет все увидит и тогда мы на равных поговорим ТЫ СМОТРИ КАКОЙ УМНЫЙ говорят ДАВНО ПОРА СЕЙЧАС ОН ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ УЗНАЕТ ЧТО К ЧЕМУ с тем они и удалились а я сдернул телефонную трубку и позвонил нашему юристу придурку Баняи заходи потреплемся тот сразу пришел но сначала дважды постучал в дверь
почему придурок-то ну например потому что очень даже прекрасно знал в чем дело а все равно попытался лорда изобразить ТЫ СТАЛО БЫТЬ РЕШИЛСЯ ПИШТА говорит Баняи ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВИДИШЬ ЛИ СТАРИНА НА ЭТО МАЛО БЫ КТО ОСМЕЛИЛСЯ КОНЕЧНО ПРИЦЕПЯТСЯ К ЧЕМУНИБУДЬ ИЛИ НЕ ПРИЦЕПЯТСЯ ЭТО ЗАРАНЕЕ НИКОГДА НЕ ИЗВЕСТНО НО Я ТАК СЧИТАЮ ВСЕ БУДЕТ О'КЕЙ ну и от чего это зависит спрашиваю я и тут выясняется что возможны два варианта
или найдут злой умысел или не найдут такового
с одной стороны если нет тогда мое дело в шляпе и пускай тогда Борбиро или профсоюз икру мечет мне на них глубоко плевать а с другой стороны ну тут давай рассмотрим по порядку
произошло это в рабочее время
средь бела дня
никаким национальным праздником и не пахнет
свидетели Палудяи и Вайсне
да еще и машинистка это вообще уже трое
конечно особых иллюзий питать не стоит ведь я не член партии но вы только не пугайтесь потому что Баняи сказал они бы все равно могли прицепиться но сейчас цепляться не станут ПОТОМУ ЧТО ОНИ И БЕЗ ТОГО В ДЕРЬМЕ ПО УШИ ВЕДЬ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕИЗВЕСТНО ЧТО БУДЕТ в общем выкарабкаемся смех да и только так что я уже стал догадываться что всё лады но на всякий случай вызвал и неотложку чтоб с этой стороны тоже подстраховаться и как же я был прав но об этом после потому что тем временем вернулся Борбиро и тут же звонит дескать СЛЫШАЛ СЛЫШАЛ ПИШТА ЧТО ТЫ УЧУДИЛ НЕ СОЧТИ ЗА ТРУД ЗАСКОЧИ КО МНЕ НА МИНУТКУ КОНЕЧНО ЕСЛИ ЭТО ТЕБЯ НЕ ОЧЕНЬ ОБРЕМЕНИТ Дежё говорю я ему что за церемонии ты позвал я иду и в самом деле прихожу он меня усаживает как князя сигареткой угощает и ЗНАЕМ-ЗНАЕМ ПРО ЭТО ТВОЕ НЕСЧАСТЬЕ говорит ДА-ДА ВСЕМ НАМ КОГДА-НИБУДЬ ПРЕДСТОИТ УМЕРЕТЬ я конечно не отвечаю тогда он этак сладенько ВИДИШЬ ЛИ НЕ

[1] Очевидно, имеется в виду один из тех послевоенных процессов, на которых выяснялась причастность человека к преступлениям прежнего прогитлеровского режима.

ХОЧУ К ТЕБЕ ПРИСТАВАТЬ ЭТО В КОНЦЕ КОНЦОВ ТВОЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО НО СКАЖИ ВСЕ-ТАКИ ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ТЕБЕ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОМОЧЬ ТЫ ЖЕ ПОНИМАЕШЬ И ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЛЮБОМ ВОПРОСЕ НУ В ОБЩЕМ Дежё говорю ничего мне не нужно видишь ведь я покончил как говорится счеты я теперь только в покое нуждаюсь только покой больше ничего так что большое спасибо тут он начинает орать КАК ТЫ ЭТО СОБСТВЕННО ГОВОРЯ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ТЫ ЧТО ДУМАЕШЬ МОЖНО ТАК ВОТ ВЗЯТЬ И ВЫЙТИ КАК ИЗ ТРАМВАЯ ДЕСКАТЬ МОЯ ХАТА С КРАЮ А ТАМ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ ПУСКАЙ ВСЕ ИДЕТ К ЧЕРТЯМ А ЧТО Я С ТВОЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЖУ ДОБРОВИЧУ слушай Дежё говорю я с тонкой улыбкой словно урожденный маркграф ты что не знаешь что сказать Добровичу держите меня я сейчас от хохота упаду а во-вторых прими к сведению не потому все идет к чертям что у меня случился сердечный приступ чего кстати и тебе желаю а потому да ты сам знаешь почему и вообще это уже слишком ты Ирен убиваешь из служебного пистолета ладно в порядке потом полицейские-добровольцы выкрадывают твою дочь из церкви ладно это твоя проблема я как говорится глух и нем но чтоб у тебя еще и на такое совести хватило ты что думаешь я кто кукла что ли ладно повторю еще раз *про то самое* я никому не скажу правда если бы захотел все равно бы не мог да я и не хочу я ведь это не ты так что будь спокоен и с тем я удаляюсь пускай его корчит что мне удалось а ему никогда не удастся и этакой небрежной походочкой шествую в свою комнату а там уже ждут врачи с неотложкой так что я просто был царь и король
любезный такой молоденький врач приехал ну поздоровались эх говорю молодой человек меня теперь обследуйте не обследуйте все напрасно раз у меня сердце не бьется но он только головой трясет НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ ПАПАША говорит РАЗДЕНЬТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ДО ПОЯСА подите вы говорю кто тут отчаивается только не я а вообще ради бога обследуйте вдруг это я ошибаюсь все бывает вытаскивает он стетоскоп слушает
веко оттягивает в рот мне дышит
ну что правда ведь копыта откинул спрашиваю в конце
а он представьте никак не хочет признать все хмыкает и хмыкает но наконец все же выдавил с трудом ДА ПРИДЕТСЯ ЗАПИСАТЬ ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД и тут у меня словно лампочка в мозгу загорелась поднимаюсь я и говорю если дело так обстоит то могу я получить об этом официальную бумагу
ЭТО МОЯ ОБЯЗАННОСТЬ говорит он ПАЦИЕНТУ ДАЖЕ НАПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ НЕ НУЖНО ТОЛЬКО НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАКРОЙТЕ ЕГО ГАЗЕТОЙ и в самом деле тут же сел написал справку шлепнул печать в общем все идет как по маслу да-а эти молодые врачи совсем другое дело да и сноровки у них куда больше словом как только бумага оказалась у меня в руке улегся я удобно на пол навалил на себя кучу газет порядок думаю после меня хоть потоп а я теперь отдыхать буду верно ведь
остальное меня не касается
как-нибудь все уладят и без моего участия
но не тут-то было время идет все домой ушли а я лежу нюхаю линолеум
ну что говорю я себе
не идет никто и все тут
ведь меня хоронить надо и мало ли что еще и тут я вскакиваю и поливаю всех святых на чем свет стоит ну не остолоп ли я совсем вылетело из головы что вы в дом отдыха уехали мог бы пролежать тут до полуночи нет само собой ничего видно не сделается засучил я рукава сложил быстро газеты чтобы уборщица утром хай не подняла она не любит когда я свои худры-мудры разбрасываю по всей комнате а вообще ничего старушенция мы с ней ладим я ее часто встречаю потому что всегда прихожу первый ну что говорю ей старое помело не лежится в постели что ли или любовник вытолкал из кровати спозаранку-то ПОШЕЛ ТЫ говорит А ТО ВОТ ВЕНИК В ЗАДНИЦУ ТЕБЕ ЗАТОЛКАЮ в общем мы с ней всегда шутим у бедняжки три сына и ни одного из них она уже лет десять как не видала паршивой открытки не напишут она одна меня пожалеет это как пить дать
ну ладно лечу я домой чтобы успеть основные дела сделать хотел первым делом раздеться и помыться под душем так что вы думаете черта с два помылся сначала оказалось лифт не работает нашли самый подходящий момент я конечно поругался со Штефанихой послал ее куда следует в теплое место потому что она стерва так это важно мне заявляет дескать НЕ ВИДИТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ слушай сюда говорю я у тебя другого дела нет кроме как над жильцами измываться сидишь тут с толстой жопой только на рождество квартиры обходишь чаевые собираешь
нет это все-таки невозможно вынести

хоть умри лифт есть а пользоваться нельзя
ее счастье еще что не сказала стерва что воду перекрыли а то бы я ей на месте башку расколотил у меня и так на нее большой зуб она меня с платой за отопление нагрела старая ведьма курва вонючая пришлось взбираться к себе пешком но зато как вошел в квартиру тут же разделся догола и на телефон надо же с похоронами что-то делать а с чего начать понятия не имею потом сообразил что надо пожалуй позвонить в церковную общину звоню разговариваю с каким-то слюнявым типом он мне с места в карьер дескать ЧТО Ж СЫН МОЙ И ТЫ ВОТ О НАС ЛИШЬ В ТАКОЙ МОМЕНТ ВСПОМИНАЕШЬ КОГДА ПРИСПИЧИЛО а я ему а что собственно я что не плачу что ли церковные взносы вы для чего существуете не для того разве чтобы если что поддержать человека и вообще говорю что вы за церковная община опять арабов поддержали а верующие совсем растерялись не знают что и делать тут он дает мне телефон я звоню и делаю заявку на похороны слава богу не придется ждать в эту жару несколько дней еще попросил кремацию а они говорят ОЧЕНЬ ЖАЛЬ НО ЭТО СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО ПЕЧЬ КАК РАЗ СЛОМАЛАСЬ РЕМОНТИРУЮТ так что если я настаиваю на кремации придется ждать не меньше недели вот такое мое везение если мне что-нибудь надо обязательно сломается но потом я подумал и решил ладно так и быть похороните меня рядом с матушкой ее в земле похоронили выдержу и я как-нибудь потом спрашиваю во сколько это обойдется отвечают как на кладбище договоритесь только чтоб я был одет в парадный костюм и обязательно в головном уборе иначе не примут нет вы скажите говорю как быть если у меня вся семья в доме отдыха а они уже трубку брякнули нет что себе позволяют сволочи после этого я хотел вам звонить да вовремя спохватился не хватает еще чтобы у твоей мамы сердечный приступ случился я-то себя чувствую словно у бога за пазухой пошел я на кухню и съел свой витаминный салат для похудания до сих пор все о нем забывал жрал одну колбасу за что теперь наверняка мне крепко влетит от герцогини Эмеренции Эстерхази то есть от супруги моей но салат ничего неплохо сохранился только желток совсем размок в уксусе я значит салат честь по чести усидел потом устроился смотреть «Человек и закон» жаль вы пропустили
один невероятно симпатичный убийца укокошил свою квартирную хозяйку потому что у него не было денег алименты платить восемнадцать ножевых ранений а после этого добил ее торшером и представьте нашел у нее всего-навсего двадцать девять форинтов во везунчик что скажете потом собрался выпрыгнуть из окна да побоялся лучше пусть осудят и приговорят к смерти и представляете Геза Хайду спрашивает у него ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЧЕЛОВЕК В СУЩНОСТИ ГНУСНАЯ ТВАРЬ а тот отвечает ОТЧЕГО ЖЕ КАЖЕТСЯ НО ОЧЕНЬ УЖ ДЕНЬГИ БЫЛИ НУЖНЫ ну и жену он терпеть не мог кстати я его понимаю показали его жену спереди пяти зубов не хватает а что сзади не знаю но если бы мне надо было выбирать я бы тоже выбрал веревку а Геза Хайду закончил так мол УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ МЫ ЭТИХ ПОДОНКОВ ВОЗЬМЕМ В ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ НО И ВЫ НЕ ПУСКАЙТЕ В СВОЙ ДОМ КОГО ПОПАЛО здорово сказал откуда интересно мне знать что на уме у моего квартиранта дурак этот Геза Хайду факт но как классно причесан волосы блестят как Соломонова задница да если бы у меня такие волосы были точно даже Лоллобриджида уписалась бы от восторга ну что поделаешь какие есть такие есть с такими приходится жить то есть извините не жить потом я лег так прошли день или два очень здорово я себя чувствовал один в квартире
лопал салат смотрел в ящике классные передачи открывать даже почтальону не открывал чистые каникулы иногда только в голову приходило то-то вы раскроете глаза когда приедете и увидите что я помер и все сумел так здорово устроить в одиночку
но все же позвонил в телефонный будильник чтобы утром меня разбудили пораньше потому что в таком состоянии черт его знает смогу ли проснуться вовремя утром телефон так зазвонил что я чуть из кровати не выпал да еще никак не хотели поверить я шесть раз сказал что это я хватит мол а они все трезвонят и трезвонят думают что я снова заснул а у меня просто голос сел в общем под конец не выдержал я и говорю милая барышня если уж мы так подружились пора встретиться лично вы не думаете а бабенка в телефоне объясняет что им это запрещено НО ЕСЛИ ВЫ НАСТАИВАЕТЕ ТО КОГДА ну если вы меня вправду хотите видеть говорю то приходите сегодня в полдень на улицу Козма 6 [1] единственный и неповторимый случай она тут же бросила трубку а я полчаса не меньше хохотал она ведь наверняка думает что я пошутил а я сказал чистую правду умора потом пришлось перевернуть всю квартиру вы заметьте во всем доме ни одной паршивой шапки только твоя но она

[1] Адрес еврейского кладбища в Будапеште.

на меня не налезает так что взял я материн платок в красный горошек и на него натянул шляпу потом закрыл квартиру и потащился в Ракошкерестур
что на остановке творится вы не поверите
только во второй трамвай удалось кое-как втиснуться я уж и кричал люди вы же не дикари вы же разумные существа да кто меня станет слушать каждый локтями место себе добывает всю дорогу пришлось стоять у христианского кладбища многие слезли остались только мы евреи
да-а не много нас
сволочь Гитлер
тут я уже мог бы и сидячее место найти но к тому времени разговорился с одной приятной бабешкой она оказывается каждый день ездит к своему мужу мания у нее такая его Альфред Ринг звали помер от инфаркта в пятьдесят первом кажется я его знал вместе в коммерческое ходили а с тех пор я его не видел говорю ей навещайте заодно и меня иногда так хочется чтобы кто-нибудь к тебе приходил она в самом деле пообещала но ты Эдит не думай это ничего не значит к тому же у нее усы и вообще полные бабы не в моем вкусе наверное диабетичка но время прошло в общем неплохо а когда я сошел меня уже ждали моя чокнутая сестричка Ольга и пара сослуживцев все в гойских шляпах я чуть не заржал Ольга от меня не отставала привязалась как банный лист да еще всех своих подруг приволокла и откуда узнала понятия не имею и спрашивает который раввин будет говорить Гордон или Ладош представьте дура дурой а священнослужителей по именам знает и тут я вижу на доске вывешено что церемония через полчаса в зале для панихид
а у меня еще ничего не оформлено
как идиот бегу рысью весь взмыленный в канцелярию предъявить бумагу которую неотложка выдала а там на меня большие глаза ГДЕ говорят СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ меня аж пот холодный прошиб нет это же надо в последний момент поскользнуться на банановой кожуре но мужик в канцелярии оказался человеком договорились что в виде исключения свидетельство принесут потом
Эдит не забудь ради Бога а то эти ведь вполне могут обратно выкопать
конечно кое-что я ему дал на лапу так что он какое-то время будет помалкивать в тряпочку но это было еще не все Ольга говорит если я хочу чтобы все было в порядке то раввину и могильщикам тоже надо дать хорошо еще что я с собой захватил какие-то деньги про раввина я и подумать такое не мог но нет ничего гладко пошло вроде как шкалик после соленого огурца а могильщики пообещали что ЗАРОЮТ ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ КАК ВРАЧ ПРОПИСАЛ понятия не имею что это значит но наверно важно наверно можно и как-то *не так закопать* я специально их попросил чтобы со мной этого не делали и чтобы матушку не беспокоили потом побежал к обмывальщицам их тоже подмазал ну они-то заслужили они все время с трупами работают я им не велел мне губы красить а они собирались по высшему классу достаточно говорю обмыть но чтобы руками куда не следует ни-ни ну с этими я поладил жаль в другой раз к ним уж не придешь потом упаковали меня как полагается повезли положили на катафалк народу собралось порядочно я даже удивился коллеги постарались все-таки они неплохие ребята потом подходили по очереди прощаться а Габош даже заплакал я ему говорю все мы у Него в руке так что Лали будь оптимистом потом раввин говорил
честное слово очень все было трогательно жаль что вы не слышали вы бы меня сразу зауважали знаете как он сказал ВОТ ЛЕЖИТ ПЕРЕД НАМИ ИШТВАН ТАБОРИ ЖИЛ ОН В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ НО ВЫДЕРЖАЛ ИСПЫТАНИЕ С ЧЕСТЬЮ ОН ВСЕГДА ЗНАЛ СВОЕ МЕСТО ВСЕ ЕГО СУЩЕСТВО БЫЛО ИСПОЛНЕНО ЛЮБОВЬЮ К ДРУГИМ особенно подчеркнул какой я был примерный сын и образцовый отец семейства во всяком случае мне показалось что подчеркнул СМИРЕННО ТЕРПЕЛ КОГДА ЕГО ПОНОСИЛИ ТЕРПЕЛ КОГДА УНИЖАЛИ НО БЫЛ СЧАСТЛИВ ТОЛЬКО В КРУГУ СЕМЬИ я специально просил чтобы он что-нибудь такое сказал потому что я и сам всегда это вам говорил правда в шутку но это чистая правда потом кантор пел правда только два псалма но больше я не мог оплатить ух как здорово эти забирать умеют посмотри на оперных певцов из них половина кантора ми были только не сознаются но этот какой-то особенно был талантливый жаль что до денег такой жадный ну ладно и так получилось хорошо я думал разревусь ох не часто не часто случается пережить такое
представляете все кто был хлюпали носами потом медленно двинулись к выходу погода была чудесная гроб опустили совсем незаметно не качнули не дернули я дивился и думал о тебе сынок что тебя сейчас нет со мной и не могу тебе сказать свое отеческое слово наставить тебя на путь истинный хочу теперь это исправить хочу сказать будь осторожен и предусмотрителен сынок

и будь бдителен не позволяй собой помыкать
и не слушай других если им все равно

то тебе пускай не будет все равно ибо
смеется тот кто смеется последним и знай
что главное все еще впереди и если ты
растратишь свои силы сейчас то что
будет позже ведь ты вступаешь на долгий
тернистый путь который вымощен бедами
но умей находить во всем что-то приятное
и забавное смейся паяц и чихай на все
с высокой колокольни а о других сынок
не заботься они сами о себе позаботятся
однако вежливо здоровайся со всеми
кто знает как повернется жизнь и не
соси ты грудь с такой жадностью ешь
спокойно никто у тебя твое не отберет и
не дергай ты вечно свои волосы не трогай
ты их ради господа бога чего тебе
нервничать посмотри на меня разве я
нервничаю а уж мне-то есть от чего
о-хо-хо и чего я только не насмотрелся
а теперь вот я здесь и все же видишь
не рву на себе волосы в общем дорогой сыночек
одна к тебе просьба не позволяй чтобы
на тебя ложили и посылай куда следует тех
кто тебя обижает только ради бога не торопись
время у тебя есть молоко у мамочки есть
за трамваем и женщиной никогда не бегай
потому что обязательно придет еще и знай
мир существует для пронырливых или как сказал поэт
твори дерзай и строй и расцветет отчизна[1]
но не по-дурацки а по-умному

ты что это творишь вот я тебя по губам ишь пузыри пускает сынок ты ведь на кладбище сюда не слюни пускать приходят ты как-никак на могилке отца идиот несчастный Эдит ты что совсем что ли прикрикни же на него нет я больше не могу ну конечно если еще им и восторгаться что поделаешь у слабохарактерного мужа и ненормальной жены только выродок и может родиться о барс Нубии кого ты породил чего вы ревете-то прекратите сейчас сторож придет здесь нельзя шуметь из-за вас он на меня обозлится вы уйдете а я ведь останусь не понимаете что ли мне с ним нужно ладить нет с дураками лучше дела не иметь ну ладно ладно не уходите подождите этот еще не самый злой
как меня закопали матушка тут же стучит через стенку я захожу она так приветливо АЙ ПИШТИКА ПИШТИКА КАК СЛАВНО ЧТО ТЫ ПРИШЕЛ Я УЖ НА ЧАСЫ СМОТРЕЛА СООБЩИЛИ ЧТО ТЫ ПРИДЕШЬ А ТЫ ВСЕ НИКАК НЕ ИДЕШЬ Я ВЕДЬ ЧУТЬ НЕ МЕСЯЦ НАЗАД БУМАГУ ПОЛУЧИЛА и правда показала извещение оно у нее на тумбочке стоит возле кружки с водой
официальная бумага решение о моей судьбе
в общем все было организовано лучше некуда так что сами видите какие тут дела мы с тех пор с матушкой все время вместе я ей помогаю посуду мыть вытирать а она мне поет иногда ЛЕОПОЛЬДИК ЛЕОПОЛЬДИК ЛИПОЧКА СЫНОЧЕК а я басом эй не такого матушка я хотел коня и прямо умираем оба со смеху ну привет всего

■

[1] Из стихотворения Ф. Кёльчеи «Хуст».

ТОМАЖ ШАЛАМУН

Глаголы Солнца

Перевод со словенского Н. ЭРВИЧ

Словенец по происхождению, Томаж Шаламун родился в 1941 году в Загребе, вырос на Адриатике, школьные годы провел в небольшом итальянском городке Копер, вошедшем в 50-е годы в состав одной из республик СФРЮ — Словении. Уже в столице Словении — Любляне Шаламун изучал историю искусств. Потом стажировался в Италии, продолжал свои занятия во Франции и Польше.

Вернувшись из странствий, он работал в нескольких художественных галереях в Любляне, тогда же напечатал свои первые стихи.

Томаж Шаламун принадлежит к так называемому «критическому» поколению словенских поэтов, которое заявило о себе в начале 60-х годов. Ровесник И. Бродского и А. Загаевского, самый «радикальный», по мнению словенских критиков, представитель отечественного неомодернизма, он рос в те послевоенные годы, когда инакомыслие все шире распространялось в среде югославской интеллигенции, когда интуитивный протест ее творческой части против идеологических догм начинал находить свое выражение в художественных новациях.

Первая же подборка Шаламуна в люблянском журнале «Перспективы» в 1963 году вызвала недоумение даже у наиболее последовательных поборников авангарда, не говоря уж о его критически настроенных противниках. Молодой искусствовед отвергал существовавшую в родной литературе поэтическую традицию, а в нескольких стихотворениях саркастически пародировал одного из ее метров — О. Жупанчича (1878—1949).

Выпущенный в самиздате первый сборник Томажа Шаламуна «Покер» (1966) окончательно утвердил его репутацию ниспровергателя литературных устоев. Игра слов, открытая провокационность и нарочитая абсурдность стиха — все это шокировало, но не оставляло равнодушным. «Покер» был и остался программной книгой словенского поэтического авангарда, открывшей новый этап в современной словенской поэзии. В дальнейшем сатирическая гротесковость лирики Шаламуна смягчается, она становится менее эпатирующей, сохраняя свободную метафоричность и обретая своеобразную ритмику и особую музыкальность.

Творчество Шаламуна привлекло внимание его зарубежных друзей, а потом и более широкого круга публики. В 1971 году он получил двухгодичную стипендию международной программы по литературе американского университета штата Айова. Впоследствии он не раз бывал в Америке, где подолгу жил, работал, написал многие произведения. Он один из лучших переводчиков американской поэзии. Сегодня Т. Шаламун — автор более двадцати поэтических книг, лауреат словенских и международных премий. Самый, пожалуй, известный за рубежом словенский поэт. Он переведен на английский, немецкий, французский, итальянский, польский, шведский и другие языки. На русском языке отдельные стихотворения печатались в сборниках «Молодые поэты Югославии» (1974), «Поэзия современной Югославии» (1981), «Поэты Словении. XX век» (1989).

Отдав дань лирике отчуждения (сб. «В пути за Марушкой», 1971), пройдя через увлечение древней историей (сб. «Белая Итака», 1972), вобрав в себя интеллектуальный опыт Америки (сб. «Америка», 1972, и «Имре», 1975), впитав очарование Мексики, в которой он побывал в 1986—1987 годах (сб. «Голос», 1983), и Парижа (сб. «Мера часа», 1987), Томаж Шаламун пришел к большей исповедальности, сохранив при этом элемент некоего шаманства (сб. «Отрок и олень», 1990).

Предлагаемая подборка включает стихи разных лет, собранные в книге «Глаголы Солнца» (1993), и позволит читателям «Иностранной литературы» ближе познакомиться с тем, что современная словенская критика называет «феноменом Шаламуна».

НАДЕЖДА АРУТЮНЯН

О моей судьбе

Нет у меня судьбы, лишь один небольшой
нарыв. Из него сочится строка. Потому что нарыв
болит. Если б кто-нибудь вскрыл его,
я бы раньше вышел на свет. А судьбу отшвырнул бы
прочь, как сорочку бы сбросил
с плеч.
Пусть закружится, полетит.
Это все началось, когда
я родился с первым стихом.
Вот что мне с тех пор удалось:
«Покер», «Цель плаща» и «В пути
за Марушкой», «Белая Итака» и «Америка»,
да, «Турбины» и «Арена», «Имре» и «Сокол»,
и еще «История света
апельсинно-желтого цвета», «Праздник» и «Друиды»,
и «Звезды», «Метод ангела».
Все как будто.
Больше я не писал ни строчки.
Потому что я обессилел.
Этот стих никуда не годен.
Я пишу его в объясненье.
Невиновен я, незапятнан.
«Не входить» — на моих воротах.
Я вовек человеком не был,
Был я ангелом, и не боле.
Когда ангел себя обрящет,
он рассеивается в пространствах.

Вновь затихших улиц темный мир

Вновь затихших улиц темный мир
вновь пчела и мед, и зелень поля
ветлы рек, кремень на дне долин
спящий зверь, холмы в открытом взоре

вновь ребячья радость, крови бег
бронза звонких звонниц, чары слова
друга зов, чумой закрытый склеп
на ладони лань и алый снег

снова утро, мой поспешный шаг
пыль в лицо летит
так манит к югу
мальчик из Толедо ждет попутку

даль ясна, темна небес печать
робкие цветы и чей-то вскрик
час любви, пора высоких статуй
чистый час косуль и сонных лип

© Tomaž Šulamun

Контур и вечность

Узы смерти. Рак и рыба.
Губы белы. Круг земной.
Колотушки. Колья. Спицы.
Бег на месте. Общий стон.

Зерна — в реку, сгинь, мякина.
Смыло ясли. Смыло ясли.
Заливает борт тугой.
И почти погасли краски,

те, что нежат и смежают,
звенья сводят и сближают.
Наше прошлое — на слом,

в пыль, в чуланы. Дома — жито. Дело —
ласка. Дар. И свет.
Мед. Ни капли больше нет.

Древо жизни

Я родился в пшенице, захлопал в ладоши.
Белый мел пробегал по доске торопливо.
И роса уложила меня, укачала.
И дала поиграть мне пригоршней жемчужин.

Я прикладывал к уху зеленое поле.
Слушал звезд перезвон.
Под мостом нацарапал: «Не умею читать».
Грязь сливали заводы.

Заменяли солдатиков спелые вишни.
Рукавицы я выбросил в старый терновник.
Золотой хлебный нож пригодился для рыбы.
Вечно лампочки гасли на люстре в столовой.

Помню, мама играла.
К отцу на закорки я влезал.
Видел белое облако пыли.
Да из окон касался ветвей тополиных.

Как пылают холмы

Как пылают
холмы. Со лба
отирает

охотник
пот. Каждый пестик —
причал пчелы,

но недолго
пчела
гостит.

Чуть присядет —
взлетит опять.
Мне навстречу

поток машин.
Скоро солнце
зайдет —

пора
торопиться
нам

по домам,
ждет нас ужин
и крепкий сон.

Молитва

Брат!
Вкусил ты хотя бы раз
несравненную сладость
звезд,
взрывы красок, когда закат
у черты горизонта
распят?
Не чуждайся
земных
красот.
Всякий миг
над тобой
дрожу.
Прославляю имя
твое.
Ты — последний союзник мой
в долгой битве
за эту жизнь.
Помолись и ты за меня,
чтоб меня
не свели с ума,
чтоб не гнали меня
сквозь строй.
Чтоб во сне я сквозь время
шел и молчаньем
тебя хранил.

Знайте

Знайте, друзья: конец
света еще не скоро.
Пока сплетаются руки,
есть наверху ходатай,
есть в небесах опора.
Покуда цвета так ярки,
наша любовь — навеки.
Есть свет без конца и края,
нет мрачных пещер подземных.

Весь мир лишь для нас —
и только.
Люби нас, бери,
храни нас.
Жизнь — вечный шум в вершинах.
Мать-береза и дочь-малютка...
Все же жутко.

Если я

Если я, Томаж Шаламун, с голодухи подохну,
значит, мы у черты, значит, плохи дела.

В листьях ивы играет луч,
и скот по домам бредет,
мальчик с кружкою молока

спотыкается, тает снег,
как величествен каравай
и картинно гости пьяны.

Пронеси же робость, школяр,
словно хвою зимой сосна.

Да пригубим ночных равнин —
оторвемся и воспарим.

■

Хочу все знать, или Американская энциклопедия на все случаи жизни

Составление и перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

Шутливо-серьезная энциклопедия представляет читателю американский афоризм за 300 лет — от «мудрых мыслей» основателя Пенсильвании Уильяма Пенна, жившего в XVII веке, до наших современников: Джона Апдайка, Генри Киссинджера, Вуди Аллена. О богатстве и воспитании, об Америке и литературе, о патриотизме и женщинах рассуждают актеры-комики и философы, кинозвезды и газетчики, президенты и писатели, отцы-основатели Соединенных Штатов и психоаналитики XX века.

А

АДАМ

Адам был человеком — и этим все сказано. Он сорвал запретный плод не потому, что это был плод, а потому, что он был запретным.

Марк Твен (1835—1910)

АМЕРИКА

Американская жизнь — мощный растворитель. Она способна нейтрализовать любой, даже совершенно чуждый ей интеллектуальный элемент, растворить в свойственном ей добродушии, самодовольстве, бездумности и оптимизме.

Джордж Сантаяна (1863—1952)

АТОМНЫЙ ВЕК

Ужас атомного века не в оружии невиданной разрушительной силы, а в том, как быстро человек к этому оружию привыкает.

Элвин Брукс Уайт (1899—1985)

Б

БЕДНОСТЬ

Свойственный почти всем образованным людям страх бедности — это самое тяжелое нравственное заболевание, которым страдает человечество.

Уильям Джемс (1842—1910)

БЕЗДАРНОСТЬ

У всякого гения есть свои границы; бездарность же поистине безгранична.

Альберт Грин Хаббард (1856—1916)

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ

Нравственность тех, кто живет лучше нас.

Генри Луис Менкен (1880—1956)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Нет ничего более утомительного, чем чувство постоянной благодарности.

Эдгар Уотсон Хоу (1853—1937)

БОГ

В XIX веке проблема состояла в том, что умер Бог; в XX — что умер человек.

Эрих Фромм (1900—1980)

БОГАТСТВО

Богаче всех тот, чьи радости требуют меньше денег.

Генри Дэвид Торо (1817—1862)

БОГОХУЛЬСТВО

Только неверующих шокирует богохульство. Богохульство — признак веры.

Томас Стернз Элиот (1888—1965)

БУНТ

В основе своей бунт — это язык неуслышанного.

Мартин Лютер Кинг (1929—1968)

БЮРОКРАТИЯ

Единственное, что спасает нас от бюрократии,— это ее неэффективность; бюрократия — самая большая угроза свободе.

Юджин Маккарти (род. в 1916)

В

ВЕРЛИБР

Поэтический прием, благодаря которому стихи легче писать и трудней читать.

Генри Луис Менкен (1880—1956)

ВЛАСТЬ

Власть и популярность — своего рода опухоль, которая, разрастаясь, убивает чувства своей жертвы.

Генри Брукс Адамс (1833—1918)

ВОР

Вор живет в уверенности, что крадут все.

Эдгар Уотсон Хоу (1853—1937)

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Выбрасывайте все восклицательные знаки. Ставить восклицательный знак — все равно что смеяться над собственной шуткой.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896—1940)

ВОСПИТАНИЕ

Хорошее воспитание — это умение скрывать, как много мы думаем о себе и как мало о других.

Марк Твен (1835—1910)

ВЫБОРЫ

Победа на выборах обеспечивается в основном тем, что большинство людей голосуют не «за», а «против».

Франклин Пирс Адамс (1881—1960)

Г

ГАЗЕТЧИК

Объективному газетчику никогда не быть другом президенту.

Уолтер Липман (1889—1974)

ГЕНИЙ

Человек властвует над своим талантом, но подвластен своему гению.

Джеймс Расселл Лоуэлл (1819—1891)

ГОЛЛИВУД

Голливуд — это то место, где за поцелуй платят тысячу долларов, а за душу пятьдесят центов.

Мэрилин Монро (1926—1962)

ГОСТЕПРИИМСТВО

Рыба и гость начинают пахнуть через три дня.

Бенджамин Франклин (1706—179

ГРЕХ

То, что у других грех, у нас с вами — эксперимент.

Ральф Уолдо Эмерсон (1803—1882)

ГРУБОСТЬ

Грубость — это потуги слабого продемонстрировать силу.

Эрик Хоффер (1902—198

Д

ДЕМОКРАТИЯ

В той же мере, в какой я не хочу быть рабом, я не желаю быть и хозяином. Именно так я и понимаю демократию.

Авраам Линкольн (1809—18

ДЕНЬГИ

Деньги — это то же, что секс: если их нет, ни о чем другом не думаешь, если есть — думаешь обо всем, только не о них.

Джеймс Болдуин (1924—198

ДИПЛОМАТ

Дипломат — это тот, кто помнит день рождения женщины, но запамятовал, сколько ей лет.

Роберт Фрост (1874—196

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Будь добродетельным — и ты будешь счастлив. Счастлив и одинок.

Эдгар Уилсон Най (1850—

ДОВЕРИЕ

Верный способ заручиться общественным доверием — прибегать к [illegible] как можно реже.

Джорж Вашингтон (1732-

ДРУЖБА

Есть только три верных друга: старая жена, старая собака и [illegible] в кошельке.

Бенджамин Франклин (1706-

ДУРАК

Есть два типа дураков; одни говорят: «Это старое, а значит, хорошее», другие: «Это новое, а потому лучшее».

Уильям Индж (19

Е

ЕВРЕИ

Все люди — евреи, только не все об этом знают.

Бернард Маламуд (19

Ж

ЖЕНА

Когда жена верит мужу на слово, она начинает вызывать подозрения.

Генри Луис Менкен (188

ЖЕНЩИНА

Юным ловеласам следовало бы оказывать предпочтение не молодым женщинам, а молодящимся. Они ведь так благодарны.

Бенджамин Франклин (1706-

Женщине легче спасти свою добродетель от мужчин, чем свою репутацию от женщин.

Альберт Грин Хаббард (1856—1915)

Терпеть не могу женщин — они всегда знают, где что лежит.

Джеймс Тэрбер (1894—1961)

ЖИЗНЬ

Жизнь — это иностранный язык; все мы говорим на этом языке с акцентом.

Кристофер Морли (1890—1957)

З

ЗДОРОВЬЕ

Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится.

Марк Твен (1835—1910)

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Здравый смысл — это набор предрассудков, приобретенных в восемнадцатилетнем возрасте.

Альберт Эйнштейн (1879—1955)

ЗЛО

Из двух зол всегда выбирайте самое смазливое.

Кэролин Уэллс (род. в 1942)

ЗООПАРК

Место, предназначенное для того, чтобы животные могли изучать повадки людей.

Оливер Херфорд (1863—1935)

ЗУБЫ

Чем больше выпадает зубов, тем больнее человек кусается.

Джордж Деннисон Прентис (1802—1870)

И

ИДИОТ

Член большого и могучего племени, чье влияние на историю человечества всегда было определяющим.

Амброз Бирс (1842—1914)

ИЗДАТЕЛЬ

Издатель — это тот, кто отделяет семена от плевел — и печатает плевелы.

Эдлай Стивенсон (1900—1965)

ИЗРЕЧЕНИЕ

Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое.

Джордж Сантаяна (1863—1952)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

Интеллектуал — это человек, который пользуется бóльшим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно.

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890—1969)

ИРОНИЯ

У свободного ума должен быть только один полицейский — ирония.

Альберт Грин Хаббард (1856—1915)

ИСТИНА

Не зря говорят, что истина — на дне колодца, ведь тот, кто ее ищет, видит в воде свое отражение.

Джеймс Расселл Лоуэлл (1819—1891)

ИСТОРИЯ

История — это память государств.

Генри Киссинджер (род. в 1923)

К

КАЛИФОРНИЯ

Калифорния — идеальное место для жизни. Особенно если вы апельсин.

Фред Аллен (1894—1956)

КНИГА

Все хорошие книги похожи друг на друга: они правдивее жизни.

Эрнест Хемингуэй (1899—1961)

КОМИК

Если перед вами настоящий комик, то смеяться вы начинаете еще до того, как он раскроет рот.

Джордж Джин Нейтен (1882—1959)

КОММУНИЗМ

Коммунизм сродни сухому закону. Мысль хорошая, но непрактичная.

Уилл Роджерс (1879—1935)

КОМПРОМИСС

Компромисс — хороший зонтик, но плохая крыша.

Джеймс Расселл Лоуэлл (1819—1891)

КОНСЕРВАТОР

Консерватор — это тот, кто готов расплатиться страданиями других людей за свои принципы.

Эдгар Лоуренс Доктороу (род. в 1931)

КОНСТИТУЦИЯ

В вопросах власти нужно не доверие, а конституция — та цепь, что в случае искушения свяжет правителя по рукам и ногам.

Томас Джефферсон (1743—1826)

КОШКА

Крошечный лев, который любит мышей, ненавидит собак и покровительствует человеку.

Оливер Херфорд (1863—1935)

Л

ЛЕСТЬ

Лесть — как сигарета: в ней нет ничего вредного, если не затягиваться.

Эдлай Стивенсон (1900—1965)

ЛИТЕРАТУРА

Мои взгляды на литературу меняются в зависимости от времени, качества собеседника и количества выпитого.

Джеймс Тэрбер (1894—1961)

ЛОЖЬ

Ложь — это тяжкий грех перед Господом. И очень действенная помощь в беде.

Эдлай Стивенсон (1900—1965)

ЛЮБОВЬ

От любви есть только одно средство: любить еще больше.

Генри Дэвид Торо (1817—1862)

М

МАСТУРБАЦИЯ

Мастурбация — это секс с человеком, которого любишь.

Вуди Аллен (род. в 1935)

МНЕНИЕ

Каждый человек имеет право на собственное мнение — если оно совпадает с нашим.

Джош Биллингс (1818—1885)

МОЗГ

Мозг — удивительный орган. Он включается в тот момент, как вы утром открыли глаза, и выключается в ту секунду, как вы сели за письменный стол.

Роберт Фрост (1874—1963)

МОЛИТВА

Молиться Богу легче, чем служить Ему.

Бенджамин Франклин (1706—1790)

МУДРОСТЬ

Глупые никогда не прощают и не забывают; наивные прощают и забывают; мудрые прощают, но не забывают.

Томас Шаш (род. в 1920)

МУЖЧИНА

Мне нравятся только два типа мужчин: американцы и неамериканцы.

Мэй Уэст (1892—1980)

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Мужчина хочет всего, чего только можно добиться; женщина — всего, чего добиться нельзя.

Джордж Деннисон Прентис (1802—1870)

Почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес.

Марлен Дитрих (1901—1991)

МЫСЛЬ

Не бывает опасных мыслей; бывает опасно мыслить.

Ханна Арендт (1906—1975)

Н

НАДЕЖДА

Тот, кто живет надеждой, умрет голодным.

Бенджамин Франклин (1706—1790)

НАЛОГИ

В этом мире с уверенностью можно говорить лишь о двух вещах: о смерти и о налогах.

Бенджамин Франклин (1706—1790)

НАУКА И РЕЛИГИЯ

Наука без религии хрома; религия без науки слепа.

Альберт Эйнштейн (1879—1955)

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Если вам удалось поймать слона за задние ноги, а он пытается вырваться, лучше дать ему убежать.

Авраам Линкольн (1809—1865)

О

ОБЕЗЬЯНА

Все люди произошли от обезьяны — только одни раньше, другие позже.

Кин Хаббард (1868—1930)

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Политический обозреватель — это тот, кто способен сформулировать интересы власть имущих.

Генри Киссинджер (род. в 1923)

ОБЩЕНИЕ

Лучший способ развлечь человека — это выслушать его.

Кин Хаббард (1868—1930)

ОБЩЕСТВО

Общество как воздух: оно необходимо для дыхания, но недостаточно для жизни.

Джордж Сантаяна (1863—1952)

ОПТИМИЗМ

В наше время надо быть большим оптимистом, чтобы, проснувшись поутру, открыть глаза.

Карл Сэндберг (1878—1967)

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности.

Альберт Эйнштейн (1879—1955)

ОТЦЫ И ДЕТИ

Дети никогда не слушали своих родителей, зато всегда исправно им подражали.

Джеймс Болдуин (1924—1987)

П

ПАРАДОКС

Мелкий ум интересуется всем исключительным; ум значительный — заурядным.

Альберт Грин Хаббард (1856—1915)

ПАРТИЯ

Партия или секта придуманы для того, чтобы избавить человека от необходимости самостоятельно мыслить.

Ральф Уолдо Эмерсон (1803—1882)

ПИСАТЕЛЬ

Есть лишь два типа писателей. Одни, более популярные, говорят с другими; вторые, менее удачливые,— с самими собой.

Томас Стернз Элиот (1888—1965)

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

У победы тысячи отцов, поражение — всегда сирота.

Джон Фицджеральд Кеннеди (1917—1963)

ПОДРАЖАНИЕ

Когда люди получают возможность вести себя так, как им заблагорассудится, они обычно подражают друг другу.

Эрик Хоффер (1902—1983)

ПОЛИТИКА

Самое ценное в политике — короткая память.

Джон Кеннет Гэлбрейт (род. в 1908)

Политика — неплохая профессия. Если вы сделали политическую карьеру, вас ожидают награды; если же опозорились, всегда можете сесть за книгу.

Рональд Рейган (род. в 1911)

ПОЭЗИЯ

Поэзия — это способ взять жизнь за горло.

Роберт Фрост (1874—1963)

Поэзия — не выход эмоций, а уход от эмоций.

Томас Стернз Элиот (1888—1965)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Лучшее правительство то, что меньше всего правит.

Генри Дэвид Торо (1817—1862)

ПРАВЛЕНИЕ

Пусть люди думают, что они правят сами,— и ими можно будет управлять.

Уильям Пенн (1644—1718)

ПРЕЗИДЕНТ

Все матери хотят, чтобы их дети стали президентами, но никто не хочет, чтобы они были политиками.

Джон Фицджеральд Кеннеди (1917—1963)

ПРИВИЛЕГИЯ

Больше всего на свете люди стремятся к привилегиям — даже если это привилегия главного плакальщика на похоронах.

Джеймс Расселл Лоуэлл (1819—1891)

ПРИМЕР

Мало что так раздражает в жизни, как хороший пример.

Марк Твен (1835—1910)

ПРИНЦИПЫ

Отстаивать принципы бывает легче, чем жить по ним.

Эдлай Стивенсон (1900—1965)

ПРОВИНЦИЯ

Ось земли проходит через центр каждого заштатного городка.

Оливер Уэнделл Холмс (1809—1894)

ПРОЩЕНИЕ

Мы просим Бога простить нашего ближнего лишь в том случае, если сами его не простили.

Альберт Грин Хаббард (1856—1915)

ПСИХОЛОГИЯ

Чем тоньше лед, тем больше хочется убедиться, выдержит ли он.

Джош Биллингс (1818—1885)

Когда у вас нет денег, хочется есть. Когда есть деньги, хочется женщину. Когда есть и еда, и женщина, не хватает здоровья. Когда же есть и еда, и женщина, и здоровье, возникает жуткий страх.

Джеймс Патрик Донливи (род. в 1926)

Р

РАБОТА

Отец учил меня работать, а не любить работу.

Авраам Линкольн (1809—1865)

РАДИКАЛ

Радикал — это человек, который обеими ногами твердо стоит на небе.

Франклин Делано Рузвельт (1882—1945)

РЕВОЛЮЦИОНЕР

Революционеры демонстрируют верность Делу и солидарность лишь до тех пор, пока им нечего делать.

Эдгар Уотсон Хоу (1853—1937)

РЕФОРМА

Тот, кто берется за год научить летать омаров, считается безумцем; тот же, кто полагает, что с помощью выборов из людей можно сделать ангелов, пользуется репутацией реформатора, притом великого.

Финли Питер Данн (1867—1936)

РОДИНА

Я дрожу за свою родину всякий раз, когда вспоминаю, что Господь справедлив. Справедливость Его не может спать вечно.

Томас Джефферсон (1743—1826)

Раньше принято было спасать душу, теперь — родину.

Эдгар Уотсон Хоу (1853—1937)

С

САМОВЛЮБЛЕННОСТЬ

У того, кто влюбляется в самого себя, соперников не бывает.

Бенджамин Франклин (1706—1790)

СВОБОДА

Древо свободы следует время от времени поливать кровью патриотов и тиранов. Иначе оно увянет.

Томас Джефферсон (1743—1826)

Для некоторых свобода обозначает возможность делать то, что хочется; для большинства же — это право не делать того, чего не хочется.

Эрик Хоффер (1902—1983)

СВЯТОЙ

Проще сделать святого из распутника, чем из чванливого дурака.

Джордж Сантаяна (1863—1952)

СДЕРЖАННОСТЬ

Я давно заметил: то, чего я никогда не говорил, никогда не приносило мне вреда.

Калвин Кулидж (1872—1933)

СЕМЬЯ

Живите так, чтобы было не стыдно продать домашнего попугая на городском рынке.

Уилл Роджерс (1879—1935)

СЛОВО

Слова погубили больше душ, чем все происки дьявола вместе взятые.

Эрик Хоффер (1902—1983)

СМИРЕНИЕ

Смирения добиться труднее всего — ведь желание хорошо о себе думать умирает последним.

Томас Стернз Элиот (1888—1965)

СОБЕСЕДНИК

Есть только один способ научиться хорошо говорить — слушать.

Кристофер Морли (1890—1957)

СОВЕРШЕНСТВО

Тот, кто хочет усовершенствовать человека, в конце концов превращает его в животное.

Эрик Хоффер (1902—1983)

СОВЕСТЬ

Большинство людей продают душу дьяволу и на вырученное живут с чистой совестью.

Лоуган Пирсолл Смит (1865—1946)

СОВЕТ

Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет.

Кин Хаббард (1863—1930)

СОМНЕНИЕ

Если сомневаешься — говори правду.

Марк Твен (1835—1910)

СОРНЯК

Что такое сорняк? Это растение, достоинства которого еще не раскрыты.

Ральф Уолдо Эмерсон (1803—1882)

СПЛЕТНЯ

Изысканное, ни с чем не сравнимое удовольствие, к тому же начисто лишенное риска.

Элберт Грин Хаббард (1856—1915)

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Только самые стойкие люди могут переносить справедливость.

Кин Хаббард (1868—1930)

СТАРОСТЬ

Все хотят долго жить, но никто не хочет стареть.

Бенджамин Франклин (1706—1790)

СТРАХ

По моему глубокому убеждению, единственное, чего мы должны бояться, это страха.

Франклин Делано Рузвельт (1882—1945)

СЧАСТЬЕ

Поиски счастья — основной источник несчастья.

Эрик Хоффер (1902—1983)

Счастливый человек может быть удачливым священником, живодером, киноактером или продавцом сосисок — но еще не было на свете ни одного счастливого человека, который бы написал совершенную картину, симфонию или книгу.

Джордж Джин Нейтен (1882—1958)

Т

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Если телевидение за меня, хотел бы я знать, кто будет против?

Курт Воннегут (род. в 1922)

У

УБЕЖДЕНИЕ

Только глупцы и покойники никогда не меняют своих убеждений.

Джеймс Рассел Лоуэлл (1819—1891)

УГНЕТЕННЫЕ

Угнетенные борются не за свободу: они борются за власть — то есть за возможность угнетать других.

Эрик Хоффер (1902—1983)

УДОВОЛЬСТВИЕ

Не откладывайте на завтра то, от чего можно получить удовольствие сегодня.

Джош Биллингс (1818—1885)

УМЕРЕННОСТЬ

Умеренность — это добродетель лишь в том случае, если у вас есть альтернатива.

Генри Киссинджер (род. в 1923)

УСПЕХ

В жизни мне, безусловно, сопутствует успех, ведь уже более шестидесяти лет я не только ем сам, но и не даю себя съесть другим.

Лоуган Пирсолл Смит (1865—1946)

Самому преуспеть мало. Надо, чтобы потерпели неудачу другие.

Гор Видал (род. в 1925)

Я слишком мал ростом и нехорош собой, чтобы добиться успеха без посторонней помощи.

Вуди Аллен (род. в 1935)

Ф

ФЕМИНИЗМ

Теперь женщинам приходится заниматься политикой, возглавлять банки, концерны, крупнейшие корпорации — вместо того чтобы, как встарь, управлять миром одним взмахом ресниц.

Патрик Джейк О'Рурк (род. в 1947)

ФЕРМЕР

Быть фермером легко — особенно когда вашим плугом является карандаш, а сами вы находитесь в тысяче миль от кукурузного поля.

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890—1969)

ФИЛОСОФИЯ

Невразумительные ответы на нерешаемые вопросы.

Генри Брукс Адамс (1838—1918)

Ц

ЦЕРКОВЬ

Церковь... имеет такое же отношение к Богу, как придорожные щиты с рекламой кока-колы — к освежающему напитку. Жажду они вызывают, но утолить ее не могут.

Джон Апдайк (род. в 1932)

ЦИНИК

Негодяй, который по недомыслию видит мир таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть.

Амброз Бирс (1842—1914)

Ч

ЧЕЛОВЕК

Человек — это единственное из живых существ, которое играет в покер.

Дон Херолд (род. в 1898)

Ш

ШУТКА

Шуткой нельзя сделать из врага друга, зато можно — из друга врага.

Бенджамин Франклин (1706—1790)

Э

ЭГОИСТ

Человек, который больше интересуется собой, чем мной.

Амброз Бирс (1842—1914)

ЭКОНОМИКА

Чтобы остановить инфляционную гонку, надо арестовать шофера, а не автомобиль.

Томас Вудро Вильсон (1856—1924)

Когда работу теряет ваш сосед — это экономический спад; когда вы сами — это кризис.

Гарри Трумэн (1884—1972)

ЭМИГРАНТ

Невежественный человек, который одну страну считает лучше другой.

Амброз Бирс (1842—1914)

ЭПИТАФИЯ

Запоздалая реклама товара, поставка которого прекратилась по непредвиденным обстоятельствам.

Ирвин Кобб (1876—1944)

ЭПОХА

Эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная.

Артур Миллер (род. в 1915)

ЭТИКЕТ

Этикет — это умение зевать с закрытым ртом.

Герберт Прокноу (род. в 1897)

Я

Я

Единственное, о чем...
Единственное, о чем приходится сожалеть в жизни, это то, что я — это я.

Вуди Аллен (род. в 1935)

БОРИС ВИАН

Осень в Пекине

РОМАН

Перевод с французского М. АННИНСКОЙ

От переводчика

Борис Виан достаточно известен в России, чтобы не представлять его заново. Напомню лишь, что родился он в 1920 году, а умер в 1959-м, на просмотре фильма, снятого по его нашумевшему роману «Я приду плюнуть на ваши могилы» (первому роману-пародии, подписанному псевдонимом Вернон Салливен). За тридцать девять лет яркой, торопливой жизни этот талантливый человек, в семидесятые годы признанный «классиком XX века», успел написать пять романов, четыре романа-пародии, около сорока новелл, более четырехсот песен, восемь пьес, три оперы, несколько балетов, а также скетчи, киносценарии и огромное количество статей о джазе, кино и обо всем на свете. Он был также инженером, поэтом, известным джазистом и исполнителем собственных песен.

«Осень в Пекине» — одна из лучших книг Виана. Она была написана на одном дыхании и без единого черновика осенью 1946 года. Поскольку в ней нет речи ни об осени, ни о Пекине, французские критики делали неоднократные попытки расшифровать название. По мнению одних, это «осень в Париже», по мнению других — «осень штатского человека», т. к. слово «pékin» на арго означает «штатский, гражданский». Как бы там ни было, с легкой руки Раймона Кено роман признан самым трудным и непонятным произведением писателя. Может, это и не совсем так, но сложностей в нем действительно хватает: и замысловатая структура повествования, и большое количество второстепенных и полувторостепенных персонажей, загадочным образом связанных с центральной сюжетной линией. «Это роман, к которому непросто подобрать ключ. Чтобы понять Виана, надо стать его сообщником...— предупреждал Франсуа Карадек, критик и исследователь творчества писателя.— Герои Бориса Виана — не человекоподобные куклы и не психологически послушные марионетки. Чаще всего это многоликие грани одного и того же персонажа».

Одна из особенностей романа — его язык: вольная манера обращения со словом, игра смыслов и подтекстов, а также свободный, непривычный для французского, синтаксис. К сожалению, в русском переводе синтаксические странности сглаживаются, вполне приспосабливаясь к русской языковой традиции.

Несмотря на многочисленные загадки «Осени» — магию чисел, названий и цвета, кривизну тамошнего пространства, символику персонажей,— было бы ошибкой разгадывать роман как ребус. Его надо пережить, воспринять таким, каков он есть. В этом — Борис Виан.

А

Лица, не изучившие данного вопроса,
могут позволить ввести себя в заблуждение.

Лорд Рэглан. «Табу инцеста». Изд. Пайо, 1935, стр. 145 [1]

1

Амадис Дюдю не слишком уверенно шагал по узенькой улочке, являвшей собой самый длинный из наикратчайших путей к остановке девятьсот семьдесят пятого автобуса. Ему приходилось ежедневно отдавать кондуктору три с половиной билетика, чтобы спрыгивать с подножки на ходу между остановками. Амадис пощупал жилетный карман, определяя, хватит ли билетов. Пожалуй, хватит. На мусорной куче сидела птица и, барабаня клювом по трем консервным банкам, выводила начало русской «Дубинушки». Амадис остановился. Птица взяла фальшивую ноту и, злобно ругаясь сквозь стиснутый клюв нехорошими птичьими словами, снялась и полетела прочь. Амадис двинулся дальше, насвистывая продолжение мелодии, но тоже сфальшивил и разразился бранью.

Светило солнце — так, кое-где. Во всяком случае, перед Дюдю улица сияла нежным светом, отраженным в жирной, скользкой мостовой. Только он все равно не мог этого видеть: улица поворачивала сначала направо, потом налево. На порогах, поводя неохватными рыхлыми прелестями, вырастали женщины с помойными ведрами в руках; их пеньюары распахивались над впечатляющим отсутствием добродетели. Женщины вытряхивали мусор себе под ноги и все разом принимались колотить по днищу; заслышав барабанную дробь, Амадис привычно подстроился в такт. Он потому и любил эту улочку, что она напоминала ему военную службу с американцами, когда все обжирались арахисовой пастой в жестяных банках, вроде тех, по которым долбила птица; только банки были побольше. Мусор, вываливаясь из ведер, поднимал тучи пыли, но Амадису это нравилось, потому что сразу становились видны солнечные лучи. Он поравнялся с красным фонарем на большом здании под номером шесть, где в целях конспирации жили переодетые полицейские. (На самом деле это был комиссариат; а чтобы кто чего не подумал, на ближайший бордель повесили фонарь синего цвета.) Красный фонарь был ориентиром, по которому Амадис определил, что время приближается к восьми двадцати девяти. Значит, до автобусной остановки еще минута, что равняется шестидесяти шагам — по секунде каждый. Но он делал пять шагов каждые четыре секунды... Расчеты оказались столь сложны, что вскоре растворились в его мозгу и были впоследствии выведены из организма вместе с мочой, звонко заструившейся в фарфоровую белизну унитаза. Впрочем, это произошло много позже.

На остановке девятьсот семьдесят пятого уже стояло пять человек, которые мгновенно загрузились в подошедший автобус. Дюдю кондуктор впустить отказался, хотя тот протянул ему бумажку, взглянув на которую каждый дурак сразу бы понял, что это действительно шестой пассажир. Тем не менее автобус ушел без него, так как свободных мест было только пять; в доказательство автобус четырежды пукнул, силясь сдвинуться с места. Наконец он отъехал от остановки, волоча заднюю часть по ухабистой мостовой и высекая снопы искр. Некоторые водители (обычно те, что ехали следом) любили вставлять в хвост впереди идущему автобусу кремни, чтобы полюбоваться фейерверком.

Перед самым носом Амадиса остановился следующий девятьсот семьдесят пятый. Он был набит битком и тяжело дышал. Из автобуса вылезла дородная дама с ухватом и маленьким, едва живым господином, тащившим этот ухват. Дюдю вцепился в поручни и протянул свой посадочный талон, но кондуктор ударил его по пальцам компостером.

— Отпустите автобус! — сказал он.

— Но ведь вышли три человека! — возмутился Дюдю.

---

[1] Эпиграфы к роману (чаще всего неожиданные и абсурдные) подыскивал для Б. Виана его друг Клод Леон, чьим именем назван один из персонажей этой книги. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— Они были сверх нормы,— доверительно сообщил кондуктор и гаденько подмигнул.

— Вранье все это! — снова возмутился Дюдю.

— А вот и не вранье! — сказал кондуктор и высоко подпрыгнул, чтобы достать до сигнального шнура. Он подтянулся, показал Амадису задницу, и водитель дал газ, потому что шнур тоненькой розовой тесемкой был подсоединен к его уху.

Амадис взглянул на часы и сказал: «У-у-у!», в надежде, что стрелки, испугавшись, пойдут вертеться вспять. Но послушалась только секундная стрелка, а две другие невозмутимо продолжали свой путь. Дюдю стоял посреди дороги и смотрел вслед автобусу, когда подошел следующий и дал ему под зад буфером. Амадис упал. Водитель остановил автобус прямо над ним, открыл горячий кран и ороси.i шею несчастного кипятком. Тем временем двое пассажиров, стоявших в очереди за Дюдю, поднялись в салон. Дюдю вскочил на ноги и увидел, что автобус уже ушел. Шея у него горела, в груди клокотал гнев; теперь он наверняка опоздает.

К остановке подошли еще четыре человека и взяли в автомате посадочные талоны. Затем подошел пятый, молодой здоровяк, и вместе с талоном получил струю одеколона, которая, по распоряжению Компании, причиталась каждому сотому пассажиру. Заорав не своим голосом, здоровяк бросился бежать не разбирая дороги, ведь что ни говори, а получить в глаз струю почти чистого спирта довольно-таки больно. Он выскочил на мостовую, по которой обратным рейсом ехал девятьсот семьдесят пятый. Чтобы положить конец нечеловеческим страданиям бедняги, автобус раздавил его, и все увидели, что недавно он ел клубнику.

Тут как раз подкатил четвертый автобус с несколькими свободными местами. Женщина, ставшая в очередь значительно позже, чем Амадис, проворно сунула кондуктору свой талон.

— Миллион пятьсот шесть тысяч девятьсот третий! — громко провозгласил кондуктор.

Амадис сделал шаг вперед:

— У меня девятисотый...

— Прекрасно. А где первый и второй?

— У меня четвертый,— сказал какой-то господин.

— У нас пятый и шестой,— откликнулись рядом.

Амадис успел уже юркнуть в автобус, когда кондуктор схватил его за шиворот.

— Вылезайте. Вы нашли талон на дороге, так ведь?

— Да-да, мы видели,— закричала очередь.— Он лазил за ним под автобус.

Кондуктор выпятил грудь колесом и спихнул Дюдю с подножки, пронзив ему левое плечо презрительным взглядом. Амадис запрыгал от боли, а четыре пассажира втиснулись в автобус, и тот отправился, съежившись от стыда.

Пятый автобус проехал мимо полным-полнехонек, а счастливчики, что сидели внутри, высунули язык, дразня Дюдю и всех ожидавших на остановке. Кондуктор даже плюнул в его сторону, но не принял во внимание скорость, и плевок так и не долетел до земли. Амадис попытался отбить его на лету щелчком, да промахнулся. Он весь покрылся испариной от злости; когда же шестой и седьмой автобусы проехали мимо, оставив его на тротуаре, он решился идти пешком: сядет на следующей остановке, там многие выходят.

Дюдю нарочно шел, где не положено: пусть все видят, что он кипит гневом. Пройти ему надо было метров четыреста, и за это время его обогнали несколько девятьсот семьдесят пятых, почти пустых. Когда же он достиг наконец зеленой будки, что за десять метров от остановки, вдруг невесть откуда вынырнули семь молодых кюре и десять школьников с хоругвями и разноцветными лентами. Они окружили автобусную остановку и выставили два просвиромета, чтобы отбить у окружающих охоту ехать на автобусе. Дюдю силился вспомнить пароль, но он так давно бросил изучать катехизис, что нужное слово никак не приходило на ум. Тогда он сделал попытку подкрасться задом-наперед и получил в спину скомканную облатку. Удар был такой силы, что у Дюдю перехватило дыхание, и он зашелся кашлем. Кюре ликовали и суетились вокруг просвирометa, продолжавшего плеваться снарядами. Подъехало два девятьсот семьдесят пятых, и дети расселись по свободным местам. Во втором автобусе еще было куда приткнуться, но один из кюре остался на ступеньках и не дал Дюдю подняться. Когда же Амадис повернулся, чтобы взять новый посадочный талон, на остановке уже стояло шесть человек.

Он отступил и со всех ног бросился к следующей остановке. Далеко впереди замелькал искрящийся хвост 975-го. Амадис бросился ничком на тротуар: кюре направил просвиромет в его сторону, и над головой у него со звуком горящего шелка прошелестела облатка, угодившая затем в сток.

Амадис поднялся. Он был весь в грязи и уже сомневался, стоит ли идти на работу в таком виде. Но что скажут всевидящие табельные часы? А тут еще заныла портняжная мышца. Пытаясь унять боль, он всадил себе в щеку булавку (в свободное от работы время Амадис увлекался трудами по акупунктуре доктора Ботина д'Охмурана); к несчастью, он ошибся точкой и излечился от нефрита голени, которого, впрочем, у него еще не было, но теперь, если и будет, то не скоро. Когда Дюдю подошел к следующей остановке, то увидел толпу, враждебной стеной окружившую автомат.

Он остановился в некотором удалении и, воспользовавшись минутой спокойствия, попытался рассуждать здраво:

— с одной стороны, если опять отправиться пешком до следующей остановки, то не имеет смысла вообще садиться в автобус, потому что тогда опоздаешь настолько...

— с другой стороны, возвращаться тоже опасно: тогда обязательно налетишь на кюре;

— и наконец, с третьей стороны, очень хочется сесть в автобус.

На этом этапе рассуждений Амадис громко расхохотался, потому что, не желая форсировать события, он ловко избежал логического заключения. Посему он отправился пешком до следующей остановки и еще старательней не разбирал дороги, дабы никто не усомнился, что гнев его готов выплеснуться наружу.

Когда он почти дошел до столба с металлической табличкой, очередной автобус хрюкнул ему в самое ухо. На остановке никого не было. Амадис поднял руку, но слишком поздно. Водитель не заметил его, весело нажал на педаль и промчался мимо.

— Черт бы его взял! — сказал Амадис Дюдю.

— Это точно,— согласился подошедший господин.

— Уверен, что они это делают нарочно,— возмущенно продолжал Амадис.

— Да? Хм... Вы полагаете, нарочно?

— Убежден,— сказал Дюдю.

— Без тени сомнения? — спросил господин.

— Ни на секунду не кривя душой.

— И готовы в этом поклясться?

— Чтоб я сдох,— заверил его Дюдю.— Ежу понятно! Чего тут думать! И поклянусь, если надо. Так его разэдак!

— Тогда клянитесь,— сказал господин.

— Клянусь! — произнес Дюдю и плюнул в ладонь, которую подставил ему господин.

— Каков мерзавец! — взревел тот.— Он оклеветал водителя девятьсот семьдесят пятого автобуса! Вы заплатите за это штраф.

— Ах, так? — сказал Дюдю, окончательно выходя из себя вслед за распиравшим его негодованием.

— Я принимал присягу,— заявил господин и перевернул фуражку козырьком вперед. Это был инспектор девятьсот семьдесят пятого маршрута.

Амадис стрельнул глазами направо, налево и, услышав знакомое рычание мотора, бросился вперед, рассчитывая вскочить в подходивший автобус. Вскочить-то он вскочил, но так неудачно, что проломил заднюю площадку и, пролетев насквозь, основательно вмялся в асфальт. Едва он успел пригнуть голову, как над ним проплыл автобусный зад. Инспектор извлек Дюдю из мостовой и заставил-таки заплатить штраф. За это время мимо проползли еще два автобуса. Увидав такое безобразие, Амадис стремглав кинулся к следующей остановке. Это, конечно, более чем странно, но именно так все и было.

Дюдю благополучно достиг остановки, где с удивлением обнаружил, что до конторы осталось триста метров. Какой смысл садиться в автобус?..

Тогда он пересек улицу и пошел по тротуару в обратную сторону до того места, откуда стоило ехать на автобусе.

2

Довольно скоро Амадис добрался до отправной точки своего ежедневного маршрута и решил идти дальше, так как плохо знал, что находится в той стороне. А в той части города, как ему казалось, было на что посмотреть. Он ни на минуту не забывал о своей главной цели — автобусе,— но хотел обернуть себе на пользу досадные препоны, которые судьба расставляла на его пути с самого утра. Маршрут девятьсот семьдесят пятого пролегал почти по всей длине улицы, и взору Амадиса открывались прелюбопытнейшие вещи. Возмущение еще не улеглось у него в груди, и чтобы снизить артериальное давление, дошедшее до критической точки, он начал считать деревья, только постоянно сбивался. Чтобы легче было шагать, он выстукивал на левой ляжке модные военные марши. Вскоре Амадис вышел на просторную площадь, окруженную зданиями, построенными еще в эпоху средневековья и с тех пор значительно постаревшими. Здесь находилась конечная девятьсот семьдесят пятого. Амадис воспрянул духом и легко, как маятник часов, взлетел по ступенькам на дебаркадер. Служитель уже обрéзал трос и едва сдерживал рвущуюся вперед машину; Амадис шагнул в салон и почувствовал, как автобус пришел в движение.

Он оглянулся и заметил, что конец швартова хлестнул служителя по лицу, оторвав ему кусочек носа, который тут же упорхнул прочь, трепеща крылышками наподобие чесоточного клеща.

Мотор миролюбиво урчал: он только что получил целую тарелку костей морского коттуса. Амадис забрался в правый угол заднего сиденья и блаженно озирал пустоту салона. На площадке кондуктор рассеянно вертел машинку для продырявливания билетов. Он подсоединил ее к маленькой пятинотной балалайке, и от заунывной мелодии Амадиса начало клонить в сон. Он смутно слышал, как, разнообразя скучный напев, автобус скребет задом по мостовой и как трещат, вспыхивая и угасая, высекаемые им искры. Играя ослепительными красками, мимо проплывали лавочки и магазины. Дюдю нравилось ловить собственное отражение в их огромных окнах, но когда он заметил, что, пользуясь своим удобным положением, оно норовит заслонить все, что выставлено в витринах, то покраснел как рак и повернулся в другую сторону.

Дюдю не находил ничего странного в том, что автобус едет без остановок: в этот утренний час никто уже не спешит на работу. Кондуктор заснул, съехал на пол и пытался улечься поудобнее. Необоримый сон все больше одолевал Дюдю, он пожирал его изнутри, как ненасытная хищная рыба. Амадис подобрал вытянутые ноги и положил их на соседнее сиденье. Деревья сверкали на солнце под стать витринам; их яркие листья шуршали по крыше автобуса, будто водоросли по корпусу маленькой яхты. Автобусная качка ни на секунду не утихала, уютно баюкала. Амадис заметил, как мимо проехала его контора, но это нимало его не обеспокоило, и он погрузился в забытье.

Когда он проснулся, автобус все еще ехал. Начинало смеркаться. Амадис стал смотреть на дорогу. По обеим сторонам тянулись каналы с серой водой; он узнал Национальный погрузочно-десантный тракт [1] и принялся любоваться его видом. Вот только хватит ли ему билетиков заплатить за проезд? Он обернулся и поглядел на кондуктора. Тот был поглощен широкоформатным эротическим сном и так метался, что в конце концов обвился спиралью вокруг никелированного столбика, подпиравшего крышу. И продолжал спать. Амадис подумал, что работа кондуктора, должно быть, не из легких, и встал, чтобы размять затекшие ноги. Судя по всему, автобус так ни разу и не остановился: в салоне ни души, гуляй не хочу. Сначала Амадис прошел вперед, затем вернулся. Нога его коснулась ступеньки, и этот звук разбудил кондуктора. Он вскочил на колени и судорожно завертел ручку своего прибора, целясь и приговаривая: «Та-та-та...»

Амадис хлопнул его по плечу и тут же получил очередь в живот. Пришлось показать «чурики»; к счастью, это была игра. Кондуктор протер глаза и встал на ноги.

— Куда это мы едем? — спросил Амадис.

Кондуктор (его звали Дени) только развел руками.

— Это никому неведомо,— сказал он.— У нас шофер номер 21239. Он сумасшедший.

[1] Намек на высадку в Нормандии союзных войск в июне 1944 г.

— Ну и что? — спросил Амадис.

— А дальше то, что никогда не знаешь, куда его занесет. В этот автобус никто не садится... Вы-то как сюда попали?

— Как все попадают.

— Понятно,— сказал кондуктор.— Что-то я задремал нынче утром.

— Так вы что, меня даже не видели? — удивился Амадис.

— Тоска с этим психом,— продолжал кондуктор.— И сказать-то ему ничего нельзя: не врубается. Идиот одним словом, и ничего тут не попишешь.

— Жаль беднягу,— сказал Амадис.— Кошмарная история.

— Разумеется,— согласился кондуктор.— Ведь мог бы человек рыбу удить, а чем вместо этого занимается?..

— Автобус водит,— уточнил Амадис.

— Вот именно. А вы, как я погляжу, парень с головой.

— Чего ж это он умом тронулся?

— А кто его знает? Мне везет на чокнутых шоферов. Как по-вашему, это смешно?

— М-да, веселого мало,— посочувствовал Амадис.

— Это все Компания виновата,— сказал кондуктор.— Да что с них взять, там все подряд психи.

— Но вы держитесь молодцом,— подбодрил его Амадис.

— О, я совсем другое дело,— объяснил кондуктор.— Понимаете ли, в чем дело: я абсолютно нормальный.

И его обуял такой отчаянный приступ смеха, что он едва не задохнулся. Амадису стало слегка не по себе, когда он увидел, что кондуктор повалился на пол, полиловел, затем побелел и наконец замер, скрюченный судорогой. Впрочем, Амадис вскоре понял, что это чистой воды притворство: кондуктор подмигнул ему. С закатившимися глазами это выглядело очень красиво. Прошло еще несколько минут, и кондуктор встал.

— Я большой хохмач,— сказал он.

— Ничего удивительного,— ответил Амадис.

— Хохмачи разные бывают,— продолжал кондуктор.— Бывают грустные хохмачи. А я веселый. Без этого поди поезди с таким водилой, как у меня!

— А что это за дорога?

Кондуктор недоверчиво глянул на Амадиса.

— А вы разве не узнали? Это же Национальный погрузочно-десантный тракт. Мы через два раза на третий по нему ездим.

— Куда же мы приедем?

— Так я вам и сказал! Если я болтаю, любезничаю, дурака валяю, то это еще не значит, что меня можно купить со всеми потрохами.

— Я и не собираюсь вас покупать...— начал было отнекиваться Амадис.

— Во-первых,— возразил кондуктор,— если бы вы действительно не узнали дорогу, то давно бы уже спросили, где мы. Ipso facto [1].

Амадис ничего не ответил, и кондуктор продолжал:

— Во-вторых, раз вы ее узнали, то должны знать, куда она ведет... И, в-третьих, у вас нет билета.

Он старательно рассмеялся. Амадис почувствовал себя весьма неуютно: у него действительно не было билета.

— Вы же сами их продаете,— сказал он.

— Прошу прощения,— возразил кондуктор.— Я продаю билеты на нормальных маршрутах. А тут уж, извините...

— Что же мне делать? — спросил Амадис.

— Да ничего.

— Но мне нужен билет.

— Потом заплатите,— сказал кондуктор.— Может, он нас вывалит в канал. А? Так что держите пока ваши денежки при себе.

Амадис решил не настаивать и переменил тему разговора:

— Как вы думаете, почему эту дорогу назвали Национальным погрузочно-десантным трактом?

Произнося название, Амадис запнулся, испугавшись, что кондуктор снова рассердится. Но тот с грустным видом уставился себе под ноги, руки его повисли вдоль тела, и он даже не думал их поднимать.

[1] Ipso facto — в силу самого факта, по одной этой причине *(лат.)*.

— Вы не знаете? — снова спросил Амадис.

— Если я отвечу, вам все равно легче не станет,— тихо проговорил кондуктор.

— Да нет, напротив,— попытался взбодрить его Дюдю.

— Что ж, тогда скажу: я ничегошеньки про это не знаю. Ну вот нисколечко. Потому что никто не знает, можно ли куда-нибудь погрузиться, следуя по этой дороге, или нельзя.

— Куда хоть она ведет?

— Смотрите сами,— сказал кондуктор.

Амадис увидел на обочине столб с эмалированной табличкой, на которой белыми буквами было отчетливо выведено «Эксопотамия», а еще стрелочка и цифры, обозначающие измерения [1].

— Значит, мы едем туда? — оживился Амадис.— Выходит, до нее можно добраться по суше?

— А то как же! — заверил его кондуктор.— Надо только кругаля малость дать, да в штаны не наделать со страху.

— Это еще почему?

— А потому, что нам потом головомойку устроят. За бензин-то, поди, не вы платите?

— Как по-вашему, с какой скоростью мы едем?

— К утру доберемся,— успокоил кондуктор.

3

Часов около пяти утра Амадису Дюдю пришла в голову мысль, что пора бы уже и проснуться. Когда мысль перешла в действие, он обнаружил, что сидит в крайне неудобной позе и что у него чертовски ломит спину. Во рту было вязко, как бывает, если не почистишь зубы. Амадис встал и сделал несколько движений, чтобы придать своим членам привычное положение. Затем, стараясь не попасть в поле зрения кондуктора, приступил к неотложному утреннему туалету. Кондуктор лежал между сиденьями и дремал, не переставая вертеть ручку механической балалайки. Уже совсем рассвело. Узорчатые шины пели, скользя по дороге, как нюрнбергские музыкальные волчки в радиоприемниках. Мотор, уверенный, что в нужное время получит свою тарелку рыбы, однообразно мурлыкал. Со скуки Амадис занялся прыжками в длину. После очередного разбега он приземлился точнехонько на живот лежащего кондуктора, но тут же подскочил с такой силой, что припечатался затылком к крыше автобуса, а затем мешком рухнул вниз и оказался верхом на подлокотнике: одна нога задралась на сиденье, другая вытянулась вдоль прохода. Как раз в этот момент он увидел за окном табличку с надписью «Эксопотамия» и цифру «2», обозначавшую измерение. Амадис ринулся к звонку и нажал на кнопку один раз — но зато как! Автобус затормозил и встал на краю дороги. Кондуктор успел подняться и как ни в чем не бывало занял свое привычное место позади слева, у шнура; спесь с него как рукой сняло — уж очень болел живот. Амадис пробежал по салону и резво соскочил с подножки. Здесь он нос к носу столкнулся с водителем. Тот вылез из кабины и шел посмотреть, что происходит. Он грозно надвинулся на Амадиса:

— Ну наконец до кого-то доперло позвонить! Не прошло и суток!

— Да,— сказал Амадис,— дорога оказалась неблизкой.

— Чтоб вам всем! Три тысячи чертей! — не унимался водитель.— Всякий раз, как я сажусь за руль девятьсот семьдесят пятого, мне приходится дуть без остановок — никто не звонит. Иной раз так и вернешься ни с чем. Разве это работа, я вас спрашиваю?

Кондуктор за его спиной подмигивал и стучал себе пальцем по лбу, предупреждая Амадиса, что спорить не стоит.

— Может быть, пассажиры просто забывают? — предположил Амадис, видя, что водитель ждет ответа.

Тот лишь усмехнулся:

— Сами знаете, что это не так. Вы ведь позвонили. Гнуснее всех...— тут он придвинулся ближе, и кондуктор, почувствовав себя лишним, скромно удалился.

— ...гнуснее всех этот кондуктор,— доверительно сообщил шофер.

[1] «Измерениями» герои романа мерят расстояние.

— Пожалуй,— сказал Амадис.

— Он терпеть не может пассажиров. Он нарочно подстраивает так, чтобы в автобус никто не садился, и никогда не звонит. Это я знаю наверняка.

— В самом деле,— согласился Дюдю.

— Между нами говоря, он чокнутый,— сказал водитель.

— Вот-вот...— пробормотал Амадис.— Мне он тоже показался странным. .

— Они все чокнутые в этой Компании.

— Ничего удивительного!

— Но я их всех во как держу! — сказал водитель.— В царстве слепых одноглазый — царь. У вас есть нож?

— Только перочинный.

— Дайте-ка сюда.

Амадис протянул ему нож. Водитель выдвинул самое большое лезвие и всадил его себе в глаз. Потом повернул. Он очень мучился и сильно кричал. Амадис в ужасе бежал, прижав локти к туловищу и высоко поднимая колени: отказываться от зарядки все равно не стоит. Миновав заросли scrub spinifex [1], он обернулся. Водитель сложил нож и спрятал его к себе в карман. Издалека было видно, что кровь течь перестала. Глаз был прооперирован очень чисто, и на нем красовалась черная повязка. По автобусу взад-вперед расхаживал кондуктор, его силуэт мелькал за стеклами. Он остановился и посмотрел на часы. Водитель сел за руль. Подождав еще немного, кондуктор снова взглянул на часы и несколько раз дернул шнур; это был сигнал, что все места заняты, и тяжелая машина тронулась с места под нарастающий рокот мотора. Из-под капота взметнулись искры. Потом рев мотора стал глуше, тише и, наконец, совсем стих. В тот же миг автобус исчез из виду. Амадис Дюдю приехал в Эксопотамию, не истратив на дорогу ни единого билетика.

Он пошел вперед, не рискуя задерживаться на остановке — вдруг кондуктор спохватится и вернется. Уж очень не хотелось тратить деньги.

B

Бледный как смерть в комнату проскользнул капитан жандармерии (он опасался выстрела).

Морис Лапорт [2]. «История Охранки». Изд. Пайо, 1935, стр. 105

1

Клод Леон услыхал, как на левом фланге трубным голосом пропел будильник, и проснулся, чтобы прислушаться внимательней. Осуществив задуманное, он снова заснул — случайно — и окончательно проснулся только через пять минут — тоже непреднамеренно. Он посмотрел на фосфоресцирующий циферблат, сделал для себя вывод, что уже пора, и скинул простыню. Любовно прижимаясь, она вновь скользнула вверх по его ногам и обвилась вокруг тела. В комнате было темно, светлый треугольник окна еще не проступил. Клод ласково погладил простыню; она перестала ерзать и выпустила его из своих объятий. Клод сел на край кровати, левой рукой потянулся зажечь лампу и в очередной раз убедился, что лампа находится справа. Он вытянул правую руку и, как всегда, наткнулся на деревянное изголовье.

— Отпилю его когда-нибудь,— недовольно процедил он сквозь зубы.

Но зубы неожиданно раздвинулись, и голос прозвучал в полную силу.

«Тьфу ты! — подумал Клод.— Сейчас весь дом перебужу».

Он напряг слух и различил ритмичную пульсацию: пол и стены дышали легко и размеренно. Клод успокоился. По периметру оконной шторы стали заметны серые полоски дневного света: с улицы пробивалось бледное зимнее утро. Клод Леон вздохнул; ноги его тем временем нащупали шлепанцы. Сделав над собой усилие, он

[1] Латинские корни этого фантастического названия задают образ жесткого и колючего растения.

встал. Из его расширенных пор нехотя, с присвистом спящей мышки, выходил сон. Клод подошел к двери, но прежде чем включить свет, развернулся лицом к зеркалу платяного шкафа. Накануне вечером он потушил лампу внезапно, как раз в тот момент, когда строил рожу собственному отражению. Теперь, перед тем как идти на работу, он хотел увидеть эту рожу еще раз. Он решительно повернул выключатель. Вчерашнее отражение было на месте. При виде его Клод громко расхохотался. Впрочем, под действием света изображение быстро померкло, и в зеркале появился утренний Клод Леон, отвернувшийся от шкафа и собирающийся побриться. Он спешил, чтобы прибежать в контору раньше своего начальника.

2

К счастью, жил он неподалеку от Компании. Это зимой — к счастью. Летом же дорога получалась слишком короткой. Надо было пройти триста метров по проспекту Жака-Лемаршана [1] (с 1857 по 1870 этот достойный муж инспектировал контрибуции, а прославился как героический защитник баррикады: он оборонял ее в одиночку, сдерживая натиск прусской армии; в конце концов они его одолели, зайдя с тылу; прижатый к своей высоченной баррикаде, которую он отстаивал до последнего, бедняга дважды выстрелил себе в рот из винтовки Шаспо; кроме того, отдачей ему оторвало правую руку). Клод Леон живо интересовался мельчайшими подробностями истории и в ящике своего стола хранил полное собрание доктора Кабанеса [2], переплетенное в черный коленкор наподобие бухгалтерских книг.

От холода на краю тротуара позвякивали красные ледышки, а женщины сучили ногами под короткими бумазейными юбками. На ходу Клод бросил «добрый день» вахтеру и, заранее робея, подошел к решетке лифта в стиле Тпру-Конкурбюзье, где уже маялись в ожидании три машинистки и бухгалтер. Клод приветствовал всех сдержанным взмахом руки.

3

— Здравствуйте, Леон,— сказал начальник, открывая дверь.

Клод вздрогнул и посадил кляксу.

— Добрый день, господин Сакнуссем,— пролепетал он.

— Какой же вы недотепа,— покачал головой начальник.— Опять кляксу поставили...

— Простите, господин Сакнуссем, я...

— Немедленно сведите! — приказал Сакнуссем.

Клод склонился над кляксой и принялся старательно ее вылизывать. Чернила были горькие и пахли тюленьим жиром.

Сакнуссем, похоже, был в хорошем расположении духа.

— Вы читали сегодняшние газеты? — спросил он.— Конформисты готовятся устроить нам веселые денечки, не так ли?

— М-м-м... да, сударь...— промямлил Клод.

— Каковы негодяи, а? — воскликнул Сакнуссем.— Надо быть начеку... Они ведь, знаете, все вооружены...

— А-а...— выдавил из себя Клод.

— Помните, в дни Освобожденчества они возили оружие прямо-таки грузовиками,— продолжал Сакнуссем.— А порядочные люди, вроде нас с вами, ходят безоружными.

— О конечно,— поспешил согласиться Клод.

— У вас есть оружие?

— Н-нет, сударь,— сказал Клод.— Но, может...

— Так вы готовы достать мне револьвер? — спросил Сакнуссем без обиняков.

— Я, это...— замялся Клод,— если только деверь моей хозяйки... даже не знаю...

— Великолепно! — провозгласил шеф.— Так я могу на вас рассчитывать? Ну,

[1] На самом деле Жак-Лемаршан (1903—1974) был романистом и театральным критиком, одним из первых, кто оценил литературное дарование Б. Виана.

[2] Огюстен Кабанес (1862—1928) — врач и историк, автор популярных книг о болезнях прославленных людей.

разумеется, не слишком дорогой, и чтобы непременно с патронами. Эти мне сукины дети конформисты!.. Надо держать ухо востро. Вы со мной согласны?

— Согласен,— ответил Клод.

— Ну разумеется. Не торопитесь, работайте спокойно. И если вам надо пораньше уйти...

— О, мне не надо...— поспешил отказаться Клод.

— Вот и хорошо! — одобрил Сакнуссем.— Главное, постарайтесь ставить поменьше клякс. И смотрите, работайте внимательно, вам не за красивые глазки жалованье платят, черт подери...

— Я буду стараться, господин Сакнуссем,— пообещал Клод.

— И не опаздывайте,— напомнил шеф.— Вчера вы опоздали на шесть минут.

— Но при этом я пришел на девять минут раньше...— попытался оправдаться Клод.

— Конечно, только обычно вы приходите на пятнадцать минут раньше,— уточнил Сакнуссем.— Сделайте же усилие, в конце концов!

И он вышел, прикрыв за собой дверь. Весь трепеща, Клод вернулся к работе. Руки у него так дрожали, что он уронил на бумагу еще одну кляксу. Она была невероятных размеров и походила на хихикающую физиономию.

4

Клод доедал обед. От сыра остался один кусок, правда, довольно большой. Желтый, с сиреневыми дырочками, он лениво подрагивал в своей тарелке. На десерт Клод налил себе целый стакан карамельного гидрата окиси лития и слушал, как он, пузырясь, стекает по пищеводу. Пузырьки воздуха поднимались против течения и лопались в гортани, производя металлический звук. Клод встал, чтобы выйти на звонок, прозвучавший за дверью. Это был деверь квартирной хозяйки.

— Здравствуйте,— сказал гость. Его честнейшая улыбка и рыжая шевелюра выдавали карфагенское происхождение.

— Здравствуйте,— ответил Клод.

— Я принес вам эту штуку,— сказал деверь. Его звали Жан.

— А, эту...— сообразил Клод.

— Ее самую,— подтвердил Жан и извлек «штуку» из кармана.

Это был красивый десятизарядный эгализатор марки «Вальтер», модель «ппк»; эбонитовое основание магазина тютелька в тютельку входило меж двух пластин рукоятки, сделанных по форме руки.

— Вещь...— взволнованно и со знанием дела оценил Клод.

— Фиксированное дуло,— уточнил Жан.— Высокая точность.

— Да,— сказал Клод,— и прицел удобный.

— В руку так сам и ложится,— добавил Жан.

— По уму сделано,— согласился Клод, целясь в цветочный горшок, который на всякий случай пригнулся.

— Пистолет что надо. Три с половиной.

— Дороговато,— сказал Клод.— Не для себя беру. Я-то понимаю, что вещь, конечно, того стоит, но тот человек не даст больше трех тысяч.

— Дешевле не могу,— сказал Жан.— Я сам за него столько заплатил.

— Понимаю,— кивнул Клод.— Дорого.

— Это совсем недорого.

— В смысле оружие стоит дорого,— поправился Клод.

— Это уж точно,— подтвердил Жан,— такую пушку еще поискать.

— Что верно, то верно,— сказал Клод.

— В общем, три с половиной последняя цена,— уверенно проговорил Жан.

Сакнуссем больше трех тысяч не даст. Клод подумал, что если повременить с починкой башмаков, он сможет заплатить пятьсот франков из своего кармана.

— Может быть, снегопад скоро кончится,— сказал он вслух.

— Все может быть,— ответил Жан.

— Тогда и подметки на башмаках подбивать не обязательно.

— Кто его знает. Зима все-таки.

— Сейчас деньги достану,— сказал Клод.

— А я даю вам в придачу запасной магазин,— сказал Жан.— Забесплатно.

— Очень любезно с вашей стороны,— поблагодарил Клод.

В конце концов, можно поменьше есть с недельку, вот и наскребешь пятьсот франков. И чем черт не шутит, может быть, даже когда-нибудь Сакнуссем случайно об этом узнает.

— Ну, спасибо,— сказал Жан.

— Вам спасибо,— ответил Клод, провожая его до двери.

— У вас теперь будет отличное оружие,— сказал Жан на прощание.

— Это не для меня,— снова поправил Клод, когда посетитель уже спускался по лестнице.

Он запер дверь и вернулся к столу. Черный холодный эгализатор выжидающе молчал; он внушительно покоился рядом с сыром, который в ужасе пытался от него отстраниться, но не решался покинуть родную тарелку. Сердце Клода учащенно билось. Он взял в руки скучающую вещь, чтобы рассмотреть ее со всех сторон. Прячась за закрытой дверью, он каждой клеточкой ощущал в себе могучую силу. Но надо было отнести эгализатор Сакнуссему.

Выходить на улицу с оружием было запрещено. Клод положил револьвер на стол и прислушался: а вдруг кто из соседей слышал его разговор с Жаном?

5

Он чувствовал на ляжке его ледяную тяжесть: будто мертвый зверь. Револьвер оттягивал карман и ремень брюк, а рубашка с правого боку топорщилась. Под плащом, конечно, не видно, но всякий раз, как он делал шаг правой, на ткани набегала большущая складка, и уж ее-то наверняка заметят. Разумней всего было пойти другой дорогой. И Клод, едва выйдя из подъезда, повернул налево, хотя ему надо было направо. Он шел к вокзалу, избегая оживленных улиц. Стоял тоскливый, промозглый день, совсем как накануне. Клод плохо знал этот квартал. Он свернул в первый переулок направо; затем, пройдя шагов десять, решил, что так слишком быстро доберется до цели, и повернул налево. Новая улица пересекалась с предыдущей под углом чуть меньше девяносто градусов и дальше описывала дугу. По обеим сторонам ее тянулись магазины, совсем не похожие на те, мимо которых привык ходить Клод; они были никакие, без особинки.

Клод шел быстро, и тяжелый револьвер колотил его по ноге. Встречный незнакомец, как ему показалось, внимательно посмотрел на его карман. Клод содрогнулся и, пройдя еще метра два, осторожно повернул голову: прохожий глядел на него. Прижав подбородок к груди, Клод ускорил шаг и на первом же перекрестке устремился влево. Впопыхах он толкнул маленькую девочку, которая поскользнулась и села в кучу грязного снега, сваленного на краю тротуара. Клод не решился ее поднять, глубже засунул руки в карманы и, воровато оглядываясь, бросился вперед. Из соседнего дома вышла матрона со шваброй в руках. Едва ее не задев, Клод прошмыгнул под самым ее носом, и вслед ему раздалась смачная брань. Он обернулся. Матрона не сводила с него глаз. Клод опять прибавил шагу и едва не влетел в железную загородку, которую рабочие дорожной службы поставили перед открытым люком. Совершив пируэт, дабы избежать столкновения, Клод зацепился за решетку плащом и разорвал карман, а рабочие обозвали его козлом и придурком. Сгорая со стыда, скользя на заледенелых лужах, Клод почти бежал. Он весь взмок под шерстяным жилетом и тут, переходя через улицу, столкнулся с велосипедистом, который неожиданно выскочил из-за поворота. Педаль оторвала Клоду полштанины и рассекла щиколотку. Он испуганно вскрикнул, вытянув руки, пытаясь удержать равновесие, и вместе с велосипедистом повалился на грязную мостовую. Неподалеку оказался полицейский. Клод вылез из-под велосипеда. Щиколотка зверски болела. Велосипедист с вывихнутой рукой и расквашенным носом ругался на чем свет стоит. Клода охватила ярость, сердце бешено заколотилось, ладоням стало горячо. Он чувствовал, как кровь клокочет у него в жилах, пульсирует в щиколотке, и с каждым ударом пульса на ляжке вздрагивает эгализатор. Велосипедист выбросил вперед левый кулак, и от удара в лицо сознание Клода окончательно прояснилось. Он выхватил из кармана револьвер и расхохотался, потому что велосипедист залопотал что-то невнятное и попятился. В тот же момент сильнейший удар обрушился на его руку, и Клод увидел, как полицейский опустил дубинку. Подхватив упавшее оружие, он вцепился Клоду в воротник. Ощутив, что рука

опустела, Клод резко обернулся; правая нога его сжалась и распрямилась. Удар пришелся полицейскому в пах. Он сложился пополам и выронил револьвер. Рыча от наслаждения, Клод бросился за эгализатором и выпустил всю обойму в велосипедиста, который схватился за живот и тихо осел, издав напоследок горловой хрип. Отстрелянные гильзы приятно пахли. Клод дунул в дуло револьвера, как это делают в фильмах, сунул оружие в карман и рухнул на полицейского. Ему очень хотелось спать.

6

— Ну так что? — спросил адвокат, вставая и собираясь уходить.— Почему, если начистоту, у вас в руках оказался револьвер?

— Я ведь уже говорил,— и Клод Леон в очередной раз поведал свою историю.— Я купил его для директора, господина Сакнуссема... Арна Сакнуссема.

— Тем не менее он все отрицает,— сказал адвокат,— и вы прекрасно это знаете.

— Но ведь это правда,— упрямо повторил Клод.

— Я понимаю, но придумайте что-нибудь другое. В конце концов, у вас было достаточно времени подумать!

Адвокат был раздражен.

— Я оставляю вас,— сказал он, направляясь к двери.— Теперь мы можем только ждать. Со своей стороны я постараюсь сделать все, что в моих силах. Но вы совсем мне не помогаете!

— Это не моя профессия,— заметил Клод Леон.

Он ненавидел адвоката почти так же сильно, как велосипедиста и полицейского, который в участке сломал ему палец. И снова ладони и ноги у него горели.

— Всего хорошего,— сказал адвокат и вышел.

Клод ничего не ответил и уселся на кровать. Дверь за посетителем захлопнулась.

7

Сторож положил на кровать конверт. Клод, пребывавший в полудреме, узнал фуражку служителя и сел.

— Мне бы...— начал он.

— Чего? — спросил сторож.

— Мне бы веревку. Моточек бы,— и Клод почесал затылок.

— Запрещено,— отрезал сторож.

— Да я не собираюсь вешаться,— объяснил Клод.—Для этого сгодились бы и мои подтяжки.

Сторож серьезно взвесил аргумент.

— Что ж, за двести франков я могу вам достать метров десять-двенадцать. Больше нельзя. Я и без того рискую.

— Идет,—сказал Клод.— Деньги возьмете у моего адвоката. Несите веревку.

Сторож пошарил в кармане.

— Она у меня с собой. Вот, держите,— и он протянул Клоду аккуратный моток довольно крепкой бечевки.

— Благодарю, — сказал Клод.

— А что вы собираетесь с ней делать? Надеюсь, без глупостей?

— Повеситься собираюсь,— заявил Клод и расхохотался.

— А? А-а!..— сторож так разинул рот, что казалось, ворона залетит.— Не может быть, ведь у вас есть подтяжки.

— Они новые. Жаль портить,— объяснил Клод.

Сторож воззрился на него с восхищением:

— Эк вы ловко все провернули. Поди, журналист?

— Нет. Но все равно спасибо.

Сторож направился к двери.

— Так за деньгами обратитесь к адвокату,— напомнил Клод.

— Ладно,— сказал сторож.— А он даст?

Клод кивнул, и в двери тихо лязгнул замок.

8

Сложенная пополам и перекрученная веревка была не длиннее двух метров. Этого как раз хватит. Если влезть на кровать, то ее можно зацепить за перекладину оконной решетки. Куда сложнее правильно выбрать длину петли так, чтобы ноги не касались пола.

Клод попробовал веревку на прочность. Вроде держит. Он взобрался на кровать, ухватился за выступ стены, дотянулся до решетки. С трудом сделал узел, просунул голову в петлю и бросился в пустоту. Что-то хлестнуло его по затылку. Веревка лопнула. Он приземлился на ноги вне себя от гнева.

— Этот сторож просто скотина! — сказал он вслух.

В тот же миг сторож открыл дверь.

— Барахло ваша веревка,— сказал ему Клод.

— А мне-то что? — отмахнулся сторож.— Адвокат заплатил — и ладно. Зато у меня сегодня сахар есть, по десять франков за кусок. Может, хотите?

— Не хочу,— буркнул Клод.— Ничего у вас больше не попрошу.

— Попросите еще,— сказал сторож.— Месяца через два-три... Да что два-три, недели не пройдет, как вы и думать обо всем этом забудете.

— Не знаю, может, и так. А веревка все равно барахло.

Он подождал, пока сторож уйдет, и решился пустить в ход подтяжки. Они были совсем новые, сплетенные из кожи и резинки, и стоили ему двухнедельной экономии. На метр шестьдесят их, пожалуй, можно растянуть. Клод снова полез на кровать и крепко-накрепко прикрутил один конец к решетке. На другом конце он сделал петлю и просунул в нее голову. И снова бросился вниз. Подтяжки растянулись до предела, и Клод мягко приземлился под окном. Но в ту же минуту оконная решетка оторвалась от стены и с грохотом обрушилась ему на голову. В глазах у Клода сверкнули три звездочки.

— Во кайф! Как от «мартеля»,— сказал он.

Он съехал по стене на пол. В его опухшей голове гудел дьявольский хор. Подтяжкам же ничего не сделалось.

9

Аббат Петижан [1] гарцевал по тюремным коридорам в сопровождении сторожа. Они играли в белибердень. Доскакав до камеры Клода Леона, аббат поскользнулся на кучке, оставленной под ногами девятихвостой кошкой, и описал в воздухе полное сальто. Его сутана, изящно разлетевшаяся над крепкими ногами, так живо напомнила балет незабвенной Лои Фуллер, что сторож проникся к нему почтением, и, пробегая мимо, тоже заголился из вежливости. Аббат звучно шлепнулся оземь, а сторож вскочил верхом ему на спину; но аббат показал «чурики».

— Вы проиграли,— сказал сторож.— Придется вам платить за угощение.

Петижан скрепя сердце согласился.

— Только без глупостей,— предупредил сторож.— Пишите расписку.

— Я не могу писать лежа,— сказал аббат.

— Хорошо, я вас отпущу.

Но, едва встав на ноги, аббат разразился хохотом и устремился вперед. Поймать его не составило для сторожа большого труда, потому что на пути возвышалась крепкая стена.

— Вы мошенник,— сказал сторож.— А ну подписывайте бумагу!

— Может, договоримся? Я прощу вам грехи на две недели вперед.

— Фигушки,— сказал сторож.

— Ну, так и быть,— вздохнул аббат.— Давайте, чего там подписывать.

Из отрывного блокнота сторож выдрал листок с уже готовой распиской и сунул Петижану карандаш. Тот покорно поставил свою подпись и вернулся к камере Клода Леона. Ключ вошел в скважину; замок проникся к ключу доверием, отомкнулся.

Сидя на кровати, Клод Леон предавался размышлениям. Солнечный луч врывался в камеру через отверстие, оставленное упавшей решеткой, пробегал по стенам и терялся где-то у параши.

---

[1] Намек на французского религиозного поэта, аббата Жана Грожана, современника и литературного соперника Б. Виана.

— Здравствуйте, отец мой,— сказал Клод Леон, завидев аббата.

— Здравствуйте, мой мальчик.

— Как поживает мать моя?

— Все в порядке.

— На меня снизошла благодать,— сообщил Клод, прикладывая руку к затылку.— Вот, пощупайте.

Аббат пощупал и сказал:

— Ни фига себе! Эк она вас отметила!

— Слава Тебе, Господи! — сказал Клод Леон.— Я хочу исповедаться. Хочу предстать перед Создателем с кристально чистой душой...

— ...словно выстиранной в персоли! — воскликнули они в один голос, следуя католическому канону, и осенили себя самым что ни на есть классическим крестным знамением.

— Но никто пока не собирается ни вздергивать вас на кол, ни сажать на дыбу,— сказал аббат.

— Я убил человека,— пожаловался Клод.— И не просто человека, а велосипедиста.

— Могу сообщить кое-какие новости,— сказал аббат.— Я виделся с вашим адвокатом. Тот парень оказался конформистом.

— И все же я его убил,— повторил Клод.

— Но Сакнуссем согласен дать показания в вашу пользу.

— Мне теперь все равно.

— Но сын мой,— сказал аббат,— вы же не можете отрицать тот факт, что застреленный вами велосипедист был врагом нашей Матери Ехидной, Слепой и Опостылевшей Церкви...

— Когда я его убивал, на меня еще не снизошла благодать.

— Ерунда! — уверенно заявил аббат.— Мы вас отсюда вытащим.

— Я не хочу! — заупрямился Клод.— Я собираюсь стать затворником. Где же мне искать покоя, как не в тюрьме?

— Вот и чудненько,— нашелся аббат.— Если хотите стать затворником, мы вас заберем отсюда завтра же. Епископ в отличных отношениях с начальником тюрьмы.

— Но мне негде затвориться. Лучше уж я останусь здесь.

— Об этом не беспокойтесь,— сказал аббат.— Уж мы подыщем вам местечко погаже.

— Тогда другое дело,— согласился Клод.— Пошли, что ли?

— Куда так скоро, нехристь! — пошутил аббат.— Надо утрясти кое-какие формальности. Я приеду за вами завтра, на катафалке.

— Куда вы меня отвезете? — взволнованно спросил Клод.

— Есть вакантное место пустынника в Эксопотамии. Туда мы вас и определим. Вам там будет очень хреново.

— Вот это здорово! — оживился Клод.— Я буду за вас молиться.

— Аминь! — сказал аббат.

— Оп-ля-труля-ля! — проговорили они хором, следуя католическому канону. (Возглас этот, как известно, обычно не сопровождается крестным знамением.)

Аббат потрепал Клода по щеке и крепко ущипнул за нос. Потом он покинул камеру, и сторож запер за ним дверь.

Клод остался стоять перед крошечным окошком. Он опустился на оба колена и всем своим астральным сердцем погрузился в молитву.

C

Вы преувеличиваете неудобство смешанных браков.

Луи Руссель. «Воспоминания». Изд. Стокк, 1908, стр. 60

1

Анжель поджидал Рошель и Анну. Он сидел на стертых каменных перилах и наблюдал за тем, как зоотехники ощипывают парковых голубей — мероприятие,

проводимое ежегодно. Это было сногсшибательное зрелище. На зоотехниках были белоснежные халаты и сафьяновые передники с гербом города, а в руках — машинки для ощипа, модель, разработанная специально для этой цели. Кроме того, у них имелся обезжиривающий раствор для крыльев водоплавающих голубей, которыми квартал прямо-таки кишел.

Анжель ждал момента, когда полетит пух и зоотехники начнут ловить его хромированными цилиндрическими перьеуловителями, которые ассистенты возили на тележках с пневматическими шинами. Пух собирали для перины Президента советчиков. Он был похож на морскую пену, которую в ветреные дни прибивает к берегу; она лежит на песке белыми дрожащими клоками, и если придавить ее ногой, то вылезает между пальцами. Пена очень нежная и, высыхая, становится бархатистой. Анна и Рошель запаздывали.

Анна, наверно, опять чего-то намудрил. Он просто не в состоянии приехать вовремя и ни за что не отважится доверить осмотр машины механику из гаража. А Рошель наверняка ждет Анну у себя дома. С Анной Анжель был знаком уже пять лет; с Рошель — несколько меньше. С Анной они вместе учились, только Анжель закончил не так успешно, потому что трудолюбием не отличался. Анна руководил теперь целой отраслью в Компании по производству щебенки для железнодорожных путей промышленного назначения. Анжель занимал куда более скромный пост на предприятии, изготовлявшим стеклянные колбы для ламп и светильников. Он отвечал за техническую сторону производства; Анна на своей работе — за коммерческую.

Солнце в нерешительности ходило взад-вперед по небу: запад и восток шутки ради поменялись местами, играя в уголки с двумя своими приятелями. Издалека солнце никак не могло разобрать, кто из них где. Люди спешили воспользоваться светлым временем. И только зубчатые колеса солнечных часов крутились в разные стороны и ломались одно за другим, лязгая и заунывно стеная. Веселый солнечный свет несколько смягчал тягостное впечатление от этих звуков. Анжель взглянул на свои часы. Анна и Рошель опаздывали на пол-оборота. Тут уже не до шуток. Анжель перебрался на другое место. Теперь он мог разглядеть девушку, которая, сидя, держала в руках голубя и собиралась его ощипывать. На ней была короткая юбочка, и взгляд Анжеля, скользнув по ее золотистым коленкам, юркнул меж длинных стройных бедер. Там было горячо. Анжель хотел было остановить свой дерзкий взгляд, но тот не послушался и полез еще глубже, чтобы по мере возможности заняться там делом. Анжель очень смутился и нехотя закрыл глаза. Умерший взгляд так и остался в месте своего заточения, и девушка ненароком стряхнула его на землю, когда, встав, одернула юбку.

Лысые голуби делали отчаянные попытки подняться в воздух, но быстро уставали и падали. После этого они были уже не в силах шевельнуться и безропотно позволяли привязать себе крылья из разноцветного шелка, которые бесплатно раздавали городские власти. Голубям показывали, как этими крыльями пользоваться, и птицы, охваченные внезапной гордостью, разлетались по своим гнездам. Их и без того важная поступь делалась прямо-таки величественной.

Анжелю надоело следить за голубями. Он подумал, что Анна уже не приедет; должно быть, он увез Рошель куда-нибудь в другое место.

Анжель встал и пошел через парк. Дети играли в классики, давили молотками муравьев, спаривали лесных клопов и предавались другим соответствующим их возрасту развлечениям. Женщины мирно шили клеенчатые нагрудники для малышей, чтобы удобней было кормить их кашей, или просто квохтали над своими чадами. Многие вязали; иные только делали вид — для приличия,— но нетрудно было заметить, что у них нет пряжи.

Анжель толкнул решетчатую калитку. Она лязгнула за его спиной, и он оказался на улице. По дороге шли прохожие, ехали машины, но Анны все не было. Анжель постоял несколько минут, колеблясь, уходить или подождать еще. Когда он решился наконец пересечь улицу, то вдруг сообразил, что не знает, какого цвета у Рошель глаза. Он остановился. Водитель ехавшей машины резко затормозил и совершил фантастический пируэт вверх колесами. Анна в своем автомобиле ехал следом. Он остановился, и Анжель сел в машину.

Рошель занимала переднее сиденье. Анжель оказался сзади совсем один среди рессор, пружин и набивки для кресел. Он перегнулся вперед пожать своим друзьям

руки. Анна извинился за опоздание. Машина тронулась. Анна сделал крутой вираж и счастливо миновал обломки перевернувшегося автомобиля.

Они ехали по улице до тех пор, пока вдоль нее не начали появляться деревья, затем, доехав до статуи, свернули влево. Движение здесь было слабое, и Анна прибавил газу. Солнце нашло наконец где запад и семимильными шагами двигалось в нужном направлении, чтобы наверстать упущенное время. Анна чувствовал себя за рулем уверенно и забавлялся тем, что, проносясь мимо играющих на тротуаре детей, шлепал их по ушам автоматическим виражометром. Ради этого он был вынужден прижиматься к тротуару и всякий раз рисковал поцарапать краску на шинах; тем не менее все сходило благополучно. К несчастью, на этот раз он обогнал девочку лет десяти с сильно оттопыренными ушными раковинами. Виражометр, задев ее по мочке, разбился вдребезги. Ток частыми капельками заискрился на конце вырванного провода, стрелка амперметра резко пошла вниз. Напрасно Рошель стучала по прибору пальцем. Температура зажигания упала, мотор заглох. Проехав еще несколько измерений, Анна затормозил.

— Что случилось? — удивился Анжель. Он ничего не понимал, потому что все время безотрывно смотрел на волосы сидящей впереди Рошель.

— К чертовой матери! — взревел Анна.— Дрянная девчонка!

— Виражометр сломался,— пояснила Рошель, обернувшись.

Анна уже вылез из машины и теперь хлопотал над хрупким прибором, исправляя поломку. Он пытался сшить провод кетгутом, которым в больницах стягивают края ран.

Рошель повернулась назад и встала на сиденье коленями.

— Долго вы нас ждали? — спросила она.

— Да что вы, ничего страшного...— смешался Анжель.

Ему было трудно смотреть ей прямо в лицо, она слишком ярко сияла. А глаза-то... надо бы узнать, какого они цвета...

— Нехорошо все-таки получилось,— сказала она.— Анна такой растяпа, всегда опаздывает. Я-то была готова вовремя. Посмотрите, он и теперь, не успел выехать, влип в историю.

— Просто он любит развлекаться. Наверно, так и надо.

— Да, он очень веселый,— согласилась Рошель.

Анна за окном ругался как извозчик и подскакивал каждый раз, когда капля тока попадала ему на руку.

— А куда мы едем? — спросил Анжель.

— Он хочет потанцевать. Мне, правда, больше хотелось бы в кино.

— Просто Анна предпочитает видеть то, что делает,— сказал Анжель.

— О! — сказала Рошель.— Вы не должны так говорить!

— Простите.

Рошель зарделась, и Анжель пожалел о своем двусмысленном замечании.

— Анна хороший парень,— сказал он.— Это мой лучший друг.

— Вы давно его знаете? — спросила Рошель.

— Мы знакомы пять лет.

— Вы такие разные.

— Да... Но мы прекрасно ладим.

— А он...— Рошель запнулась и снова покраснела.

— Почему вы боитесь спросить? Что-то не совсем приличное?

— Да,— сказала Рошель.— Ужасно глупо. Это, конечно, не мое дело.

— Так вот вы о чем! Я вам скажу. Да, Анна всегда пользовался успехом у девушек.

— Он очень красивый... — тихо проговорила Рошель.

Больше она ничего не спросила и повернулась вперед, потому что Анна уже огибал машину, чтобы сесть за руль. Он открыл дверцу.

— Надеюсь, будет держаться,— сказал он.— Протекает несильно, но с давлением что-то не так. Я перезарядил аккумуляторы.

— Вряд ли потянут,— заметил Анжель.

— И на кой черт у этой девчонки такие уши? — снова возмутился Анна.

— А кто тебя заставлял дурака валять? — сказал Анжель.

— В самом деле,— поддержала его Рошель и засмеялась.

— Вот смехота! — сказал Анна и тоже засмеялся.

Злиться он уже перестал. Машина рванула с места, но вскоре снова остановилась: улица упиралась в тупик и не желала идти дальше. Впрочем, они уже приехали.

Это был танцклуб ценителей настоящей музыки, где они собирались в тесном кругу потрясти конечностями. Анна танцевал из рук вон плохо; Анжель всегда страдал, видя, как тот выбивается из ритма, и не смотрел, если друг танцевал с Рошель.

Клуб находился в подвале. Туда, извиваясь, вела белая лестница, спуститься по которой без риска для жизни можно было только держась за канат. Канат от частого пользования до такой степени сплющился, что превратился в плющ, и на нем приходилось ежемесячно остригать листья. Помещение было местами обито медью, кое-где были вмонтированы иллюминаторы.

Первой спустилась Рошель; за ней Анна. Анжель выступал в роли замыкающего, чтобы идущим позади долго не мыкаться. Бывало, кто-нибудь зазевается и забудет замкнуть шествие; тогда гарсон натыкался на него, падал и разбивал себе физиономию, потому что за подносом ничего не видел.

Где-то на полпути к подвалу они почувствовали сердцебиение ударных инструментов. Когда спустились еще ниже, в уши им хлынули звуки кларнета и трубы; звуки лились, подталкивая и подгоняя друг друга, развивая в гонке бешеную скорость. У подножия лестницы уже различимы были шарканье подошв, шуршание трущихся тел, сдавленные смешки и заливистый хохот, смачные отрыжки, пылкие перебранки, звон бокалов, плеск и шипение газировки. Все это составляло типичную атмосферу более чем приличного бара. Анна поискал глазами свободный столик и указал на него Рошель. Девушка пробилась к цели первая. Анжель — последним. Они заказали крепкого, мужественного портвейна.

По причине стабильности уховых ощущений музыка не смолкала ни на минуту. Анна дождался нежно-томительного блюза и пригласил Рошель. Многие из танцующих расселись по своим местам, испытывая неодолимое отвращение к медленным танцам. Только убогие извращенцы повскакивали из-за столиков, потому что мелодия напоминала им танго. Они к месту и не к месту выделывали corte и pas-hésitation [1], чередуя их с классическим вывихиванием завзятых танцоров. Анна относил себя к числу последних. Анжель поглядел на танцующих не более двух секунд и отвел глаза, борясь с тошнотой. Анна с ходу выбился из ритма. Рошель, нимало не смущаясь, следовала всем его движениям.

Потом они вернулись к столику, и настал черед Анжеля пригласить Рошель. Она улыбнулась, сказала «да» и встала. Оркестр опять играл медленную мелодию.

— Где вы познакомились с Анной? — спросил Анжель.

— Совсем недавно,— ответила девушка.

— Пару месяцев назад, если не ошибаюсь?

— Да,— сказала Рошель,— на одной вечеринке.

— Может быть, вам неприятно об этом говорить? — спросил Анжель.

— Мне нравится говорить о нем.

Анжель мало знал Рошель, но ее слова причинили ему боль. Он не мог бы толком объяснить почему. Всякий раз, как он встречал красивую девушку, его охватывало желание обладать ею. Иметь на нее права. Но Анна был его другом.

— Он замечательный парень,— сказал Анжель.— И очень одаренный.

— Я это сразу заметила,— кивнула Рошель.— У него обалденные глаза и красивая машина.

— В Школе [2] он в два счета справлялся с тем, над чем другие бились часами.

— Да, он очень сильный,— сказала Рошель.— И много занимается спортом.

— За три года он ни разу не завалил ни одного экзамена.

— И к тому же он так здорово танцует.

Анжель пытался ее вести, но она, казалось, была исполнена решимости танцевать не в такт. Пришлось ему отстраниться и предоставить ей чудить в одиночку.

— У него есть только один недостаток,— продолжал Анжель.

— Да, но это не страшно.

— Он мог бы от него избавиться.

— Ему нужно, чтобы кто-нибудь о нем заботился. Чтобы кто-нибудь всегда был рядом.

[1] Танцевальные фигуры самбы.

[2] Школой во Франции называют любое учебное заведение, кроме университета.

— Возможно, вы правы. Но около него всегда есть кто-нибудь.

— Я бы не хотела, чтобы рядом было много людей,— задумчиво произнесла Рошель.— Только верные друзья. Вот вы, например.

— А я верный друг?

— Вы... Хотелось бы быть сестрой такого человека, как вы. Именно сестрой.

Анжель потупился. После ее слов от иллюзий не осталось и следа — ведь он не умел улыбаться так, как Анна. Это была главная причина. Рошель продолжала танцевать не в такт и с наслаждением слушала музыку. Все танцующие слушали музыку. Было жарко и накурено. Ноты пробирались меж скрюченных серых дымков над умирающими в пепельницах окурками. А пепельницы рекламировали фирму «Дюпон», что на улице Отфёй, и представляли собой в уменьшенном виде судна, утки и другие приспособления для лежачих больных.

— А вы чем занимаетесь? — спросил Анжель.

— Как это чем я занимаюсь?

— Я имею в виду в жизни.

— Я часто танцую,— сказала Рошель.— После экзамена на степень половой зрелости училась, чтобы стать секретаршей. Пока что я не работаю. Родители считают, что сначала я должна приобрести навыки поведения в обществе.

Музыка кончилась. Анжель хотел остаться, чтобы продолжить танец, когда музыканты заиграют снова, но они принялись оттачивать инструменты. Рошель поспешила к столику и уселась поближе к Анне. Анжель поплелся за ней.

— Вы обещаете мне следующий танец? — спросил Анна.

— Конечно,— ответила Рошель.— Мне нравится танцевать с вами.

Анжель сделал вид, что не слышит. У других девушек тоже могут быть красивые волосы, но такого голоса ни у кого больше нет. Не говоря уже о формах.

Анжель не хотел становиться другу поперек дороги. В конце концов, Рошель знакомая Анны, и пусть он сам с ней разбирается. Анжель достал новую бутылку из ведра с зеленым льдом и наполнил свой бокал. Девиц кругом было множество, но ни одна не привлекала его. А влекла только Рошель. Увы, пальма первенства принадлежала Анне.

И Анна был его другом.

2

Они решили пойти поужинать. Нельзя же мотаться черт-те где всю ночь, когда утром на работу. В машине Рошель села вперед, к Анне; Анжель забрался на заднее сиденье. С Рошель Анна вел себя сдержанно. Он не обнимал ее за талию, не наклонялся к ней. не брал за руку. Анжель обязательно делал бы все наоборот, познакомься он с Рошель первым. Но Анна больше зарабатывал; он имел на это право. Танцевать не в такт не такой уж великий грех, коли не слышишь музыку. На это можно закрыть глаза. Время от времени Анна мог сморозить какую-нибудь глупость, и Рошель с готовностью принималась смеяться, встряхивая своими искристыми волосами над воротником ярко-зеленого костюма...

Анна сказал что-то Анжелю, но тот думал о другом и не обратил внимания. Чего же тут такого? Тогда Анна обернулся и невольно крутанул руль. Как это ни печально, но по улице шел человек, и машина, заехав на тротуар, сильно ударила его крылом. Человек с грохотом повалился на землю и схватился за бедро. У него начались конвульсии. Анжель распахнул дверцу и бросился вон из машины. Одолеваемый беспокойством, он склонился над пострадавшим. Тот корчился от смеха, временами останавливаясь, чтобы издать протяжный стон, а затем снова начинал хохотать и кататься по асфальту.

— Вам очень больно? — спросил Анжель.

Рошель не решалась посмотреть в окно. Она сидела в машине, обхватив голову руками. Анна совсем спал с лица; он был мертвенно бледен. Он думал, что человек умирает.

— Это вы меня сбили? — икая, спросил потерпевший у Анжеля.

Его снова обуял смех. Слезы струились у него по щекам.

— Полежите спокойно,— сказал Анжель.— Вам, должно быть, очень больно.

— Я зверски страдаю,— с трудом выговорил человек.

Собственные слова повергли его в такое исступление, что он сделал кульбит

и откатился в сторону. Анна, стоя рядом, растерянно наблюдал эту сцену. Он оглянулся и увидел, что Рошель плачет: ей представилось, что лежащий человек обвиняет Анну, и она испугалась. Анна подошел к открытой дверце, взял голову девушки в свои большие ладони и поцеловал ее в глаза.

Так получилось, что Анжель все это видел. Когда же руки Рошели сомкнулись на шее Анны, он поскорее повернулся к потерпевшему. Человек пытался вытащить из кармана бумажник.

— Вы инженер? — спросил он Анжеля.

Приступы смеха понемногу стихли.

— Инженер...— пробормотал Анжель.

— Тогда вы поедете вместо меня. Я не в состоянии достойным образом добраться до Эксопотамии, коль скоро бедро у меня разбито на пять кусков. Если бы вы знали, до чего я рад!..

— Но ведь...— начал было Анжель.

— За рулем были вы, не так ли? — спросил лежащий господин.

— Нет, Анна...

— Жаль,— сказал господин. Лицо его омрачилось, губы задрожали.

— Не плачьте,— попытался утешить его Анжель.

— Но я не могу послать вместо себя девушку...

— Это юноша...— сказал Анжель.

Известие очень воодушевило господина.

— Поздравьте от меня его мать.

— Обязательно. Правда, она уже привыкла.

— Значит, мы пошлем в Эксопотамию Анну. Меня зовут Корнелиус Шмонт.

— А меня Анжель.

— Предупредите Анну. Он должен подписать бумагу. К счастью, в контракте оставили пропуск вместо имени.

— Почему? — спросил Анжель.

— Вероятно, они мне не доверяли. Позовите же Анну.

Анжель обернулся и посмотрел. Ему сделалось больно, но он шагнул к машине и положил руку на плечо друга. Анна был как в бреду, и глаза его... Лучше бы не видеть. У Рошель глаза были закрыты.

— Анна, ты должен подписать бумагу,— сказал Анжель.

— Чего? — не понял тот.

— Контракт на работу в Эксопотамии.

— Там строят железную дорогу,— уточнил со своего места Корнелиус.

Произнеся эти слова, он снова заохал, потому что куски его тазобедренной кости, задевая друг за друга, производили режущий ухо скрежет.

— И вы поедете? — тихо спросила Рошель.

Анна, не расслышав, снова наклонился к ней. Она повторила вопрос, и он сказал «да». Он пошарил в кармане, нашел ручку. Корнелиус протянул ему контракт. Анна заполнил нужные графы и поставил внизу страницы свою подпись.

— Давайте мы отвезем вас в больницу,— предложил Анжель Шмонту.

— Не стоит,— ответил тот.— Проедет какая-нибудь «скорая» — заберет. Только отдайте мне контракт. Как я все-таки рад, что все так получилось.

Он спрятал документ и потерял сознание.

3

— Что же теперь делать? — спросил Анна.

— Придется ехать,— сказал Анжель.— Ты подписал контракт.

— Но я же там с тоски помру. Совсем один...

— Ты виделся с Корнелиусом?

— Он звонил. Ехать надо послезавтра.

— Тебя действительно это огорчает?

— В общем-то нет. Страну посмотрю, в конце концов...

— Ты не признаешься, но ведь это из-за Рошель ты не хочешь ехать? — сказал Анжель.

Анна с удивлением посмотрел на друга.

— По правде говоря, я о ней совсем не думал. А ты считаешь, она обидится, если я уеду?

— Не знаю,— сказал Анжель.

Он подумал, что если Рошель останется, они могли бы время от времени встречаться. Глаза у нее голубые. И Анны рядом не будет.

— Знаешь что...— сказал вдруг Анна.

— Что?

— Ты должен ехать со мной. Наверняка им понадобится не один инженер.

— Но я же ничего не смыслю в железных дорогах,— возразил Анжель.

Если он уедет с Анной, с кем же останется Рошель?

— Я в них смыслю не больше твоего,— сказал Анна.

— Но ты, во всяком случае, знаешь все про щебенку.

— Я всего лишь ее продаю. И поверь, ровным счетом ничего в этом не смыслю. Не обязательно разбираться в том, чем торгуешь.

— Но если мы оба уедем...— замялся Анжель.

— Да брось ты, она найдет себе других ухажеров.

— А разве ты в нее не влюблен? — удивился Анжель.

У него как-то непривычно запрыгало в груди. Он задержал дыхание, пытаясь справиться с сердцебиением, но оно не утихало.

— Рошель, конечно, очень красивая,— сказал Анна.—Только надо же чем-то жертвовать.

— В таком случае почему ты не хочешь ехать? — снова спросил Анжель.

— Тоска одному. Вот если бы ты поехал со мной, мы бы нашли чем заняться. А ты никак не можешь? Может, ты из-за нее?

— Да нет, что ты! — сказал Анжель.

Было очень больно, но ничто внутри не оборвалось.

— А что, если мы предложим ее Корнелиусу в качестве секретарши? — придумал Анна.

— Хорошая мысль,— сказал Анжель.— Я поговорю об этом с Корнелиусом, когда буду спрашивать про работу для себя.

— Так ты решился ехать? — спросил Анна.

— Не могу же я тебя бросить.

— Ну прекрасно, старина,— сказал Анна.— Мы весело проведем время. Звони Корнелиусу.

Анжель сел на место Анны и снял трубку.

— Значит, мы выясняем, может ли поехать Рошель и согласны ли они взять на работу меня?

— Валяй,— сказал Анна.— В конце концов, можно обойтись и без жертв.

D

...Подобное решение было принято в результате горячего спора; небезынтересно узнать точку зрения каждого из его участников.

Жорж Коньо. «Дотации на конфессиональное воспитание». «Пансе» № 3, апрель — июнь 1945

1

Профессор Жуйживьом некоторое время смотрел на витрину, не в силах оторвать взгляд от яркого блика, рассеянно оброненного опаловой лампочкой на полированной поверхности деревянного двенадцатилопастного винта. Сердце профессора радостно ерзало в груди и в конце концов до того распрыгалось, что задело восемнадцатую пару временных плечевых нервов. Тогда Жуйживьом открыл дверь и вошел. В лавке приятно пахло свежим распилом. По углам валялись различной формы и стоимости куски бальзового дерева, гемлока и гикори; в витринах красовались шарикоподшипники, летательные приспособления и просто круглые безымянные предметы, которые торговец именовал колесами на том лишь основании, что посередине у них имелась дырочка.

— Добрый день, господин профессор,— сказал торговец. Он хорошо знал Жуйживьома.

— Прекрасные новости, господин Крюк,— ответил профессор.— Я только что прикончил трех своих клиентов и наконец-то могу снова засесть за работу.

— Невероятно! — отозвался Крюк.— Главное — не упустить случая.

— Медицина — великолепное средство, чтобы разогнать тоску; но с авиамоделированием она ни в какое сравнение не идет.

— И не говорите,— подхватил Крюк.— Я тоже пару дней назад испробовал ваш способ. Хорошо пошло.

— То ли еще будет! — сказал Жуйживьом.— А вы видели новый итальянский моторчик?

— Нет, не довелось. Каков же он из себя?

— Устрашающий! — сказал Жуйживьом.— Можно саможивьомсжеваться.

— Ха-ха-ха! Ну, вы кого хочешь уморите, профессор.

— Так-то оно так, да с зажиганием проблемы.

Глаза Крюка вытянулись в ниточку, отчего верхние веки совсем опустились. Он положил ладони на прилавок и, тяжело дыша, склонился к профессору:

— Да что вы?

— Точно говорю,— Жуйживьом произнес это внятно, вкрадчиво и сладко, что исключало саму мысль о невозможности.

— И вы видели его своими глазами?

— Он у меня дома. И даже работает.

— Откуда он у вас?

— Из Италии знакомый прислал, Альфредо Жабес [1].

— Вы мне его покажете? — спросил Крюк с надеждой в голосе, и его грушеподобные щеки совсем опали.

— Как вам сказать...— замялся Жуйживьом.— Посмотрим...— Он засунул пальцы за воротник лютикового цвета рубашки, откуда торчала цилиндроконической формы шея.— Мне нужна фурнитура.

— Берите все, что вам нужно и сколько нужно,— с готовностью предложил Крюк.— Платить не надо. И сейчас же идем к вам.

— Согласен,— сказал Жуйживьом.

Он набрал побольше воздуха в легкие и решительно направился в глубь магазина, напевая военный марш. Крюк проводил его глазами. Он готов был отдать ему все содержимое лавки.

2

— Неслыханно! — выдохнул Крюк.

Мотор только что остановился. Жуйживьом потеребил штифт и крутанул пропеллер, пытаясь снова привести его в движение. С третьего захода он наконец завертелся, да так внезапно, что Жуйживьом не успел отдернуть руку. Профессор взвыл и запрыгал на месте. Крюк сменил его и тоже принялся запускать мотор. На этот раз он завелся сполоборота. В крошечном резервуаре для горючего пузырился воздух, сочащийся через клапан: ниточка пузырьков была похожа на слизь улитки. Через два специальных отверстия тонкой струйкой вливалось масло.

Жуйживьом снова приблизился к мотору: от винта на него пахнуло отработанными газами. Он взялся за рукоятку поршня, чтобы отрегулировать давление, и сразу же обжег себе пальцы. Профессор судорожно затряс рукой и засунул всю пятерню себе в рот.

— Елки-моталки! — заорал он, но, к счастью, сквозь пальцы трудно было разобрать, что он кричит.

Крюк как завороженный следил за вращением винта, и от этого глаза его тоже совершали в орбитах вращательное движение. Центробежная сила сносила хрусталики от центра к краю, в результате чего Крюк видел только из-под собственных век. Пришлось отказаться от этой затеи. Массивный стол, к которому был привинчен миниатюрный алюминиевый картер, ходил ходуном, сотрясая всю комнату.

— Работает!..— неистово завопил Крюк.

Он отскочил от стола, подхватил Жуйживьома, и они пустились в пляс, в то

[1] Персонаж получил имя друга Б. Виана по Центральной школе (Эколь сантраль).

время как голубоватый дымок, поднимаясь над мотором, расползался по комнате. Резкий телефонный звонок, продемонстрировавший умение подражать свисту медузы, настиг их на взлете особенно опасного па. Прервав полет, Жуйживьом приземлился на спину, а Крюк вниз головой устремился в зеленый цветочный горшок, из которого торчала большая академическая пальма.

Жуйживьом вскочил на ноги первым и бросился к телефону. Крюк тем временем копошился, пытаясь выгащить голову из горшка, но, приняв пальму за собственную шею, что было силы тянул за ствол. Кончилось тем, что он встал вместе с горшком и тут только заметил, что ошибся, потому что вся земля высыпалась ему за шиворот.

Вернулся разъяренный Жуйживьом и потребовал выключить мотор, потому что за этим чертовым грохотом не слыхать ни слова. Крюк завинтил штифт, и мотор встал, издав сосущий звук сухого, недоброго поцелуя.

— Я пошел,— сказал профессор.— Меня больной требует.

— Кто-то из ваших клиентов?

— Да нет, но все равно надо идти.

— Тоска! — посочувствовал Крюк.

— Можете оставаться и заводить дальше,— сказал Жуйживьом.

— А, тогда все в порядке. Идите, идите себе,— оживился Крюк.

— Ну вы и хитрец,— сказал Жуйживьом.— Вам, в сущности, ни до чего нет дела.

— Ни малейшего,— подтвердил Крюк.

Он склонился над блестящим цилиндром, отвинтил штифт и сделал шаг в сторону, собираясь включить мотор. Тот заработал, когда Жуйживьом выходил из комнаты. Крюк сместил регулятор давления, и агрегат, свирепо рыча, оторвался от пола и вместе со столом взмыл в воздух. Перемахнув через всю комнату, летящая громада врезалась в стену. На шум прибежал профессор. Увидев устрашающую картину, он рухнул на колени и осенил себя крестом. Крюк истово молился.

3

Горничная Корнелиуса Шмонта провела Жуйживьома в комнату, где лежал больной. Чтоб убить время, тот вязал какую-то жаккардовую композицию [1] Поля Клоделя [2], которую высмотрел в одном из совместных номеров «Католической мысли» и «Пилигрима».

— Привет! — сказал Жуйживьом.— Вы оторвали меня от дела.

— Правда? — удивился Корнелиус.— Я очень этим опечален.

— Заметно. Болит что-нибудь?

— У меня бедро расколото на пять кусков.

— Кто вас лечил?

— Доктор Неприведигос... Теперь уж все в порядке.

— Зачем же вы заставили меня притащиться? — спросил Жуйживьом.

— Хотел предложить вам кое-что.

— А идите вы... сами знаете куда.

— Хорошо, тогда я пошел,— сказал Корнелиус. Он попытался подняться, но едва коснулся ногой пола, как бедро его снова сломалось, и он самым натуральным образом упал в обморок. Жуйживьом вооружился телефоном и вызвал «скорую помощь», чтобы она перевезла больного в его клинику.

4

— Будете каждое утро колоть ему эвипан,— распорядился Жуйживьом,— и чтобы не просыпался, пока я в больнице. Он у меня уже в печенках со своими...

Он прикусил язык. Практикант внимательно смотрел на него.

— Впрочем, вас это не касается,— сказал профессор.— Как его бедро?

— Мы вживили ему болты,— сказал практикант.— Крупного калибра. Какой великолепный перелом!

---

[1] Жозеф-Мари Жаккар (Jackard, 1752—1834) — изобретатель машины для изготовления узорных тканей.

[2] Намек на стилистику французского католического поэта и драматурга Поля Клоделя (1868—1955).

— Вы не знаете, кто такой Килала? — спросил Жуйживьом.

— М-м-м...— ответил практикант.

— Если не знаете, то и не говорите. Это финский инженер, он придумал систему выпуска пара для паровозов.

— А-а,— сказал практикант.

— Позднее его открытие было усовершенствовано Шаплоном,— добавил Жуйживьом.— Впрочем, это тоже вас не касается.

Он отошел от кровати Корнелиуса и обернулся к соседней койке. Она была свободна, и санитарка водрузила на нее стул, чтобы прибраться.

— Что со стулом? — пошутил Жуйживьом.

— Горячка,— ответил практикант, подыгрывая.

— Поиздеваться надо мной решили? — спросил профессор.— Поставьте ему градусник, сейчас посмотрим.

Он сложил руки на груди и стал ждать. Практикант вышел и вернулся с дрелью и термометром. Потом он перевернул стул вверх ногами и принялся сверлить под сиденьем отверстие, то и дело сдувая опилки.

— Поторопитесь,— сказал Жуйживьом.— Меня ждут.

— К обеду? — спросил практикант.

— Нет. Собирать авиамодель «Пинг-903». Вы сегодня, однако, любопытны.

Практикант закончил сверлить и вставил градусник в дырочку.

Было видно, как ртуть сначала собралась в комочек, а потом стремительно поползла вверх по шкале и, раздуваясь как мыльный пузырь, зависла на конце термометра.

— Скорей вытаскивайте! — приказал Жуйживьом.

— Господи Иисусе! — охнул практикант.

Ртутный шар раздулся еще больше и лопнул у основания. Брызги кипящей ртути упали на кровать. В тех местах, где капнула ртуть, простыни в мгновение ока порыжели. На белой ткани проступили почти параллельные линии, сходившиеся в конце концов к ртутной кляксе.

— Переверните стул и уложите его как следует,— сказал Жуйживьом.— Позовите мадемуазель Курвандуй.

Старшая медсестра мгновенно прибежала на зов.

— Смерьте давление у этого стула,— велел Жуйживьом.

Практикант с предосторожностями взялся укладывать стул в постель.

— М-да, занятный случай,— строго заметил профессор, неотступно следя за действиями своего ассистента.— Да поосторожней вы, не дергайте его так.

Практикант злился и действовал довольно грубо, отчего стул немилосердно скрипел. Поймав на себе взгляд профессора, молодой человек засуетился вокруг кровати с подчеркнутой аккуратностью профессионального яйцеглотателя.

5

— Надо, чтобы передняя кромка крыла была из того же материала,— сказал Крюк.

— Нет, лучше традиционная обшивка из бальзового дерева толщиной в полтора миллиметра. Тогда он будет легче.

— Если с таким мотором он на что-нибудь налетит, ему каюк,— предупредил Крюк.

— А мы найдем подходящее место,— сказал Жуйживьом.

Они разрабатывали проект крупногабаритной модели «Пинг-903», которую Жуйживьом специально подгонял к мотору.

— Это будет небезопасно,— заметил Крюк,— лучше держаться от него подальше.

— Какой же вы зануда, Крюк. Плюньте на все. В конце концов я врач.

— Ну ладно. Я подберу запчасти, которых нам недостает.

— Не скупитесь. Я заплачу, сколько надо.

— Буду выбирать, как для самого себя,— пообещал Крюк.

— Ни в коем случае! Выбирайте, как для меня. Я так хочу. У вас отвратительный вкус. Идемте, я выхожу вместе с вами. Мне надо навестить больного.

— Идемте,— согласился Крюк.

Они поднялись и пошли к выходу.

6

— Послушайте...— сказал Корнелиус Шмонт.

Он говорил еле слышно, сонным голосом; глаза его самопроизвольно закрывались.

Жуйживьом устало вздохнул:

— Так, значит, эвипан вас уже не берет. И вы намерены снова донимать меня этими невообразимыми предложениями?

— Да вовсе нет! — сказал Корнелиус.— Но этот стул...

— Ну и что, что стул? Он болен, его лечат. Вы знаете, что такое больница?

— О, Боже! — простонал Корнелиус.— Уберите его отсюда. Он скрипел всю ночь напролет...

Практикант, стоявший рядом, тоже, казалось, едва владел собой.

— Это правда? — спросил у него профессор.

Тот кивнул в ответ.

— Можно было бы его выбросить,— сказал практикант.— Какой-то старый стул...

— Это стул эпохи Людовика Пятнадцатого,— назидательно сказал Жуйживьом.— И потом, кто из нас заявил, что у него горячка, вы или я?

— Я,— буркнул практикант. Его страшно бесило, когда Жуйживьом начинал обхаживать стул.

— Ну так и лечите его.

— Я сойду с ума!..— простонал Корнелиус.

— Тем лучше,— заметил Жуйживьом.— Наконец-то перестанете доставать меня своими дурацкими предложениями.— Сделайте-ка ему еще один укол,— добавил он, обращаясь к практиканту.

— Ой, ой-ой-ой! — завопил Корнелиус.— Я уже не чувствую собственной ягодицы!

— Значит, дело идет на поправку.

В этот момент стул разразился целой очередью потрескиваний и похрустываний. Вокруг кровати распространился отвратительный запах.

— И так всю ночь,— устало пробормотал Корнелиус.— Переведите меня в другую палату.

— Вас и так положили в двухместную, а вы еще чем-то недовольны,— возразил практикант.

— Кроватей-то две, но стул уж очень воняет,— пожаловался Корнелиус.

— Да ладно вам,— сказал практикант,— думаете, вы очень благоухаете?

— Попрошу вас быть повежливей с моим пациентом,— одернул его профессор.— Что такое с этим стулом? У него что, проникающая непроходимость?

— Кажется, да,— сказал практикант.— К тому же давление сорок девять.

— Ну ладно,— заключил Жуйживьом.— Вы сами знаете, что надо делать. Счастливо оставаться.

Он нажал Корнелиусу на нос, чтобы его рассмешить, и вышел.

Крюк ждал его с моделью «Пинг-903».

7

Крюк нервничал и кусал губы. Перед ним лежал лист бумаги, испещренный вычислениями и уравнениями двадцать шестой степени.

Искания и сомнения. Жуйживьом ходил взад-вперед по комнате, а чтобы не разворачиваться, от грязно-зеленой стены обратно он шел пятясь.

— В здешних условиях ничего не выйдет,— объявил Крюк после долгого молчания.

— Вы просто паникер,— сказал Жуйживьом.

— Здесь мало места. Он будет пролетать четыре измерения в минуту. Вы можете себе представить, что это такое?

— Ну и что теперь?

— Нужна пустыня.

— Но я должен быть при моих больных.

— Устройтесь врачом в колонию.

— Нет ничего глупее. Я буду мотаться по деревням и не смогу заниматься «Пингом».

— Тогда возьмите отпуск.

— Это не принято.

— Ну, значит, ничего не получится.

— Вот ведь незадача! — сказал Жуйживьом.

— Как хотите! — сказал Крюк.

— Ба! Постойте! — воскликнул вдруг Жуйживьом.— Я бегу в больницу... Продолжайте расчеты.

Он спустился по лестнице, миновал вестибюль и вышел на улицу. Около тротуара, возле решетчатого настила, ждал автомобиль. После смерти одной из своих любимых пациенток профессор перестал принимать дома и занимался врачебной практикой исключительно в клинике.

Войдя в палату Корнелиуса, Жуйживьом застал там высокого и крепкого светловолосого парня: он сидел на кровати рядом с перевернутым стулом. При появлении профессора парень встал.

— Здравствуйте,— сказал он.— Меня зовут Анна.

— Сейчас не время для посетителей,— заметил практикант, входя за профессором.

— Но он все время спит,— сказал Анна, указывая на Корнелиуса.— Мне приходится сидеть и ждать, пока он проснется.

Жуйживьом повернулся к студенту-медику:

— А с вами что сегодня?

— Ничего, пройдет,— отвечал тот. Руки у него прыгали, как дверные молотки, глаза были обведены черными кругами в пол-лица.

— Вы что, не спали?

— Нет... Этот стул...

— Да ну? Что-то не так?

— Жопа с ручкой, а не стул,— злобно проговорил практикант.

Стул поворочался, скрипнул, и в палате снова дурно запахло. Взбешенный студент двинулся к кровати, но Жуйживьом остановил его, положив руку на плечо.

— Успокойтесь,— сказал он.

— Не могу больше!.. Он надо мной издевается!

— Вы давали ему судно?

— Давал. Но он ничего не желает делать. Только скрипит, трещит, валяется с температурой и изгаляется надо мной, как хочет.

— Держите себя в руках,— сказал Жуйживьом.— Сейчас мы им займемся. Ну а вы что хотите? — спросил он, повернувшись к Анне.

— Мне нужно поговорить с господином Шмонтом. По поводу подписанного контракта.

— Не рассказывайте мне ничего. Я все равно не в курсе.

— Разве господин Шмонт не делал вам никаких предложений?

— Господин Шмонт настолько болтлив, что я вынужден давать ему снотворное, и он спит дни и ночи напролет.

— Простите,— сказал практикант,— но это я даю ему снотворное.

— Хорошо,— сказал Жуйживьом.— Пусть так... Вы даете.

— Я знаю все его предложения,— заявил Анна.— Могу вам рассказать.

Жуйживьом посмотрел на ассистента и подал знак. Тот сунул руку в карман и встал у Анны за спиной.

— Правда? Как интересно,— сказал профессор.— Расскажите, расскажите.

Практикант извлек из кармана огромный шприц и вонзил иглу Анне в бицепс. Тот попытался было отбиваться, но моментально заснул.

— Куда мне его деть? — спросил практикант, с трудом поддерживая тяжелое тело.

— Решите сами,— бросил профессор.— Мне пора на обход. Шмонт, того гляди, проснется.

Практикант разжал объятия, и Анна рухнул на пол.

— Может, я его вместо стула на кровать?..— робко предложил он.

Стул ответил мерзким скрипучим хихиканьем.

— Оставьте стул в покое,— сказал Жуйживьом.— Если вы и дальше не прекратите на него бочку катить...

— Ладно,— пробурчал студент-медик,— тогда этот пусть, что ли, так и лежит?

— Дело ваше.

Профессор оправил белый халат, вышел мягким, пружинистым шагом и исчез в меандрах покрытого лаком коридора.

Оставшись в палате один, студент медленно приблизился к стулу и подарил его взглядом, исполненным ненависти. От усталости веки его ежеминутно смыкались. Вошла медсестра.

— Вы давали ему судно? — спросил практикант.

— Давала.

— Ну и что?

— У него глисты, оксиуры. Деревянные. А один раз он сам встал. Оказывается, он ходит иноходью. Ужасно неприятное зрелище. Я была просто в ужасе.

— Сейчас устрою ему осмотр,— сказал практикант.— Дайте мне чистую пеленку.

— Пожалуйста,— сказала медсестра.

У него даже не было сил запустить руку ей промеж ног, хотя она, как обычно, распахнула халатик. Медсестра обиженно сунула ему пеленку и удалилась, громыхая эмалированными лотками.

Студент уселся на кровать и отогнул простыню. Он старался не дышать, потому что стул скрипел и крякал почем зря.

8

Когда Жуйживьом вернулся с обхода, практикант спал мертвым сном у кровати Корнелиуса, перевалившись через бесчувственное тело Анны. Что-то неприметно изменилось на соседней койке. Профессор быстро откинул простыню. Там лежал стул Людовика Пятнадцатого с одеревеневшими ножками. Он постарел на двадцать лет. Холодный и окоченевший, он напоминал скорее мебель Людовика Шестнадцатого. Спинка его сделалась напряженно-прямой и красноречиво говорила о мучительной предсмертной агонии. Дерево имело теперь голубовато-белесый оттенок, что не укрылось от профессорского ока. Он обернулся и ударил студента ботинком в голову. Тот не шелохнулся, только захрапел. Профессор опустился рядом с ним на колени и стал его трясти.

— Эй, вы что, спите, что ли? Что вы тут натворили?

Практикант заворочался и приоткрыл мутный глаз.

— Что тут у вас произошло? — снова спросил Жуйживьом.

— Укололся...— промямлил практикант.— Тоже эвипан. Очень спать...

Он сомкнул веки и снова разразился храпом. Жуйживьом затряс его сильнее:

— А что со стулом?

Практикант вяло хихикнул:

— Стрихнин.

— Сукин вы сын! — сказал Жуйживьом.— Придется поставить его на место и сменить обивку.

Он встал с оскорбленным видом. Практикант спал блаженным сном, а вместе с ним Анна и Корнелиус. Жуйживьом зевнул, осторожно снял стул с кровати, поставил его на пол. Раздалось последнее, уже мертвое поскрипывание, и профессор опустился на сиденье. Голова его стала раскачиваться из стороны в сторону, и в тот момент, когда она нашла наконец удобное положение, кто-то постучал в дверь. Профессор не услышал. Тогда Анжель постучал снова и вошел в палату.

Жуйживьом обратил на него остекленевшие, потерявшие всякое выражение глаза.

— Никогда не сможет летать,— пробормотал он.

— Что вы говорите? — вежливо переспросил Анжель.

Профессор еле боролся со сном, но, сделав над собой неимоверно тяжкое усилие (весом в несколько килограммов), произнес:

— Никогда «Пинг-903» не сможет летать в этих условиях. Это говорю вам я, Жуйживьом!.. Здесь столько деревьев!

— А может быть, вам поехать с нами? — сказал Анжель.

— С кем это с вами?

— С Анной и со мной. И еще с Рошель.

— Куда это?

— В Эксопотамию.

Полог Морфея приподнялся над головой профессора, и бог сна собственноручно бросил ему на темечко камень. Жуйживьом окончательно проснулся.

— Пропади я пропадом, ведь это пустыня!

— Совершенно верно,— подтвердил Анжель.

— Так это же то, что мне нужно!

— Значит, вы согласны?

— Согласен на что, черт подери? — воскликнул профессор, переставая понимать что к чему.

— Как, разве господин Шмонт не предлагал вам работу?

— Господин Шмонт переел мне плешь,— сказал Жуйживьом.— Вот уже неделя, как я колю ему эвипан, чтобы он оставил меня в покое.

— Но ведь он хотел всего лишь предложить вам место в Эксопотамии: главный врач лагеря.

— Какого еще лагеря? И когда?

— Лагерь железнодорожного строительства там, в пустыне. Работы начнутся через месяц. А отправляться надо завтра. Едем мы с Анной и Рошель.

— Кто такая Рошель?

— Приятельница.

— Хорошенькая? — Жуйживьом выпрямил спину и подтянулся.

— Хорошенькая. Во всяком случае, мне так кажется.

— Значит, вы влюблены,— со знанием дела заметил профессор.

— Да нет, что вы! — запротестовал Анжель.— Она любит Анну.

— А вы любите ее?

— Да,— сознался Анжель.— И просто необходимо, чтобы Анна любил ее тоже, раз она его любит. Она была бы так счастлива!

Жуйживьом почесал нос.

— Это, конечно, ваше личное дело, но остерегайтесь подобных рассуждений. Значит, вы считаете, что там достаточно места для запуска «Пинга-903»?

— Там места сколько хотите.

— А вы почем знаете?

— Я инженер.

— Великолепно! — сказал профессор и нажал на кнопку у изголовья Корнелиуса.

— Потерпите немного,— сказал он Анжелю,— сейчас мы их разбудим.

— Но как?

— Очень просто,— объяснил Жуйживьом.— Уколоть как следует — и готово дело!

Он замолчал и погрузился в размышления.

— О чем вы думаете? — спросил Анжель.

— Я возьму с собой ассистента,— сказал профессор.— Очень честный молодой человек... — Ему вдруг стало неуютно сидеть на стуле, но он продолжал: — Надеюсь, у них найдется место и для Крюка. Это прекрасный техник.

— Разумеется, найдется,— сказал Анжель.

Вошла медсестра и принесла все необходимое для уколов.

Пассаж

А сейчас настало время остановиться на минуту, потому что даже в обычных главах напряжение все время будет нарастать. Могу объяснить почему: у нас уже имеется девушка, притом красавица. Будут еще и другие, а при таких обстоятельствах жди перемен.

Если бы не девушки, повествование, пожалуй, пошло бы веселей; но с девушками от грусти не уйти. Не то чтобы они любили грустить — во всяком случае, так они говорят,— да только грусть приходит сама, как только появляются девушки. То есть когда появляются красавицы. О дурнушках и говорить не стоит: достаточно того, что они существуют. Впрочем, все девушки все равно красавицы.

Одну из них будут звать Бронза, а другую — Лаванда. Имена остальных всплывут потом, но уже не в этой книге и не в этой истории.

Еще будет много разных людей, и все они соберутся в Эксопотамии, потому что это пустыня. Люди любят собираться в пустыне — там много места. Они пытаются и в пустыне делать то же, что делали в других местах, но все, что они делают, кажется им новым.

Такое уж у пустыни свойство — всему придавать новый смысл, особенно если предположить, что и солнце наделено там необычайными качествами.

О пустыне пишут довольно часто. Вот, например, Артур Эддингтон нашел способ, как вычислить, сколько львов там бродит. Для этого достаточно просеять весь песок через сито, и вы получите львов в чистом виде. Самый захватывающий момент — это когда сито надо трясти. Но результат того стоит: все львы в ваших руках. Правда, Эддингтон не учел, что вместе со львами в сите останутся камни. Впрочем, о камнях я и сам буду рассказывать время от времени.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Это весьма выгодный способ; благодаря малым затратам на производство и высокому качеству получаемых волокон он заслуживает особого внимания.

Рене Эскурру. «Бумага». Изд. Арман Колен, 1941, стр. 84

I

Проголодавшись, Атанагор Порфирогенет отложил свой археологический молоток, отставил старинный грецкий горшок, от которого старательно отколупывал слой за слоем, и, верный девизу «Sit tibi terra levis» [1], вошел в палатку. Он собирался пообедать.

Потом, для удобства читателя, он заполнил анкету, которую мы приводим здесь полностью, хотя и в напечатанном виде:

Высота: 1 м 65 см
Весомость: от силы 69 кг
Головной волосяной покров: с проседью
Нательный волосяной покров: слабо выражен
Возраст: неопределенный
Форма лица: вытянутая
Форма носа: непогрешимо прямая
Форма ушей: университетский тип в виде амфорной ручки
Вид снаружи: небрежный; карманы топорщатся и вечно набиты всякой дрянью, так что за словом далеко лезть не надо.
Особые приметы: ничего примечательного
Привычки: оседлые от переезда до переезда

Заполнив анкету, Атанагор порвал ее. Он не испытывал в ней ни малейшей нужды, ибо с юношеских лет предавался излюбленному сократовскому упражнению, которое, выражаясь примитивно, можно обозначить так:

γνῶθι σεαυόν [2].

Палатка Ата [3] была сделана из большого куска ткани особого раскроя и снаб-

[1] Пусть земля будет тебе легкой *(дословно, лат.)*.
[2] Познай самого себя *(греч.)*.
[3] Ата — в греческой мифологии дочь Зевса, олицетворяющая заблуждения, помрачения рассудка, здесь — сокращенное от Атанагора.

жена в нескольких удачно выбранных местах специальными отверстиями. Зиждилась она на крепких и надежных опорах (цилиндрической формы, выточенных из бальзового дерева).

Над первым полотнищем — настолько высоко, насколько следовало — было натянуто второе. Держалось оно посредством веревок и металлических кольев, пришпиливавших ткань к земле, что позволяло избежать неприятных звуков, производимых ветром. Блестящим исполнением этой замысловатой конструкции Атанагор был обязан Мартену Жирдье, своему ближайшему помощнику. У посетителей, которых здесь никогда не устанут ждать, замечательное сооружение может вызвать целую гамму эмоций — в зависимости от остроты и широты их перцептивных возможностей,— а также оставит простор для дальнейших переживаний. Палатка занимала площадь в шесть квадратных метров (с лишним, ибо приехала она из Америки, а англо-саксы, как известно, мерят в дюймах и футах то, что нормальные люди измеряют метрами; по этому поводу Атанагор любил говаривать: пора бы им уже перестать финтить с футами и сделать метр мэтром измерений). Кроме того, вокруг палатки еще оставалось достаточно свободного места.

Мартен Жирдье находился по соседству и был занят тем, что выпрямлял у своей лупы оправу, искореженную слишком сильным увеличением. Бросив все, он последовал за патроном в палатку. Мартен тоже заполнил анкету, но разорвал ее слишком быстро, так что нам не удалось в нее заглянуть. Впрочем, мы еще подкараулим его в каком-нибудь углу. А сейчас и так сразу видать, что волосы у него черные.

— Несите обед, Мартен,— спокойно сказал археолог. Он поддерживал в своем лагере железную дисциплину [1].

— Слушаюсь, учитель,— ответил Мартен без суетных претензий на оригинальность.

Он поставил поднос на стол и сел напротив Атанагора. Сотрапезники звонко стукнулись пятизубчатыми вилками, дружно вонзив их в коробку прессованного рагу, которую загодя открыл чернокожий слуга по имени Дюпон.

А чернокожий слуга по имени Дюпон хлопотал меж тем на кухне, готовя к ужину новую банку консервов. Для этого надо было отварить волокнистое мясо мумии в большой кастрюле, добавив все церемониальные приправы; огонь при этом следует старательно поддерживать в состоянии горения с помощью тайных побегов дикого винограда. Пока мясо варится, приготовьте припой; наполните жестяную форму пищей, сваренной в большой кастрюле, слив предварительно всю воду в морскую раковину; приварите крышку к банке, и вы получите великолепные консервы для вашего ужина.

Дюпон был сыном ремесленников, всю жизнь работавших не разгибая спины. Однажды он порешил обоих родителей, чтобы дать им возможность разогнуть наконец спину и отдохнуть от трудов праведных. Скромно прячась от назойливых почитателей, он повел уединенный образ жизни, всей душой предался Богу и надеялся на прижизненную канонизацию папой римским по примеру отца Фуко [2], благословившего миссионерство в Сахаре. Обычно Дюпон ходил выпятив грудь колесом; сейчас он сидел, скрючившись, перед огнем, пытаясь поддерживать его шаткое равновесие ворохом щепок. Ловкими ударами кривого ножа он накалывал лоснящихся от влаги каракатиц и, выпустив чернила в кормушку для свиней, топил их в кипящей минералогической воде. Ведро с водой было сделано из плотно подогнанных пластин тюльпанового дерева с красной сердцевиной. Очутившись в кипятке, каракатицы окрашивались в великолепный цвет индиго. Огонь отражался в дрожащей поверхности воды и отбрасывал на кухонный потолок блики, напоминавшие индийскую коноплю; только запах ее сильно походил на аромат лосьона «Патрель», который можно найти у каждого приличного парижского парикмахера, в том числе, конечно, у Андре и Гюстава.

Тень Дюпона металась по кухне резкими угловатыми скачками. Он ждал, пока Атанагор и Мартен закончат еду, чтобы убрать со стола.

Тем временем Мартен в форме диалога докладывал своему патрону о событиях текущего дня.

---

[1] Именно железная дисциплина создавала индуктированный ток, который, проходя через соленоиды, освещал лагерь. *(Прим. автора.)*

[2] Отец Фуко (Шарль Фуко, 1858—1916) — французский офицер, аристократ и повеса, ставший впоследствии исследователем Африки и миссионером в Сахаре.

— Что нового? — спросил Атанагор.

— Ничего, если вы хотите знать про саркофаг,— ответил Мартен.

— Какой саркофаг? — спросил Атанагор.

— То-то и оно, что никакой. Нет саркофага,— сказал Мартен.

— Но рыть продолжают?

— Продолжают. По всем направлениям.

— Как только сможем, выберем одно направление.

— Говорят, в наших краях появился человек,— сказал Мартен.

— Чем он занимается?

— Он приехал на девятьсот семьдесят пятом автобусе. Его зовут Амадис Дюдю.

— Ага,— вздохнул Атанагор,— им все же удалось подцепить пассажира.

— Он уже устроился,— сообщил Мартен.— Выбил себе письменный стол и строчит письма.

— У кого выбил?

— А кто его знает! Во всяком случае, работает не покладая рук.

— Любопытно.

— Вы про саркофаг?

— Слушайте, Мартен, неужели вы думаете, что мы каждый день будем находить по саркофагу?

— Но ведь мы ни одного еще не нашли...

— Это лишний раз доказывает, что встречаются они нечасто.

Мартен досадливо тряхнул головой.

— Место — дрянь. Пустая затея,— сказал он.

— Мы только начали,— заметил на это Атанагор.— Вы уж больно торопитесь.

— Простите, учитель,— сказал Мартен.

— Ничего страшного. За это вы мне напишете к вечеру двести строчек.

— Что именно, учитель?

— Переведите мне на греческий какое-нибудь леттристское стихотворение Изидора Изу [1]. Выберите, какое подлиннее.

Мартен отпихнул стул и вышел. Сидеть придется часов до семи вечера, не меньше... Это в такую-то жару...

Закончив обед, Атанагор покинул палатку и снова взялся за молоток: ему предстояло отбить лишние слои с внутренней поверхности грецкого горшка. Атанагору хотелось закончить побыстрее: личность вышеназванного Амадиса Дюдю сильно заинтересовала археолога.

Горшок представлял собой высокую посудину из грубой глины; на дне его был изображен глаз, который наполовину скрывали позднейшие известковые и кремнистые наслоения. Аккуратными ударами молотка Атанагор сбил каменные образования, высвободив радужку и зрачок. Обозначился красивый голубой глаз, несколько суровый, с изящно загнутыми ресницами. Атанагор старался смотреть в другую сторону, чтобы уклониться от настойчивого вопроса, сквозившего во взгляде керамического соглядатая. Закончив расчистку, археолог наполнил горшок песком, дабы не видеть больше глаза, перевернул его вверх дном и несколькими ударами молотка разбил на мелкие кусочки. Затем он собрал осколки. Теперь горшок занимал мало места и без труда мог поместиться в один из стандартных ящиков, в которых археолог хранил свою коллекцию. Именно такой ящичек Атанагор извлек из кармана.

Покончив с горшком, он распрямился и зашагал в том направлении, где, по его мнению, находился Амадис Дюдю. Если последний проявит к Атанагору расположение, значит, он заслуживает внимания. Безошибочное чутье, которому Атанагор всегда доверял, и теперь привело его к нужному месту. Амадис Дюдю сидел за письменным столом и звонил по телефону. Под левым его локтем, поверх отощавшей папки с писчей бумагой, лежал опившийся бювар со следами интенсивной работы; рядом высилась стопка готовых к отправке писем; в мусорной корзине доживала свой век уже прочитанная корреспонденция.

— Вы не знаете, где здесь можно пообедать? — спросил Дюдю Атанагора, заслонив трубку рукой.

[1] Изидор Изу (род. в 1925 г.) французский поэт румынского происхождения, основоположник «леттризма», литературного движения, возникшего в 40-е годы.

— Вы слишком рьяно работаете,— сказал археолог.— Под таким солнцем голова скоро варить перестанет.

— Ну что вы, прелестное место,— заверил его Амадис.— И столько всего надо сделать.

— А где вы нашли письменный стол?

— Письменный стол найти нетрудно. Я без стола не могу работать.

— Вы вправду приехали на девятьсот семьдесят пятом?

Должно быть, собеседник Дюдю потерял терпение, потому что трубка принялась извиваться. Недобро улыбнувшись, Амадис выхватил из пенала булавку и воткнул ее в одну из черных дырочек. Трубка перестала корчиться, и Дюдю смог положить ее на рычаг.

— Так что вы говорили? — спросил Амадис.

— Я говорил: вы действительно приехали на девятьсот семьдесят пятом?

— Да, это очень удобно. Я каждый день на нем езжу.

— Я вас никогда здесь раньше не видел.

— Я не всегда езжу именно на этом девятьсот семьдесят пятом. И потом, как я уже сказал, здесь очень много дел. Попутный вопрос: не подскажете ли вы, где можно пообедать?

— Возможно, здесь есть какой-нибудь ресторан,— предположил Атанагор.— Откровенно говоря, со дня моего приезда я ни разу об этом не задумывался. Еду я привез с собой. И потом, всегда можно наудить рыбы в Гиглионе.

— Вы давно здесь?

— Пять лет,— сказал археолог.

— Значит, вы хорошо знаете эти края?

— Неплохо. Правда, я больше работаю под землей. Там, знаете ли, такие силурийско-девонские складки и всякие чудеса. Еще мне нравятся некоторые участки плейстоцена. Я нашел там город — Глюр назывался.

— Никогда не слышал,— сказал Амадис.— А что сверху?

— Это надо спросить у Мартена. Он мой фактотум.

— Он педераст? — спросил Амадис.

— Педераст,— ответил Атанагор.— Но он любит Дюпона.

— Меня это не касается. Тем хуже для Дюпона.

— Вы заставите его страдать,— сказал Атанагор,— и он бросит мне готовить.

— Ну и что, ведь есть же ресторан.

— Вы в этом уверены?

— Идите за мной,— сказал Дюдю.— Я приведу вас куда надо.

Он поднялся, задвинул стул. В желтом песке мебель крепко стояла на своих ногах.

— Хорошо, что песок. Чистенько,— заметил Амадис.— Мне здесь нравится. А что, ветра у вас никогда не бывает?

— Никогда,— ответил археолог.

— Пошли спустимся по этой дюне. Там за ней ресторан.

Из песка торчала длинная жесткая трава зеленого цвета. Ее глянцевые стебли отбрасывали узкие тени. Подошвы путников касались земли совсем бесшумно и оставляли круглые, конусообразные следы.

— Я становлюсь совсем другим человеком,— сказал Амадис.— Тут воздух целебный.

— Нет тут никакого воздуха,— заметил Атанагор.

— Это значительно упрощает дело. До приезда сюда у меня бывали приступы неуверенности в себе.

— Насколько я понимаю, приступы кончились,— сказал Атанагор.— Сколько вам лет?

— Точную цифру я назвать не могу,— признал Дюдю.— Первые свои годы я не помню, а повторять за другими то, во что сам не очень верю, просто не хочу. Во всяком случае, я еще молод.

— Я бы дал вам двадцать восемь,— сказал Атанагор.

— Благодарю, но на что они мне? Отдайте кому-нибудь еще, кому это доставит удовольствие.

— Что ж, пусть так,— сказал Атанагор, обидевшись.

Дюна резко спускалась вниз, а за ней, заслоняя охристый горизонт, уже

высилась другая. По ее склонам горбились маленькие холмики, образовывающие ущелья и перевалы, через которые без тени сомнения напористо шагал Амадис.

— Далековато от моей палатки,— заметил Ата.

— Ничего страшного. Обратно пойдете по следам,— сказал Дюдю.

— А если мы сейчас идем не туда?

— Значит, заблудитесь на обратном пути, вот и все.

— Что-то мне это не нравится.

— Не бойтесь. Я знаю куда идти. Вон, смотрите вперед.

За высокой дюной Атанагор заметил итальянский ресторан, владельцем которого значился Жозеф Баррицоне — друзья называли его просто Пиппо. Красные шторы весело сверкали на фоне деревянных лакированных стен. Заметим для порядка, что лак был белым, а фундамент сложен из светлого кирпича. Перед домом и на окнах, в покрытых глазурью глиняных горшках, круглый год цвели гепатроли.

— Я думаю, там недурно,— сказал Амадис.— Должно быть, у них и комнаты есть. Надо будет перенести туда письменный стол.

— Вы намерены у нас остаться? — спросил Ата.

— Мы будем строить здесь железную дорогу. Я уже написал письмо на фирму. Эта мысль пришла мне в голову нынче утром.

— Но ведь здесь никто никуда не ездит,— сказал Атанагор.

— А вы считаете, что для железной дороги непременно нужны пассажиры?

— Да в общем нет, наверно...— растерянно проговорил археолог.

— Нет пассажиров — и не надо,— сказал Амадис.— Дольше прослужит. Значит, в расчетах по эксплуатации можно опустить статью об амортизации материала. Представляете?

— Но ведь это будет исключительно бумажная работа.

— Что вы смыслите в делах? — отрезал Амадис.

— Ничего,— сказал Атанагор.— Я археолог.

— Тогда пошли обедать.

— Я уже обедал.

— В вашем возрасте,— назидательно заметил Дюдю,— можно обедать и дважды.

Они подошли к стеклянным дверям ресторана. Сквозь стену первого этажа, которая с фасада тоже была сплошь из стекла, виднелись ряды чистых столиков и белых кожаных стульев.

Амадис толкнул створку, и на двери судорожно задергался колокольчик. Справа за длинной стойкой восседал Жозеф Баррицоне (или просто Пиппо) и читал газетные заголовки. На нем был новехонький белый пиджак и черные брюки. Ворот рубашки Пиппо оставлял расстегнутым — как-никак стояла жара.

— Вы быть стригарэ ла барба в этот утро? — спросил он, обращаясь к Амадису.

— Было стригарэ,— ответил тот, хорошо понимавший ниццианское наречие, хотя и не знавший тамошней орфографии.

— Бенэ! — констатировал Пиппо.— Тогда обед?

— Си, давайте обед. Что у вас есть?

— Все, что только есть найти на этой тэрра и в дипломатический ресторанте,— отвечал Пиппо с сильнейшим итальянским акцентом.

— Суп есть? Минестронэ,— сказал Амадис.

— Есть минестронэ. Есть еще спагетти а-ла-болоньезэ.

— Аванти! — провозгласил Атанагор, чтобы не менять тона беседы.

Пиппо исчез в дверях кухни, а Амадис выбрал столик у окна и сел.

— Я бы хотел встретиться с вашим фактотумом,— сказал он.— Или с вашим поваром. Как вам будет угодно.

— Ну, это вы еще успеете.

— Не уверен. У меня работы невпроворот. Сюда скоро понаедет тьма народу.

— Прелестно! — сказал Атанагор.— Вот заживем! И рауты будут?

— Что вы называете раутами?

— Это такое светское собрание,— пояснил археолог.

— О чем вы говорите! Какие рауты! — осадил его Дюдю.— На них просто не останется времени.

— Эка жалость! — вздохнул Атанагор. Он был разочарован. Сняв очки, он поплевал на стекла и принялся их протирать.

II

Заседание

Этот список можно дополнить сульфатом аммония, высушенной кровью и фекальными удобрениями.

Ив Анри. «Волокнистые растения». Изд. Арман Колен, 1924

1

Первым, как всегда, явился привратник. Заседание Правления было назначено на половину одиннадцатого. В обязанности привратника входило: отпереть зал, расставить пепельницы по соседству с папками для бумаг, разложить порнографические открытки, побрызгать там-сям дезинфицирующим раствором (потому что многие советники страдали изнурительными и очень заразными заболеваниями), расставить стулья так, чтобы спинки образовывали две идеально параллельные линии по обе стороны овального стола. Еще едва только рассвело; но привратник хромал и вынужден был рассчитывать время с большим запасом. Одет он был в старый щеголеватый костюм из саржи темно-зеленого цвета. На шее сверкала позолоченная цепь с гравированной табличкой, на которой, возникни такое желание, можно было прочесть его имя. Передвигался привратник скачками, и его парализованная конечность описывала в воздухе восьмерку при каждом подскоке.

Вооружившись кривым ключом, он переместился в дальний угол соседней с залом комнаты, где располагался шкаф, хранивший массу ценных вещей. Привратник очень торопился и совершал размашистые прыжки. Из-за панели шкафа выглянули полки с кокетливыми фестонами из розовой бумаги, которую в незапамятные времена расписывал сам Леонардо да Винчи. Благопристойной горкой высились пепельницы; такой порядок был не обязателен, но желателен, ибо соответствовал наложившему на все отпечаток духу строгости. Порнографические фотографии с натурщицами во всех видах (некоторые изображения даже раскрашены) были аккуратно разложены по специальным конвертам. Привратник достаточно хорошо изучил вкусы всех членов Правления. В стороне лежал ничем не примечательный конвертик с открытками, которым отдавал предпочтение он сам. Улыбнувшись одними уголками глаз, привратник потянулся расстегнуть ширинку, но, нащупав грустно поникший механизм, потемнел лицом и еще сильнее сморщился. Он вспомнил, что его день пока не настал и что ничего серьезного в ближайшие двое суток у себя в штанах он не найдет. Конечно, в его возрасте и это неплохо, но он живо помнил те времена, когда мог предаваться любимому занятию аж два раза в неделю. Приятные воспоминания вернули ему бодрое расположение духа, и в слипшихся уголках его рта размером не более куриного сфинктера обозначилось подобие улыбки, а в тусклых глазах замелькал гаденький серый огонек.

Привратник взял из шкафа шесть пепельниц и погрузил их на японский поднос со стеклянным дном — он всегда пользовался им в подобных случаях. Потом, ориентируясь по перечню, пришпиленному в глубине шкафа, начал старательно подбирать открытки из расчета четыре штуки на каждого члена Правления. Он вспомнил, не проверяя по бумажке, что президент Правления отдавал предпочтение циклическим группам с двойным контактом: следствие углубленного изучения химии. Привратник с восхищением посмотрел на верхнюю фотографию — прямотаки акробатический трюк. Не мешкая более, он заговорщически покивал головой и рассортировал открытки для остальных заседателей.

2

Барон Урсус де Жан-Полен [1] ехал в автомобиле к месту заседания.

[1] Сатирический намек на французского писателя и критика Жана Полана (1884—1968), выступавшего против присуждения премии «Плеяды» роману Б. Виана «Пена дней».

3

Трое заседателей явились одновременно к десяти пятнадцати; привратник почтительно их приветствовал. У всех троих были легкие портфели из свиной кожи, чуть тронутые патиной, костюмы с двубортным пиджаком и жилетом «фантези», правда, однотонным и подобранным в цвет костюма, а также шляпы «болеро». Разговаривали заседатели очень серьезно, употребляя исключительно твердые и решительные интонации, высоко задирая подбородки и жестикулируя правой рукой, свободной от держания портфеля. Не предвосхищая дальнейших событий, мы можем сразу отметить, что два порфеля из трех открывались при помощи застежки «молния», занимавшей три грани портфеля, в то время как четвертая образовывала стык двух створок. Третий портфель был с ручкой и обыкновенной застежкой, что заставляло его владельца, заливаясь краской стыда, напоминать каждые три минуты о том, что сегодня же он непременно купит новый, точно такой, как предыдущие два. И только в силу этих заверений хозяева портфелей на молнии продолжали обмениваться со своим собеседником авторитетными интонациями.

4

Ожидалось прибытие еще двух членов Правления, не считая барона Урсуса де Жан-Полена, который ехал в автомобиле к месту заседания.

Один из ожидаемых, Агат Марион, вошел в здание в десять часов двадцать семь минут. Он остановился в дверях, обернулся и при свете, проникающем с улицы, стал внимательно разглядывать носок своего ботинка, который оцарапал ему какой-то бедолага. На лоснящейся коже остался рубец, а задравшийся треугольный лоскуток отбрасывал на ботинок тень неожиданной конфигурации, потому что ей приходилось считаться с формой предмета. Угнетающее зрелище. Агат Марион содрогнулся всем телом, но тут же движением плеч стряхнул с себя мурашки, которые забегали у него промеж лопаток. Он развернулся на сто восемьдесят градусов и продолжил поступательное движение, бросив на ходу «здрасьте» привратнику. Вскоре его первая нога перешагнула почти эфемерную границу зала заседаний. До установленного регламентом часа оставалась одна минута.

5

Барон Урсус де Жан-Полен следовал за ним на расстоянии трех метров.

6

Последний заседатель опаздывал, и заседание началось без него. Присутствующих было пятеро, плюс привратник, плюс тот, кто еще не пришел, но которого нельзя было не считать,— итак, всего семеро. Правда, если округлить... К сожалению, это невозможно, потому что для чисел меньше десяти есть только одна круглая цифра: ноль. А ноль — это совсем не то, что семь.

— Господа, позвольте считать заседание открытым. Предоставляю слово докладчику, который гораздо лучше, нежели я сам, расскажет вам об успехах нашего предприятия со времени предыдущего заседания.

— Господа, напомню вам, что наше Общество, созданное по инициативе технического директора Амадиса Дюдю, имеет целью строительство и эксплуатацию железнодорожной магистрали в Эксопотамии.

— Я придерживаюсь на этот счет другого мнения.

— Да вовсе нет, постарайтесь вспомнить.

— Ах да! Я перепутал!

— Господа, со времени нашего последнего заседания мы получили от господина Дюдю ряд серьезных рассмотрений, которые техническое бюро нашего Общества досконально изучило. Теперь мы стоим перед необходимостью срочно отправить на помощь техническому директору опытный руководящий персонал и технических исполнителей.

— На прошлом заседании секретарю было поручено укомплектовать весь штат персонала. Сейчас он нам расскажет о результатах своей деятельности.

— Господа, я добился участия в нашем предприятии одного из самых видных специалистов в области железнодорожного строительства.

— Я придерживаюсь на этот счет другого мнения.

— Погодите, он совсем не об этом!

— Ах, да-да!

— Итак, я пригласил Корнелиуса Шмонта.

— Как, и все?

— К несчастью, Корнелиус Шмонт стал жертвой автомобильной аварии. И все же благодаря неустанным поискам за короткий период времени мне удалось заменить его другим блистательным инженером. Более того, убив одним выстрелом двух зайцев и одну утку, я нанял на работу еще одного талантливого инженера и хорошенькую секретаршу. Посмотрите внимательно на карточку № 4 в комплекте господина Агата Мариона. (Это ничего, что она немного истрепалась в процессе пользования.) Женский профиль в левом верхнем углу очень напоминает профиль вышеозначенной секретарши.

— Господа, передайте же карточку!

— Я придерживаюсь на этот счет другого мнения.

— Из-за ваших бесконечных замечаний мы теряем драгоценное время.

— Извините, я думал о другом.

— А где технические исполнители?

— Дело как будто пошло на лад.

— Господа, в тот же день я нанял на работу врача и студента-медика. Их присутствие будет просто необходимо, когда несчастные случаи на производстве достигнут настоящего размаха.

— Я придерживаюсь на этот счет другого мнения.

— А технические исполнители?

— В силу соглашения, подписанного на месте господином Дюдю, питание и расселение руководящего технического персонала берет на себя владелец ресторана Баррицоне.

— Господа, уже сейчас можно сказать, что секретарь добросовестно выполнил свою работу. Кроме того, я имею вам сообщить, что один из моих племянников, Робер Гундос де Хватай, просто создан для того, чтобы взять на себя функции коммерческого директора. Я предлагаю дать ему возможность самому назначить себе оклад и самостоятельно подыскать секретаршу.

— Превосходно.

— Что касается технических исполнителей, я полагаю, им можно назначить обычную зарплату, добавив к ней подъемные.

— Я придерживаюсь на этот счет другого мнения.

— Теперь он, пожалуй, прав.

— Что такое техник-специалист? Никаких тут особых талантов не надо. Применяй себе на практике то, что в тебя вдолбили,— и дело с концом.

— Не платить им подъемных!

— Нет, кое-что заплатить все же следует.

— Тут надо подумать.

— Господа, заседание окончено.

— Отдайте мою карточку!

— Но мы же ничего не решили с техниками.

— Обсудим на следующем заседании.

— Я придерживаюсь на этот счет другого мнения.

Заседатели как попало повскакивали со своих мест и далеко не стройными рядами покинули зал.

Привратник раскланялся с ними у выхода и, волоча хромую конечность, медленно вернулся в зал испустившего дух заседания. Одинокие сигаретные дымки смердели на поле брани.

III

Так уж заведено в природе, что маленькие дети, равно как и детеныши животных, начинают сосать все, что им попадет в рот; главное — научить их сосать в нужном месте.

Лорд Рэглан. «Табу инцеста». Изд. Пайо, 1935, стр. 29

Анна обнаружил, что чемодан получился довольно увесистым. Стоило ли обременять себя таким количеством вещей сомнительной важности — вот в чем вопрос? Анна не стал на него отвечать — из чистого злорадства — и в результате оступился на последней ступеньке натертой лестницы. Нога его скользнула вперед, а правая рука взметнулась вверх и отправила чемодан в стеклянную арку над входной дверью. Молниеносно вскочив, Анна успел выбежать на улицу и подхватить чемодан на лету. Поймав свой тяжеленный саквояж, он пошатнулся, натужился, шея его вздулась, и от воротника рубашки отлетела лучистая металлическая пуговка. (Эту рубашку он купил тому уже лет пять на какой-то благотворительной ярмарке.) Узел галстука мгновенно ослаб и распустился. Все надо было переделывать. Анна подобрал чемодан, напряг последние силы и бросил его через разбитую арку обратно; затем, пятясь, взбежал на крыльцо, проскочил в дверь и поймал чемодан на нижней площадке; задом наперед он влетел на первые десять ступенек и тут только облегченно вздохнул: галстук снова плотно облегал шею, а пуговка ласково щекотала кадык.

Во второй раз Анна вышел из дома вполне благополучно и повернул в ту сторону, куда вел его тротуар.

Рошель тоже готовилась покинуть свою квартиру. Она очень спешила, надеясь примчаться на вокзал до того, как кондуктор нажмет на спусковой крючок сигнального пистолета. В целях экономии на государственных железнодорожных линиях использовали старый подмоченный порох, а чтобы выстрел прозвучал приблизительно в нужное время, на гашетку давили за полчаса до намеченного отправления. К несчастью, иногда пистолет выстреливал сразу. Рошель потратила уйму времени на то, чтобы одеться в дорогу. Результат вышел совершенно ошеломляющий.

Между полами распахнутого легкого пальто из ворсистой кудрявой шерсти проглядывало очень просто скроенное платье цвета молодой липы. Икры были затянуты в тонкие нейлоновые чулки, а изящная ступня уютно пряталась в башмачок из рыжей кожи с металлической отделкой по краю. Чемодан следовал за ней на некотором отдалении; его тащил младший братишка. Он добровольно вызвался проводить сестру, и в благодарность она доверила ему столь ответственное задание.

Неподалеку от дома зиял черный зев метро, засасывающий неосторожных пешеходов. Время от времени происходило обратное движение, и чудовище натужно изрыгало горстку бледных, помятых пассажиров, еще хранивших на одежде тошнотворный запах его утробы.

Рошель повертела головой в надежде найти такси: самая мысль о метро повергала девушку в ужас. Только что на ее глазах страшная пасть, причмокивая, всосала пятерых, трое из которых были деревенскими, что явствовало из их тяжелых корзин с гусями. Рошель зажмурилась, пытаясь совладать с собой. На улице не наблюдалось ни одного такси. Поток различного рода автомобилей и -бусов стекал по покатой мостовой, вызывая неодолимое головокружение. Окончательно утратив надежду, Рошель уже готова была отдаться во власть роковой лестницы, но братишка подоспел вовремя и схватил ее за подол. Платье поднялось выше колен, обнажив дивные ляжки, и несколько человек упало без чувств. Рошель отодвинулась от опасной ступеньки и благодарно поцеловала брата. К счастью, случилось так, что тело одного из упавших чуть не угодило под колеса пустого такси. Шины побледнели, машина стала.

Рошель кинулась к таксисту, протянула ему адрес, подхватила на лету чемодан, брошенный братом. Мальчик глядел ей вслед, а она посылала ему воздушные поцелуи сквозь заднее стекло, на котором болтался макабровый плюшевый мопс.

Железнодорожные билеты, купленные Анжелем накануне, были отмечены рядом важных обозначений. К тому же все, что сообщили Рошель по очереди пятеро

служащих, странным образом совпало с тем, что она прочла в расписании и на указателях. Так она без особого труда нашла свое купе. Анна уже был там и устраивал чемодан в багажную сетку; по лицу его струился пот. Он успел снять пиджак, и Рошель имела возможность полюбоваться его могучими бицепсами, выпиравшими сквозь полосатый поплин шерстяной рубашки. Анна поздоровался, поцеловал ей руку, и глаза его радостно заблестели.

— Как замечательно, что вы пришли вовремя!

— Я всегда прихожу вовремя,— сказала Рошель.

— Это странно, ведь вы не привыкли работать.

— О, я надеюсь, что привыкну нескоро.

Она все еще держала в руке чемодан, и Анна поспешил помочь ей:

— Простите, я загляделся на вас...

Рошель улыбнулась: оправдание пришлось ей по вкусу.

— Анна...

— Да?

— Мы долго будем путешествовать?

— Очень долго. Нам надо пересесть на корабль, потом снова на поезд, а потом на машине ехать через пустыню.

— Это просто великолепно! — сказала Рошель.

— Это более чем великолепно.

Они сели рядом.

— Анжель уже пришел,— сказал Анна.

— А-а!

— Он отправился купить чего-нибудь почитать и поесть.

— Как можно думать о еде, когда мы наконец вместе?..— тихо проговорила Рошель.

— На него это действует несколько иначе, чем на нас.

— Он очень хороший,— сказала Рошель,— но совсем не поэтичный.

— Анжель немножко влюблен в вас.

— В таком случае он не должен думать о еде.

— Боюсь, он не ради себя об этом думает,— сказал Анна.— Хотя, может, и ради себя. Не знаю.

— А я ни о чем вообще думать не могу, кроме как об этом путешествии... с вами....

— Рошель...— сказал Анна совсем тихо.

— Анна...

— Мне так хочется вас поцеловать...

Рошель ничего не ответила, но слегка отстранилась.

— Вы все испортите. Вы такой же, как остальные мужчины.

— А вам бы понравилось, если бы я сказал, что вы меня совсем не волнуете?

— Вы не поэтичны...— в голосе ее прозвучало разочарование.

— Невозможно быть поэтичным с такой красавицей,— сказал Анна.

— Значит, вы готовы целоваться с любой смазливой дурой? Выходит, я не ошиблась.

— Не будьте такой, Рошель.

— Какой такой?

— Букой.

Она снова придвинулась, но дуться не перестала.

— Я не бука.

— Вы прелесть.

На самом деле Рошель только и ждала, чтобы Анна ее поцеловал, но хотела сперва подразнить его. Нельзя же позволять все с первого раза.

Анна не прикасался к ней, боясь перегнуть палку. Лучше повременить, успеется. К тому же она такая чувствительная, такая нежная. Такая юная. И очень трогательная... Нельзя целовать ее в губы, это будет выглядеть вульгарно. Надо просто приласкать ее, коснуться губами виска, может быть, глаз. Где-нибудь поближе к уху. Но сначала надо обнять ее за талию.

— И ничуть я не прелесть,— Рошель сделала вид, что собирается сбросить руку Анны.

Он почти не настаивал. Если бы она и впрямь хотела его оттолкнуть, она бы добилась этого без малейшего усилия.

— Я вам неприятен? — спросил Анна.

Но Рошель не хотела его отталкивать.

— Почему неприятен? Просто вы такой же, как и все остальные.

— Это неправда.

— Я наперед знаю, что вы будете делать.

— Ошибаетесь. Я не буду вас целовать, если вы сами этого не хотите.

Рошель ничего не сказала и опустила глаза. Губы Анны почти касались ее волос, он шептал ей что-то в самое ухо; она чувствовала его дыхание, легкое и осторожное... И снова отстранилась.

Анне это не понравилось. Ведь тогда, в машине, она позволила целовать себя взасос. И не ломалась. А тут вдруг: не подступись. Не давить же людей всякий раз, когда хочешь поцеловать девицу... Чтобы привести ее в боевую готовность. Он нарочно придвинулся ближе, запрокинул ей голову и запечатлел поцелуй на розовой щечке. Почти воздушный поцелуй. Рошель изобразила некоторое сопротивление, но быстро сдалась.

— Не так,— прошептала она.

— Я побоялся сделать вам неприятно,— еле слышно выдохнул Анна.

Рошель повернула голову и подставила ему губы. И даже укусила, играя. Ну и что, что он такой большой. Все равно не мешает поучить его немного. Она услышала шорох в дверях и, не меняя положения, скосила глаза. В коридоре мелькнула удаляющаяся спина Анжеля.

Рошель гладила Анну по волосам.

IV

...Этими штуковинами я впредь буду пользоваться реже, а то от них с души воротит.

Борис Виан. «Неопубликованные мысли»

Ехал по дороге профессор Жуйживьом. Ехал на собственной машине, потому что отправился в Эксопотамию своим ходом. Воплощение этого хода граничило с невозможным, бросая вызов самым смелым описаниям. Одно из них подняло перчатку, и вот что из этого вышло:

справа спереди — колесо,
спереди слева — колесо,
слева сзади — колесо,
сзади справа — колесо,

а посредине, в плоскости, расположенной под углом в сорок пять градусов к основной плоскости, заданной центрами трех колес (и в которой временами оказывалось четвертое колесо тоже), находилось пятое, которое сам Жуйживьом именовал рулем. Под действием последнего предыдущие четыре временами действовали вполне слаженно, что, впрочем, не удивительно.

Внутри передвижного устройства между чугунными и листовыми перегородками крутилось великое множество других колес, назвать точное количество которых невозможно, не перепачкав пальцы смазкой.

В числе прочих составляющих можно было отметить также железо, ткань, фары, масло, казенное горючее, радиатор, задний (так сказать) мост, пищащие поршни, шатуны, коленчатый вал, черт знает что еще и студента-медика, который сидел подле Жуйживьома и читал одну очень хорошую книжку: «Жизнь Жюля Гуффе» [1], написанную Жаком Лустало и Никола. Диковинное хитроумное устройство, созданное на основе корнерезки, ежесекундно фиксировало скорость всего механизма в целом, а Жуйживьом следил за стрелкой, с ним соединенной.

— Нехило шпарим,— сказал практикант, поднимая глаза. Он отложил книгу в сторону и достал из кармана другую.

— Это точно,— согласился Жуйживьом. Его желтая рубашка радостно сияла в лучах солнца, заглядывавшего им прямо в лицо.

[1] Жюль Гуффе (1807—1877) — известный французский кулинар, автор популярной поваренной книги.

— К вечеру будем,— сказал практикант, быстро пролистывая новую книжку.

— Неизвестно...— ответил Жуйживьом.— Пока что мы еще далеко. А препятствия могут умножаться.

— Умножаться на что? — спросил практикант.

— Ни на что.

— Тогда их не будет вовсе,— сказал практикант,— потому что если что-то помножить на ничто, то ничто и получится.

— Вы мне осточертели,— сказал Жуйживьом.— Где вы это вычитали?

— В этой книге,— сказал практикант, показывая «Курс арифметики» Браше и Дюмарке.

Жуйживьом выхватил книгу из рук студента и вышвырнул ее вон. «Арифметика» шлепнулась в кювет, разбрасывая вокруг фонтаны светящихся искр.

— Ну вот,— захныкал практикант,— Браше и Дюмарке теперь погибли.— Он горько заплакал.

— Ничего, не впервой,— сказал Жуйживьом.

— А вот и нет! Браше и Дюмарке... их все любят. Я знаю, вы нарочно на них порчу наводите. Между прочим, это подсудное дело.

— А колоть стрихнин ни в чем не повинному стулу — это не подсудное дело? — строго спросил профессор.

— Это был не стрихнин, – зарыдал практикант.— Это была метиленовая синь.

— Да какая, к черту, разница! — рявкнул Жуйживьом.— И вообще, кончайте меня доставать, а не то вам же хуже будет. Учтите, я очень злой,— и он засмеялся.

— Это правда, что вы злой,— сказал практикант, хлюпая носом и утираясь рукавом.— Вы старый, гнусный тип.

— Я умышленно стал таким,— сказал Жуйживьом.— Это месть. Потому что Хлоя умерла [1].

— О, постарайтесь не думать об этом,— сказал практикант.

— Не могу не думать.

— Тогда почему вы всегда носите желтые рубашки?

— Не ваше дело,— сказал Жуйживьом.— Пятнадцать раз на дню я повторяю одно и то же, а вы опять за свое.

— Терпеть не могу эти желтые рубашки. С ума можно спятить — смотреть на них с утра до вечера.

— Лично я их не вижу,— сказал Жуйживьом.

— Вы не видите. А мне каково?

— На вас мне плевать. Вы ведь подписали контракт, не так ли?

— Это что, шантаж?

— Да нет, какой еще шантаж! По правде говоря, вы мне нужны.

— Медицине от меня никакой пользы.

— Это точно: пользы никакой, один только вред,— согласился Жуйживьом.— Но мне нужен крепкий парень крутить пропеллер на авиамоделях.

— Крутить пропеллер несложно,— сказал практикант.— Вы могли бы взять кого угодно. Мотор обычно заводится сполоборота.

— Вы так думаете? Когда имеешь дело с двигателем внутреннего сгорания — согласен, сполоборота. Но я использую также каучуковые двигатели. Знаете, что это такое,— завести каучуковый двигатель в три тысячи оборотов?

Практикант заерзал на своем сиденье.

— Есть разные способы,— сказал он.— Дрелью это раз плюнуть.

— Дрелью нельзя. Пропеллер сломается.

Студент насупился, забившись в кресло. Плакать он уже перестал и только бурчал что-то.

— Чего? — спросил Жуйживьом.

— Ничего.

— Из ничего и выходит ничего,— заметил профессор.

Видя, что практикант отвернулся к окну и притворяется спящим, Жуйживьом снова засмеялся, прибавил газу и запел что-то веселое.

Солнце поменяло положение, и лучи его косо падали на автомобиль. Стороннему наблюдателю, помещенному в адекватные условия, машина могла бы показаться сияющей точкой на черном фоне — так умело Жуйживьом претворял в жизнь принципы ультрамикроскопии.

[1] Хлоя, как и доктор Жуйживьом,— герои романа Б. Виана «Пена дней» (1945)

V

Корабль шел вдоль дамбы, набирая скорость и готовясь покинуть бухту. Он был доверху набит оборудованием и людьми для Эксопотамии и почти садился на дно, оказываясь в провале меж двух волн. Рошель, Анна и Анжель занимали на его борту три неудобные каюты. Коммерческий директор Робер Гундос де Хватай пока что воздержался от путешествия и должен был прибыть в Эксопотамию, когда строительство дороги будет закончено; в настоящее время он получал жалованье, не меняя своего местонахождения.

Капитан метался по нижней палубе, ища рупор для отдания команд. Ему никак не удавалось прибрать его к рукам. Если корабль, не получив никаких команд, будет идти прежним курсом, то неизбежно разобьется о риф Волчок, известный своим коварством. Наконец капитан увидел рупор за сложенным канатом: тот притаился в засаде и ожидал, чтобы какая-нибудь чайка подлетела поближе. Схватив беглеца, капитан грузно затопал по коридору, вскарабкался на лестницу, оттуда на палубу и в конце концов очутился на капитанском мостике. Он успел как раз вовремя: корабль подходил к Волчку.

Высокие пенистые волны бежали одна за другой. Корабль медленно скользил по воде, правда, не в том направлении, куда держал курс, что не способствовало увеличению скорости. Свежий ветер, пропитанный запахом йода и ихневмонов, метался в закоулках ушной раковины рулевого, производя звук, близкий к ре диез и нежный, как пение кулика.

Экипаж не спеша переваривал суп из морских гребешков, плавников а также лап и хвостов; всю эту снедь капитан получал от правительства по специальному разрешению. Беспечные рыбы то и дело бились головой о корабельную обшивку, вызывая неослабный интерес у некоторых пассажиров, путешествовавших по морю впервые. В их числе оказались Олив и Дидиш. Олив была дочерью Марена, а Дидиш — сыном Карло. Марен и Карло составляли исполнительную бригаду, набранную Компанией для практического осуществления строительных работ. Были у технических исполнителей и другие дети, но они останутся до поры до времени где-нибудь в меандрах корабля, занятые созерцанием всевозможных предметов, являющихся частью корабля либо их самих. Сопровождал технических исполнителей старший мастер по имени Арлан. Большая сволочь.

Форштевень мял волны, как пестик — пюре: торговое назначение судна подразумевало весьма умеренную скорость. На зрителей тем не менее корабль производил элегантное впечатление — вероятно, вследствие того, что вода в море соленая, а соль, известное дело, очищает. Чайки, как водится, галдели не переставая и забавлялись, описывая вокруг грот-мачты крутые виражи. Затем они уселись рядком на четвертой рее — что вверху слева — полюбоваться, как баклан будет совершать пробный полет на спине.

В это время Дидиш как раз демонстрировал Олив хождение на руках. Это так смутило баклана, что он устремился ввысь, но, перепутав направление, со всего маху врезался головой в доски капитанского мостика. Раздался резкий звук удара. От боли баклан зажмурил глаза и выпустил из клюва струйку крови. Капитан обернулся и, пожав плечами, протянул ему свой грязный носовой платок.

Олив заметила упавшего баклана и побежала спросить, нельзя ли взять его на руки. Дидиш все еще ходил вниз головой. Он окликнул Олив, собираясь выкинуть очередное коленце, но девочки рядом не оказалось. Дидиш встал на ноги и непринужденно выругался; это было грубое, и все же не лишенное известных достоинств ругательство. Он побрел за Олив, но не особо спешил: женщины вечно паникуют без причины. Приблизительно через каждые два шага Дидиш шлепал по перилам грязной ладонью, извлекая из металла красивый вибрирующий звон. Ему даже захотелось спеть что-нибудь.

Капитан страшно любил, когда к нему приходили поболтать. Прежде всего потому, что терпеть не мог маячившую впереди скалу, а еще потому, что разговаривать с капитаном при исполнении строго запрещено. Он улыбнулся Олив. От его внимания не укрылось, что у нее стройные ноги, непослушные светлые волосы и облегающий свитер, а под ним два молодых бугорка, которыми младенец Иисус наградил девочку три месяца назад. Как раз в этот момент корабль поравнялся с Волчком, и капитан поднес рупор к губам, чтобы Олив и Дидиш, чья макушка уже

показалась над железными ступеньками, могли на него полюбоваться. Он начал громко выкрикивать команды. Олив, правда, ничего не понимала, а у баклана и без того смертельно болела голова.

Капитан опустил рупор и с довольной улыбкой глянул на детей.

— Кого вы зовете? — спросила Олив.

— Зови меня просто «капитан»,— ответил капитан.

— Но вы сами кого зовете? — снова спросила Олив.

— Потерпевшего кораблекрушение,— объяснил капитан.— Он сидит на Волчке.

— А что такое Волчок, капитан? — спросил Дидиш.

— Это большущая скала.

— Он что, всегда там? — спросила Олив.

— Кто?

— Потерпевший,— объяснил Дидиш.

— Разумеется,— ответил капитан.

— А почему? — спросила Олив.

— Потому что дурак,— сказал капитан.— И еще потому, что спасать его слишком рискованно.

— Он что, кусается? — предположил Дидиш.

— Нет. Просто он заразный.

— А что с ним?

— Никто не знает,— сказал капитан.

Он снова поднес рупор к губам и заорал с такой силой, что морские катера отнесло на целый кабельтов, точно мух порывом ветра.

Олив и Дидиш стояли, облокотившись на поручни, и следили за огромными медузами, которые, вращаясь, закручивали целые водовороты и ловили в них зазевавшихся рыб; этот способ изобрели австралийские медузы, наведя страх на все побережье.

Капитан поставил рупор и с интересом наблюдал, как ветер разделяет белым пробором волосы Олив. Временами юбка ее взлетала выше колен и, плещась на ветру, прилипала к бедрам.

С огорчением обнаружив, что никто не обращает на него внимания, баклан жалобно застонал. Тогда Олив вспомнила, зачем пришла, и обернулась к несчастному.

— Капитан,— сказала она,— можно мне его поднять?

— Натурально,— ответил капитан,— если не боишься, что он тебя укусит.

— Так ведь птицы не кусаются.

— Ха-ха-ха! — сказал капитан.— Это непростая птица.

— Что же он тогда такое? — спросил Дидиш.

— Понятия не имею,— сказал капитан.— А это лишь доказывает, что птица ваша непростая, потому как простых птиц я всех знаю наперечет: есть, к примеру, сорока; есть воронка, есть муховертка и сеница ока; а то еще ястребинка, кильватер прибрежный, швартовка, кантор, ракушечник; есть шлюз, клев, сорокопят, глупарь или курвопадка; я уж не говорю про каких-нибудь чаек или курицу обыкновенную, которая на латыни называется «cocotta depilantus».

— Обалдеть! — разинул рот Дидиш.— Сколько вы всего знаете!

— Еще бы, я учился,— сказал капитан.

Олив тем временем взяла баклана на руки и баюкала, нашептывая ему в утешение всякие глупости. А он, довольный, зарылся в собственные перья и мурлыкал, как тапир.

— Смотрите, капитан, он совсем не страшный,— сказала девочка.

— Значит, это ястребинка,— уверенно сказал капитан.— Все ястребинки — очень милые птички, можете не сомневаться.

Баклан был польщен и придал своей голове изысканную и благородную позу. Олив погладила его.

— Когда мы приплывем, капитан? — спросил Дидиш, который тоже любил птиц, но не так чтобы очень.

— Далеко еще, плыть да плыть. А куда вы, собственно, путь держите?

— В Эксопотамию,— сказал Дидиш.

— Ишь ты, конец неблизкий,— заметил капитан.— Прибавлю-ка я оборотов по такому случаю.

Он исполнил обещанное, и Дидиш поблагодарил его.

— Родители-то ваши что, тоже здесь? — спросил капитан.

— Да,— ответила Олив.— Карло — это папа Дидиша, а мой отец — Марен. Мне уже тринадцать лет, а Дидишу тринадцать с половиной.

— Угу, понятно,— сказал капитан.

— Наши папы оба будут строить там железную дорогу.

— А мы просто едем с ними.

— Везет же вам,— сказал капитан.— Если б я мог, тоже поехал бы с вами. Осточертел мне этот корабль!

— Разве быть капитаном не классно?

— Какое там классно! Все равно что старшим мастером.

— Арлан — большая сволочь,— убежденно заявил Дидиш.

— Не говори так, тебя будут ругать,— остановила его Олив.

— Да я никому не скажу,— заверил капитан.— Мы же тут все свои парни.— И он погладил Олив по заднице.

Она была страшно горда тем, что ее сочли своим парнем, и жест капитана восприняла как выражение дружбы, принятое между мужчинами. Капитан же побагровел лицом.

— Тогда поехали с нами,— предложил Дидиш.— Они наверняка будут вам рады.

— Да-да, вот будет здорово,— обрадовалась Олив.— Вы будете рассказывать нам пиратские истории, мы устроим настоящий морской бой.

— Прекрасная идея! — сказал капитан.— А ты уверена, что выдержишь?

— Я понимаю,— сказала Олив,— но потрогайте мои мускулы.

Капитан притянул ее к себе и стал ощупывать ей плечи.

— Сойдет,— с трудом выговорил он.

— Но она же девчонка,— сказал Дидиш.— Она не может драться.

— Откуда ты взял, что она девчонка? — спросил капитан.— Вот из-за этих двух фитюлечек?

— Каких еще фитюлечек? — не понял Дидиш.

— Да вот этих,— и капитан потрогал Олив.

— Не такие уж они фитюлечки,— сказала Олив и, отложив в сторону заснувшего баклана, выпятила для наглядности грудь.

— Да, действительно,— пробормотал капитан,— не такие уж фитюлечки...— Он подозвал ее жестом.— Если ты будешь каждое утро за них тянуть,— сказал он, понизив голос,— они вырастут еще больше.

— Как это? — удивилась Олив.

Дидишу не нравилось, что капитан стал таким красным и что на лбу у него выперли вены, и он смущенно отвел глаза.

— Вот так...— сказал капитан.

Дидиш услышал, как Олив заплакала, потому что капитан ее ущипнул. Она вырывалась, но он держал ее крепко и делал ей больно. Тогда Дидиш схватил рупор и изо всех сил дал капитану по морде. Тот выпустил Олив и принялся ругаться.

— А ну пошли отсюда, малявки! — заорал он.

На лице его осталась вмятина от удара. У Олив по щекам катились крупные слезы; она держалась за грудь в том месте, где ее ущипнул капитан. Девочка стала спускаться по железной лестнице, Дидиш бросился за ней. Он был вне себя от гнева и обиды, но не понимал почему. Лишь смутно чувствовал, что его обвели вокруг пальца. Баклан перелетел через их головы и шмякнулся на палубу: пинком ноги капитан выкинул его из рубки. Олив присела и подобрала птицу. Девочка все еще плакала. Дидиш обнял ее за шею, откинул желтые волосы, прилипшие к мокрому лицу, и так нежно, как только умел, поцеловал в щеку. Олив перестала плакать, взглянула на него и опустила глаза. Она прижимала к себе баклана, а Дидиш прижимал ее.

VI

Анжель поднялся на палубу. Корабль вышел в открытое море. По всей длине палубы гулял ветер дальних широт, в результате чего получался крест — явление вполне обычное в этих краях, потому как владения папы начинались где-то пап-лизости.

Анна и Рошель закрылись в каюте, и Анжелю захотелось уйти подальше. Правда, в мыслях он далеко уйти не мог. Анна был с ним все так же приветлив. Самое ужасное, что и Рошель тоже. Но в каюте они уединились не для того, чтобы беседовать о нем. Может, они вообще не будут беседовать. Они будут... Может, они...

Сердце Анжеля бешено заколотилось, потому что он представил себе Рошель без ничего, как она там вдвоем с Анной, в каюте. Ведь если бы она не была без ничего, они не стали бы запирать дверь.

Вот уже несколько дней она смотрит на Анну по-особенному, и это невыносимо для Анжеля. В глазах у нее появилось то же выражение, что у Анны, когда он целовал ее в машине: такие страшные, ошалевшие, невидящие глаза, а веки как помятые цветы с раздавленными, пористыми, полупрозрачными лепестками.

Ветер пел в крыльях летящих чаек, цеплялся за предметы, выступающие над палубой, оставляя на каждом выступе перышки гумана, как облака на вершине Эвереста. Солнце било в глаза и отражалось в мигающем, кое-где совсем белом море. Море дивно пахло рагу из морской коровы и напоенными теплом, зрелыми морскими плодами — дарами глубин. Поршни гулко ходили взад-вперед, и корпус корабля подрагивал им в такт. Синий дымок поднимался над вытяжными отверстиями в крыше машинного отделения и мгновенно рассеивался по ветру. Анжель наблюдал за всем, что происходит. Прогулка по морю умиротворяет: ласкающий шепот волн; пена, лижущая бок корабля; вскрики и хлопанье крыльев снующих чаек. Анжель словно захмелел, и, несмотря на Анну и Рошель, закрывшихся в каюте, кровь в его жилах стала струиться легче, быстрее и заиграла, будто шампанское.

Воздух был бледно-желтого и чистого, иссиня-бирюзового цвета. Рыбы по-прежнему тыкались носом в корабль. Анжель хотел было спуститься посмотреть, не остается ли вмятин на старой обшивке. Но потом прогнал эту мысль, а с ней ушло видение Анны и Рошель. Ветер был восхитителен на вкус, а матовый гудрон на палубе весь покрыт искрящимися трещинками, похожими на прожилки причудливо-капризных листьев. Анжель пробрался на нос корабля, чтобы облокотиться там о поручни. У перил уже стояли, свесившись, Олив и Дидиш. Они смотрели на пряди белой пены, которая, как усы, лепилась к подбородку судна — странное место для усов. Дидиш все еще обнимал Олив за шею, а ветер трепал их волосы и напевал что-то им на ухо. Анжель остановился около детей. Заметив присутствие постороннего, Дидиш обернулся и окинул его недоверчивым взглядом, постепенно смягчившимся. На щеках Олив еще виднелись следы высохших слез; она всхлипнула в последний раз, уткнувшись в рукав.

— Ну что? — спросил Анжель.— Вам здесь нравится?

— Нет,— буркнул Дидиш.— Этот капитан — старый козел.

— Что он вам сделал? Прогнал из рубки?

— Он хотел сделать больно Олив. Он ущипнул ее вон там,— сказал Дидиш.

Олив приложила руку к тому месту, где ее ущипнули, и выразительно шмыгнула носом.

— Все еще больно,— пожаловалась она.

— Каков негодяй,— сказал Анжель. Он был возмущен.

— Я дал ему воронкой по морде,— сказал мальчик.

— Ага,— подтвердила Олив,— это было ужасно смешно.— И она тихонько прыснула.

Анжель и Дидиш тоже засмеялись, представив себе физиономию капитана.

— Если он снова начнет щипаться,— сказал Анжель,— позовите меня. Я сам накостыляю ему.

— Вы совсем другое дело. Вы — друг,— сказал Дидиш.

— Он хотел меня поцеловать,— добавила Олив.— От него несло красным вином.

— А вы не будете ее щипать, правда? — спросил Дидиш с неожиданной тревогой в голосе (с этими взрослыми надо держать ухо востро).

— Не бойся,— сказал Анжель.— Я не собираюсь ее щипать. И целовать тоже.

— О,— заявила Олив,— я вовсе не против, чтобы вы меня поцеловали. Но только не щиплитесь, это очень больно.

— Я считаю, что совершенно не обязательно вам ее целовать,— сказал Дидиш.— Если нужно, я и сам могу это сделать.

— Ты что, ревнуешь? — спросил Анжель.

— Вовсе нет.

Щеки Дидиша вспыхнули красивым ярким румянцем, а взгляд устремился куда-то поверх головы Анжеля. Для этого ему пришлось очень неудобно запрокинуть голову. Анжель засмеялся. Он подхватил Олив под мышки, приподнял и расцеловал в обе щеки.

— Вот так,— сказал он, поставив девочку на место.— Теперь мы в самом деле друзья. Давай лапу.

Дидиш нехотя протянул ему свою грязную ладонь, потом заглянул Анжелю в лицо и перестал хмуриться.

— Вы пользуетесь тем, что вы старее меня. Но мне плевать,— сказал мальчик.— Все равно я целовал ее до вас.

— Поздравляю,— сказал Анжель.— У тебя отличный вкус. Ее очень приятно целовать.

— Вы тоже едете в Эксопотамию? — спросила Олив, чтобы сменить тему разговора.

— Тоже,— сказал Анжель.— Я буду там работать инженером.

— А наши родители — исполнительная бригада,— с гордостью проговорила девочка.

— Это они будут делать всю работу,— пояснил Дидиш.— Они говорят, что инженеры без них ничего не могут.

— Они абсолютно правы,— подтвердил Анжель.

— А еще есть старший мастер Арлан,— сказала Олив.

— Он большая сволочь,— добавил Дидиш.

— Поживем — увидим,— сказал Анжель.

— А кроме вас есть еще инженеры? — поинтересовалась Олив.

И тогда Анжель вспомнил про Анну и Рошель, которые заперлись в каюте. Ветер сразу же стал холодным, и солнце скрылось. Началась сильная качка. Голоса чаек зазвучали резко и враждебно.

— Нет...— с усилием произнес Анжель.— Есть только мой друг. Он там, внизу...

— А как его зовут? — спросил Дидиш.

— Анна.

— Чудно́е имя,— заметил Дидиш.— Собачье какое-то.

— А по-моему, красиво,— возразила Олив.

— Это собачье имя,— упрямо повторил Дидиш.— Глупо, когда у человека собачье имя.

— Да, глупо,— согласился Анжель.

— Хотите посмотреть на нашего баклана? — предложила Олив.

— Не стоит его будить,— сказал Анжель.

— Мы вас чем-то огорчили? — осторожно спросила Олив.

— Да нет, что ты! — Анжель положил руку на ее круглую голову, погладил по волосам и вздохнул.

Солнце все еще пряталось, не решаясь выглянуть из-за туч.

VII

...иногда бывает полезно подлить воды себе в вино...

Марсель Верон. «Трактат об отоплении». Изд. Дюно, т. 1, стр. 145

Уже добрых пять минут кто-то колотил в дверь. Амадис Дюдю посмотрел на часы, пытаясь определить, когда придет конец его терпению; по истечении шести минут десяти секунд он вскочил и со всей мочи хватил кулаком по столу.

— Войдите,— прорычал он.

— Это я,— сказал Атанагор, входя в комнату.— Не помешал?

— Разумеется, помешали,— ответил Амадис, делая над собой нечеловеческое усилие, чтобы успокоиться.

— Вот и хорошо,— сказал археолог,— значит, о моем визите вы долго помнить будете. Вы Дюпона не видели?

— Нет, не видел я вашего Дюпона.

— Ну-ну, не кипятитесь. Итак, где же Дюпон?

— Откуда мне знать, черт вас дери! Это Мартен его трахает, с Мартена и спрашивайте.

— Ага, именно это я и хотел выяснить,— сказал Атанагор.— Насколько я понимаю, вы еще не успели отбить у него Дюпона?

— Слушайте, у меня времени — ни секунды свободной. Сегодня прибывают инженеры и оборудование. А тут еще конь не валялся. Полный завал.

— Вы говорите совсем как Баррицоне. Должно быть, вы очень подвержены стороннему влиянию.

— Да пойдите вы со своим... Если у Баррицоне я и употребил дипломатическое словцо, так это еще не повод, чтобы меня с ним сравнивать. Я подвержен влиянию! Это же надо такое придумать! Вот смех-то! — он демонстративно захохотал.

Атанагор продолжал смотреть на него, и Амадис снова вскипел:

— Чем торчать тут без толку, помогите лучше подготовить все к их приезду.

— А что надо готовить?

— Письменные столы. Ведь они приедут работать. Разве можно работать без столов?

— Я работаю без стола,— сказал Атанагор.

— Это вы-то работаете? Да вы... Вы что, сами не понимаете, что ни о какой серьезной работе не может быть и речи, если нет письменного стола!

— По-моему, я работаю не меньше других,— сказал Атанагор.— Вы полагаете, археологический молоток ничего не весит? Или вы думаете, что колотить целый день горшки и раскладывать их по ящикам,— это игрушки? А присматривать за Жирдье, вправлять мозги Дюпону, вести дневник и искать, в каком направлении рыть — что это, пустяки, да?

— Это не серьезная работа,— стоял на своем Амадис.— То ли дело составлять служебные записки, посылать отчеты, это я понимаю! Но рыть ямы в песке...

— Чего вы добьетесь своими записками и отчетами? Построите какую-нибудь дрянную, вонючую, ржавую железную дорогу, которая задымит все кругом. Я уж не говорю о том, что она никому здесь не нужна. К тому же прокладывать железную дорогу — это отнюдь не бумажная работа.

— Вы забываете, что проект одобрен Правлением и Урсусом де Жан-Поленом лично,— важно заметил Дюдю.— И не вам судить, нужна здесь дорога или нет.

— Вы невыносимы,— сказал Атанагор.— Самый что ни на есть обыкновенный педрила, и ничего больше. Зря я к вам пришел.

— Вы ничем не рисковали: вы слишком стары. Вот Дюпон — другое дело.

— Ну ладно, хватит про Дюпона. Кто должен сегодня приехать?

— Анжель, Анна, Рошель, старший мастер и два технических исполнителя с семьями. А еще оборудование. Кроме того, своим ходом прибудет доктор Жуйживьом с помощником. Механик по имени Крюк присоединится к нам несколькими днями позже. Нам понадобятся еще четыре технических исполнителя, но мы найдем их среди местного населения. А может, обойдемся и без них.

— Да, работников у вас хоть отбавляй,— заметил Атанагор.

— В случае нехватки рабочих рук,— сказал Дюдю,— мы переманим вашу команду, предложив им бóльшую зарплату.

Атанагор посмотрел на Дюдю и покатился со смеху:

— До чего же вы потешны с вашей железной дорогой!

— Чего во мне такого потешного? — оскорбился Дюдю.

— Вы в самом деле полагаете, что так просто переманить мою команду?

— Разумеется,— сказал Дюдю.— Я пообещаю им премию, превышающую оклад, социальные привилегии, заводской комитет, кооператив и поликлинику.

Атанагор огорченно тряхнул седой головой: он чувствовал, что его окончательно сровняли с землей. От Амадиса не укрылось, что Атанагор куда-то исчез, если позволительно так выразиться. Впрочем, мгновение спустя археолог вновь появился в невозделанном поле зрения своего собеседника, чем был обязан усилию аккомодации его глаз.

— Ничего у вас не выйдет,— сказал Атанагор.— Они еще в здравом уме.

— А вот и посмотрим.

— У меня они работают за так.

— Тем более.

— Но они любят археологию.

— Полюбят и железную дорогу.

— Признайтесь по совести,— сказал Атанагор,— вы заканчивали Школу политических наук?

— Ну, заканчивал,— согласился Дюдю.

Атанагор помолчал с минуту.

— Нет, тут дело не только в Школе. У вас, наверное, предрасположенность.

— Не знаю, что вы хотите сказать, но мне нет до этого никакого дела. Если хотите, пошли со мной. Они приезжают через двадцать минут.

— Я готов,— сказал Атанагор.

— Вы не знаете, Дюпон сегодня вечером дома?

— О Господи, да отстаньте от меня со своим Дюпоном! — сказал Атанагор, теряя терпение.

Проворчав что-то себе под нос, Амадис встал. Его письменный стол находился теперь в отдельной комнате, на втором этаже ресторана Баррицоне. Через окно можно было наблюдать дюны и жесткие зеленые травы, к стеблям которых прилепились маленькие ярко-желтые улитки и песчаные слизняки, переливающиеся всеми цветами радуги,— люмитки.

— Ну что ж, вперед,— сказал Дюдю и, не моргнув глазом, прошел в дверь первым.

— Следую за вами,— сказал археолог.— Но все же, когда на остановке вы ждали девятьсот семьдесят пятого, вы меньше были похожи на директора.

Дюдю так и вспыхнул, отчего сырой полумрак лестницы заиграл медными бликами.

— Откуда вы знаете? — спросил Дюдю.

— Я археолог,— сказал Атанагор.— Мне открыты все тайны прошлого.

— Вы археолог, не спорю. Но ведь не ясновидящий.

— Не пререкайтесь со мной,— сказал Ата.— Вы всего лишь дурно воспитанный мальчишка. Я с удовольствием помогу вам встретить кого надо. Но воспитаны вы все равно дурно, хотя все же воспитаны... Ничего с этим не поделаешь, несмотря на видимое противоречие.

Они спустились вниз, миновали коридор и вошли в ресторан, где Пиппо по-прежнему читал за стойкой свою газету. Время от времени он качал головой и бормотал что-то на своем диалекте.

— Привет, Пипетка,— сказал Амадис.

— Здравствуйте,— сказал Атанагор.

— Буон джорно,— ответил Пиппо.

Амадис и Атанагор вышли на площадку перед отелем. В пустыне было жарко и сухо, и воздух покачивался над желтыми дюнами. Мужчины направились к самому высокому холму, увенчанному пучками зеленой травы; с него открывался широкий вид.

— Откуда они приедут? — спросил Дюдю.

— Да откуда угодно,— ответил археолог.— Здесь так легко сбиться с пути...

Он внимательно смотрел по сторонам, поворачиваясь вокруг своей оси, и остановился, когда его ось симметрии совпала с линией полюсов.

— Они приедут оттуда,— сказал он, показывая на север.

— Откуда-откуда? — переспросил Дюдю.

— Да распахните же вы буркалы,— сказал Атанагор, прибегнув к археологическому жаргону.

— А-а, теперь вижу,— сказал Амадис.— Но там только одна машина. Должно быть, это профессор Жуйживьом.

В пустыне виднелась сверкающая зеленая точка, а за ней облако пыли.

— Точно к назначенному времени,— сказал Амадис.

— Это не имеет никакого значения,— заметил Атанагор.

— Да? А табельные часы?

— Их что, тоже доставят с оборудованием? — спросил Атанагор.

— Обязательно,— сказал Дюдю.— А пока их нет, я сам буду регистрировать время прибытия.

Атанагор воззрился на него с удивлением.

— И что вы за штучка такая? — спросил он.— Что у вас внутри?

— Дрянь всякая, как у всех,— сказал Дюдю и отвернулся.— Потроха, дерьмо. А вот и остальные!

— Пошли им навстречу? — предложил археолог.

— Невозможно. Они едут с разных сторон.

— Тогда давайте разделимся.

— Еще чего! Чтобы вы им наговорили всяких небылиц? К тому же у меня на этот счет имеются четкие указания. Я должен встретить их самолично.

— Ну и торчите здесь как вкопанный, а я пошел.

Оторопев, Дюдю остался стоять на дюне; ноги его в самом деле вросли в песок, потому что под верхним зыбким слоем лежал другой, куда более цепкий. Археолог спустился с холма и пошел навстречу каравану.

Машина профессора Жуйживьома неслась вперед, стремительно преодолевая спуски и подъемы. Практиканта рвало. Согнувшись в три погибели, он прятал лицо в мокрое полотенце и непристойно икал. Жуйживьома нельзя было смутить подобными мелочами, и он весело мурлыкал себе под нос американскую песенку, которая называлась «Show Me the Way to Go Home» [1] и чрезвычайно подходила к обстоятельствам не только словами, но также и нотами. На вершине крутого холма профессор виртуозно перешел на «Takin' a Chance For Love» Вернона Дюка [2], а практикант принялся стонать, да так жалобно, что мог бы растрогать даже торговца противоградовыми пушками. На спуске Жуйживьом прибавил скорость, и студент смолк, потому что не мог стонать и блевать одновременно — непростительное упущение буржуазного воспитания.

С последним рыком мотора и заключительным всхлипом практиканта Жуйживьом остановил машину перед Амадисом Дюдю, который провожал злобным взглядом археолога, идущего навстречу каравану.

— Здрасьте,— сказал Жуйживьом.

— Здрасьте,— ответил Дюдю.

— Брру-а-а! — сказал практикант.

— Вы приехали как раз вовремя,— поощрительно отметил Дюдю.

— Отнюдь,— возразил профессор.— Я приехал раньше времени. Кстати, почему вы не носите желтые рубашки?

— Потому что они жуткие.

— Да, нельзя не признать, что с вашим землистым цветом лица надеть такую рубашку равносильно катастрофе,— сказал Жуйживьом.— Только видные мужчины могут себе это позволить.

— Вы считаете себя видным мужчиной?

— Прежде всего, молодой человек, вам бы следовало обращаться ко мне по чину. Я профессор Жуйживьом, а не кто-нибудь там еще.

— Это вопрос второстепенный,— заключил Дюдю.— Я лично считаю, что Дюпон куда красивей вас.

— Профессор,— добавил за него Жуйживьом.

— Профессор,— повторил Дюдю.

— Впрочем, можете называть меня доктором, это как вам больше понравится. Вы, я полагаю, педераст?

— Разве нельзя любить мужчин, не будучи педерастом? — спросил Дюдю.— Какие же вы все невыносимые зануды!

— А вы хам невоспитанный,— сказал Жуйживьом.— Какое счастье, что я не ваш подчиненный.

— Но вы именно мой подчиненный.

— Профессор,— уточнил Жуйживьом.

— Профессор,— повторил Дюдю.

— Это не так,— сказал Жуйживьом.— Вы мне не начальник.

— Нет, начальник.

— Профессор,— повторил Жуйживьом, и Амадис повторил за ним.

— Я подписал контракт,— сказал Жуйживьом,— и не обязан никому подчи-

---

[1] «Укажи мне путь домой» *(англ.)* — американская народная песня наподобие «Шумел камыш».

[2] «Попытай счастья в любви» *(англ.)*. Вернон Дюк (Владимир Дукельский, 1903—1969) — американский композитор.

няться. Более того, это мне все должны подчиняться, когда речь идет о правилах санитарной гигиены.

— Меня не предупредили об этом, доктор,— сказал Дюдю, одумавшись.

— Ну вот, наконец-то вы стали передо мной заискивать.

Амадис вытер лоб: он весь взмок. Профессор вернулся к машине.

— Идите-ка помогите мне,— позвал он.

— Я не могу, профессор,— ответил Дюдю,— археолог сказал, чтобы я стоял как вкопанный, и теперь мне не вытащить ног из песка. Я врос.

— Глупости,— сказал профессор.— Это всего лишь литературный оборот.

— Вы так считаете? — спросил Дюдю с беспокойством.

— Пфру-у! — сказал профессор, дунув Амадису прямо в нос, и Амадис, испугавшись, бросился наутек.

— Вот видите! — крикнул вдогонку Жуйживьом.

Дюдю уже возвращался со всеми признаками газового отравления.

— Я могу вам помочь, профессор? — предложил он.

— Ага, я вижу, вы стали сговорчивей,— сказал Жуйживьом.— Тогда ловите.

Он бросил Дюдю огромный ящик. Тот поймал, пошатнулся и уронил ящик себе на правую ногу. Мгновение спустя он очень правдоподобно изображал перед профессором щеголеватого фламинго на одной ноге.

— А теперь,— сказал Жуйживьом, садясь за руль,— несите этот ящик к гостинице. Там и встретимся.

Он растолкал заснувшего практиканта.

— Эй! Мы уже приехали!

— Правда? — блаженно вздохнул студент.

В следующее мгновение автомобиль рванул с холма вниз, и практикант снова уткнулся в грязное полотенце. Амадис проводил взглядом машину, посмотрел на ящик и, припадая на правую ногу, стал прилаживать его себе на спину. К несчастью, спина у него была круглая.

VIII

Мелкой поступью, сообразной остроносым бежевым башмакам, драповый верх которых придавал этим диковинным предметам вид достойного благородства, Атанагор шагал навстречу каравану. Короткие коричнево-серые штаны оставляли его костлявым коленям полную свободу сгибаться и разгибаться; над поясом пузырем нависала рубашка цвета хаки, выцветшая в результате дурного обращения. Портрет археолога довершала колониальная каска, оставшаяся висеть в палатке,— владелец никогда ее не носил. Шагая через пустыню, Атанагор думал о том, какой наглец этот Дюдю; он безусловно заслуживает хорошего урока, а то и нескольких; как знать, может, и этого ему будет мало. Археолог смотрел в землю; все археологи так делают: они не имеют права пренебрегать мелочами, ибо находка нередко оказывается детищем счастливого случая, что бродит где-то у самых ног, как о том свидетельствуют исследования монаха Ортопомпа. Сей почтенный старец жил в X веке в монастыре бородачей, среди коих являлся наиглавнейшим, поскольку единственный из всей братии умел красиво выводить буквы.

Атанагор вспомнил день, когда Жирдье доложил ему о прибытии в их края господина Амадиса Дюдю; свет надежды озарил тогда его сознание и разгорелся еще ярче после обнаружения ресторана. Недавний разговор с Дюдю вернул археолога в состояние изначальной беспросветности.

Может быть, караван немного встряхнет слежавшуюся пыль Эксопотамии; что-нибудь переменится, появятся приятные люди... Атанагор с огромным трудом шевелил мозгами: в пустыне эта привычка утрачивается быстро. Мысли его облекались теперь в примитивно-банальную форму — в лучшем случае принимали вид луча надежды, а то и вовсе чего-нибудь непотребно прозаического.

В поисках счастливого случая у себя под ногами, в размышлениях о монахе Ортопомпе и грядущих переменах Атанагор набрел на камень, до половины засыпанный песком. Засыпанная половина предполагала продолжение, в чем археолог удостоверился, встав на колени и попытавшись его откопать. Обнаружив, что камень уходит вглубь, он ударил молотком по гладкому граниту и сразу же прижал

к нему ухо. Поверхность камня была теплой, потому что средний солнечный луч падал как раз на это место. Звук разбежался и замер в далеких подземных глубинах, из чего археолог заключил, что там кое-что есть. Он заметил место по расположению каравана, не сомневаясь в том, что потом без труда найдет его, а фрагмент исторического памятника старательно присыпал песком. Едва он закончил с камнем, как первый грузовик, доверху заваленный ящиками, пропыхтел мимо него. Следом тащился второй, тоже нагруженный тюками и оборудованием. Грузовики были огромные, длиной в несколько десятков археологических молотков; они радостно рычали. Рельсы и инструменты бились о крытый брезентом кузов, а сзади болталась красная тряпка. Третий грузовик вез людей и поклажу. Следом ехало желто-черное такси, опущенный флажок которого означал предупреждение для невнимательных пешеходов. Атанагор заметил внутри хорошенькую девушку и помахал рукой. Проехав еще немного, такси остановилось, будто в ожидании. Археолог поспешил к машине.

Из машины вышел Анжель, сидевший рядом с шофером.

— Вы нас ждете? — спросил он.

— Я шел вам навстречу. Как доехали?

— Терпимо,— сказал Анжель,— если исключить момент, когда капитан попытался плыть по суше.

— Охотно вам верю,— сказал Атанагор.

— Вы господин Дюдю?

— Ни в коем случае! Ни за какие эксопотамские горшки Британского музея я бы не согласился называться господином Дюдю.

— Простите, так сразу не угадаешь,— сказал Анжель.

— Ничего страшного,— сказал Атанагор.— Я археолог. Я здесь работаю.

— Очень приятно. А я инженер. Меня зовут Анжель. А там, внутри,— Анна и Рошель,— он указал на такси.

— Там еще есть я,— буркнул таксист.

— Разумеется, мы вас не забудем,— заверил его Анжель.

— Я вам очень сочувствую,— сказал Атанагор.

— Почему?

— Думаю, Амадис Дюдю вам не понравится.

— Жаль, конечно,— пробормотал Анжель.

Анна и Рошель целовались, сидя в машине, Анжель это знал и был мрачен.

— Хотите пройтись пешком? — предложил археолог.— Я вам кое-что расскажу.

— Да-да,— обрадовался Анжель.

— А мне куда дальше? — спросил таксист.

— Да куда подальше.

Бросив довольный взгляд на счетчик, шофер включил мотор. Денек выдался на славу.

Не совладав с собой, Анжель оглянулся. Сквозь заднее стекло мелькнул профиль Анны, по которому было ясно, что владельцу его на все наплевать. Анжель повесил голову.

Атанагор посмотрел на него с удивлением: точеное лицо хранило следы бессонных ночей и непрестанных мучений; стройная спина ссутулилась.

— Странно,— сказал Атанагор,— вы ведь красивый парень.

— Но ей нравится Анна,— вздохнул Анжель.

— Он толстоват,— отметил археолог.

— Он мой друг.

— А, тогда понятно...

Атанагор взял Анжеля под руку:

— Пойдемте, а то на вас наорут.

— Кто?

— Этот кретин Дюдю. Он может придумать, что вы опоздали.

— Да ладно, не все ли равно? А вы здесь ведете раскопки?

— Покамест копают другие. Но я, без сомнения, нащупал что-то из ряда вон выходящее. Я это чувствую. Так что пусть себе роют. За ними следит мой помощник, Жирдье. Когда он свободен, я придумываю ему письменные задания, а не то он начинает доставать Дюпона. Дюпон — это мой повар. Я все это вам рассказываю,

чтобы вы были немножечко в курсе. Кроме того, загадочным и неприятным образом случилось так, что Дюдю втрескался в Дюпона тоже, а у Дюпона любовь с Мартеном.

— Кто такой Мартен?

— Мартен Жирдье, мой помощник.

— А что же Дюпон?

— Ему начхать. Он, конечно, любит Мартена, но при этом страшный потаскун. Простите... В моем возрасте не пристало употреблять подобные выражения, но сегодня я чувствую себя таким молодым. Спрашивается, что мне делать с этими тремя свинтусами?

— Что же вы можете с ними сделать?

— Вот я и не делаю ничего.

— А где нас поселят?

— В гостинице. Вы только не переживайте.

— Из-за чего?

— Из-за Анны...

— О, переживать тут решительно не из-за чего. Просто ей больше нравится Анна. Это очевидно.

— В чем же очевидность? Это не более очевидно, чем что-либо другое. Она с ним целуется, вот и все.

— Нет, не все,— сказал Анжель.— Сначала она целует его, потом он ее. И везде, где побывала его рука, ее кожа уже не та, что прежде. Это не сразу замечаешь, потому что Рошель так же свежа после его объятий, как и до них, и губы ее по-прежнему пухлы и ярки, и волосы блестят. Но все же она изнашивается. Каждый поцелуй неприметно старит ее, грудь становится менее упругой, кожа не такой прозрачной и шелковистой, тускнеют глаза, тяжелеет походка. И с каждым новым днем это уже немножко не та Рошель. Я знаю: кто ее видит, верит, что это все еще она. Я и сам верил попервоначалу, пока не стал замечать все это.

— Ну и насочиняли же вы,— сказал Атанагор.

— Нет, не насочинял. Вы сами знаете, что я прав. Я это вижу. Каждый день я обнаруживаю в ней новые перемены. Всякий раз, как я на нее смотрю, я вижу, что она портится. Это он ее портит. И никто ничего не может с этим поделать, ни вы, ни я.

— Значит, вы ее уже не любите?

— Люблю. Так же, как любил сначала. Но мне больно видеть, как она тает, и поэтому к моей любви примешивается ненависть.

Атанагор молчал.

— Я приехал сюда работать,— продолжал Анжель.— Я хочу работать. Я надеялся, со мной поедет только Анна, а Рошель останется. Но все случилось иначе, и мне не на что больше надеяться. В течение всего путешествия он не отходил от нее, и тем не менее я остаюсь его другом. А вначале, когда я говорил, что она красавица, он смеялся.

Слова Анжеля расшевелили в Атанагоре старые воспоминания. Они были тонкие и длинные и совершенно расплющенные наслоением позднейших событий; если на них смотреть сбоку, как сейчас, то различить их форму и цвет просто невозможно. Атанагор чувствовал, как они копошатся и извиваются где-то внутри, подобно вертким рептилиям. Он тряхнул головой, и копошение прекратилось: испуганные воспоминания замерли и съежились.

Атанагор пытался придумать, как утешить Анжеля, но безуспешно. Они шагали рядом, и зеленые травинки щекотали ноги археолога и ласково терлись о холщовые штаны молодого человека. Желтые пустые ракушки лопались под их подошвами, выбрасывая облако пыли и издавая мелодичный чистый звук: словно прозрачная капля падала на хрустальное острие, заточенное в виде сердца,— что уж и вовсе ерундистика какая-то.

С дюны, на которую они взобрались, был виден ресторан Баррицоне. Огромный грузовик стоял перед входом, создавая иллюзию военного положения. Кроме ресторана вокруг не было ничего: ни палатки Атанагора, ни раскопок; археолог очень ловко спрятал их от постороннего глаза. Пейзаж был залит солнцем, но обитатели пустыни старались смотреть на солнце как можно реже: оно обладало неприятной особенностью — неравномерно распределяло свет. Светящиеся участки

воздуха чередовались с темными, и там, где темный луч касался земли, была мрачная, холодная зона. Анжель успел уже привыкнуть к необычайному зрелищу: таксист, колеся по пустыне, огибал черные и выбирал светлые полосы. Но теперь, увидев с высоты холма холодную неподвижную стену тьмы, он содрогнулся. На Атанагора эта четкая ограниченность светлого пространства не производила никакого впечатления, но, заметив, что Анжель смотрит на нее с беспокойством, он похлопал его по спине.

— Это только вначале ошеломляет,— сказал он,— потом свыкнетесь.

Анжель решил, что это замечание касается также Анны и Рошель, и ответил:

— Не думаю, чтобы я с этим свыкся.

Они спустились по пологому склону. Теперь до них доносились голоса мужчин, приступивших к разгрузке грузовиков, и звонкий металлический лязг рельса об рельс. Вокруг ресторана, точно насекомые, беспорядочно сновали разновеликие фигуры, среди которых своим озабоченно-важным видом выделялся Амадис Дюдю.

Атанагор вздохнул.

— Не знаю, почему меня так взволновала ваша история. Я ведь уже не молод.

— О, я бы не хотел надоедать вам своими проблемами...— сказал Анжель.

— Вы мне не надоедаете. Просто мне больно за вас. Вот видите, а я считал себя совсем стариком.

Он приостановился, почесал затылок и снова зашагал вперед.

— Думаю, все дело в пустыне,— сказал он.— Должно быть, она замедляет старение.— Он положил руку Анжелю на плечо.— Я не пойду с вами дальше. Неохота встречаться с этим типом.

— С Амадисом?

— Да, с ним. Он, знаете ли...— археолог замялся, подыскивая слова.— Видел я его в гробу в белых тапочках.

Он покраснел и пожал Анжелю руку.

— Я знаю, что нехорошо так говорить, но этот Дюдю действительно невыносим. Ладно, до скорого. Увидимся как-нибудь в ресторане.

— Счастливо,— ответил Анжель.— Я приду посмотреть ваши раскопки.

Атанагор покачал головой:

— Вы увидите одни только ящики. Но они, правда, тоже недурны собой. Ладно, я пошел. Заходите, когда надумаете.

— Счастливо,— повторил Анжель.

Атанагор свернул вправо и исчез в провале меж дюн. Анжель подождал, пока его белая голова вновь появится на взгорье, потом, пока он появится весь. Носки археолога светлыми отметинами выделялись над высокими драповыми ботинками. Вскоре ставший совсем крошечным силуэт исчез за бугром, оставив на песке ниточку следов, прямую и тонкую, как паутинка.

Анжель вновь повернул голову к ресторану, белый фасад которого был украшен яркими цветами, и бросился догонять своих товарищей. Около чудовищно-гигантских грузовиков притулилось маленькое черно-желтое такси, такое невзрачное, будто какая-нибудь ручная тачка на фоне динамо-машины, придуманной широко известным в узких кругах изобретателем.

Неподалеку от ресторана поднимающиеся снизу ветры раздували подол ярко-зеленого платья Рошель, а солнце рисовало ей, несмотря на неровности почвы, очень красивой конфигурации тень.

IX

— Уверяю вас, учитель, это истинная правда,— снова повторил Мартен Жирдье.

Его круглая розовая физиономия так и сияла, а каждый волосок шевелюры искрился на кончике голубым светом.

— Я вам не верю, Жирдье,— отвечал археолог.— Во что угодно поверю, но в это — никогда. И во многие другие небылицы, по правде говоря, тоже.

— Но черт побери! — сказал Жирдье.

— Вот что, Жирдье, вы мне перепишете третью Песнь Мальдорора [1], переворачивая слова задом наперед и меняя орфографию.

[1] «Песни Мальдорора» — произведение французского поэта и прозаика Лотреамона (1846—1870).

— Слушаюсь, учитель,— сказал Жирдье и, вконец теряя терпение, добавил: — Вы можете сами в этом убедиться!

Атанагор внимательно посмотрел на него и покачал головой:

— Вы неисправимы, Жирдье. Я даже не буду увеличивать вам наказание.

— Учитель, заклинаю вас!

— Ну так и быть, схожу посмотрю,— проворчал Ата, побежденный неслыханным упорством.

— Я совершенно убежден, что это именно то самое. Точнехонько совпадает с описанием из учебника Уильяма Свиста.

— Мартен, вы просто спятили. Так не ищут курсовую линию. Прощаю вам это шалопайство, потому что вы не в себе. Но имейте в виду: чтобы в будущем ничего подобного больше не повторялось. Вы уже не ребенок.

— Но, ё-моё, я ведь не шучу...

Атанагора охватило волнение. Впервые с тех пор, как он возложил на своего помощника ежедневные отчеты, его посетило предчувствие, что грядет нечто значительное.

— Пошли поглядим,— сказал он, поднялся и вышел.

Мерцающий огонь фонаря с абажуром выхватывал из густого мрака пол и стены палатки, слепляя в пространстве размытый светящийся конус. Голова Атанагора находилась в тени; остальные части тела смутно вырисовывались в зыбких лучах газовой горелки. Мартен тоже вскочил и, виляя круглым задом, засеменил вслед за хозяином на своих коротких ножках. Они очутились в полной темноте, и только электрический фонарик Мартена указывал им путь к зеву узкого колодца, что спускался к месту раскопок. Мартен полез первым; он громко пыхтел, цепляясь за перекладины лестницы из черненого серебра, которую Атанагор, уступая вполне простительной утонченной прихоти, приспособил для спуска в забой.

Археолог посмотрел на небо. Там, как всегда, пульсировала Астролябия: три черные вспышки, одна зеленая, две красные и две паузы. Обрюзгшая Большая Медведица неровно мигала желтоватым светом слабой силы тока, а Орион только что потух. Археолог пожал плечами и, сдвинув ноги, прыгнул в колодец: он рассчитывал приземлиться на жировую прослойку своего подручного. Мартен успел уже отойти в горизонтальную галерею. Ему пришлось срочно вернуться, чтобы вытащить своего патрона из сваленной в кучу земли, в которой его костлявое тело проделало цилиндро-плутоническую скважину.

Приблизительно через одно измерение галерея разветвлялась и растопыривала ветки почти во всех направлениях, свидетельствуя об объеме проделанных работ. Каждый коридор имел соответствующий номер, небрежно начерченный на белой табличке. Под сводами, цепляясь за сухие каменные выступы, бесшумно струились электрические провода, и кое-где свисали лампочки, сверкавшие с удвоенным рвением, пока их еще не успели разбить. Откуда-то доносились хриплые вздохи насосных установок, нагнетавших в подземелье сжатый воздух, при помощи которого, эмульгируя его до консистенции аэрозоля, Атанагор удалял из забоя землю, песок, пинпинаквангауз и размолотые камни, ежедневно извлекаемые землеройными машинами.

Они свернули в коридор номер 7. Атанагор с трудом поспевал за Мартеном, который рвался вперед, взбудораженный до последней степени. Коридор представлял собой прямую трубу, вырытую в один прием. В глубине трубы уже виднелись тени, возившиеся вокруг сложнейших, мощнейших агрегатов, которые высасывали из песка чудесные находки (этими находками не без основания гордилась, оставшись наедине с собой, вся коллекция Атанагора).

Преодолев остаточное расстояние, Ата ощутил характерный, ни с чем не сравнимый запах, и все его сомнения мгновенно рассеялись. Ошибки быть не могло: они отрыли курсовую линию. Это был загадочный и сложный по составу запах высеченных в скале залов; он был прохладный, сухой и терпкий — запах абсолютной пустоты; поглотив руины городов, земля сохраняет его в своих недрах. Атанагор пустился бегом. В карманах позвякивали разные предметы, а молоток в кожаном футляре колотил его по бедру. Свет постепенно прибывал. Добежав до цели, археолог с трудом перевел дух: от нетерпения. Прямо перед ним работал агрегат. Пронзительный визг турбины, приглушенный звукоизолирующей оболочкой, заполнял тесный тупик; в кольчатой трубе эмульгатора клокотал воздух.

Мартен жадно следил за вращением круглых резцов. Около него, голые по пояс, стояли двое мужчин и женщина; они тоже не сводили глаз с машины. Время от времени один из них четким, уверенным движением поворачивал ручку управления или нажимал на рычаг.

Атанагор сразу почуял находку. Острые зубья буров впивались в твердую, плотную скалу, загораживавшую проход в гипопо-стильную залу гигантских размеров, насколько о ней можно было судить извне. В проеме показалась стена, кое-где еще покрытая каменистыми наростами в несколько миллиметров. От стены продолжали отваливаться куски спрессованной земли; они имели неправильную форму, и там, где они отвалились, камень начинал дышать.

Атанагор с усилием глотнул и отключил агрегат. Машина замедлила ход и стала, издав нежный, пилящий свист смолкающей сирены. Мужчины и женщина обернулись, заметили археолога и подошли к нему. В тупике воцарилась тяжелая, насыщенная тишина.

— Вы нашли ее,— сказал Атанагор.

Мужчины протянули ему руки, которые он поочередно пожал. Затем он привлек к себе женщину.

— Ну что, Бронза, ты довольна?

Она улыбнулась, не проронив ни звука. Волосы и глаза у нее были черные, а кожа — темная, необычного охристого оттенка. Твердые и блестящие полушария грудей были увенчаны острыми, почти лиловыми сосками.

— Вот и закончили,— сказала она.— Все же мы ее отрыли.

— Теперь вы можете куда-нибудь пойти втроем,— сказал Атанагор, поглаживая женщину по горячей голой спине.

— Не, и думать нечего,— ответил тот, что справа.

— Почему, Бертиль? — спросил археолог.— Может, твой брат и не против прогуляться.

— Не,— ответил Брис,— лучше мы еще пороем.

— А больше вы ничего не нашли? — спросил Жирдье.

— Там, в углу, есть кое-что,— сказала Бронза.— Опять горшки. А еще лампы и заржавевший замóк свода.

— Потом посмотрим,— сказал Атанагор.— Ну что же, тогда пошли вдвоем? — добавил он, обращаясь к Бронзе.

— Пожалуй. На этот раз с удовольствием,— ответила она.

— Зря твои братья не идут. Им бы не мешало подышать воздухом.

— Воздуха и здесь хватает. Охота посмотреть, чего там дальше,— сказал Бертиль, шаря рукой по машине в поисках контактора.

Он надавил на черную кнопку. Агрегат заворчал сначала тихо и неуверенно; потом голос его окреп, набрал силу и взвыл на высокой ноте.

— Только не надрывайтесь,— крикнул Атанагор, перекрывая вой машины.

Огромные зубья опять принялись выгрызать из стены тяжелую пыль, которую тут же всасывал включенный агрегат.

Брис и Бертиль закивали и заулыбались.

— Все в порядке,— сказал Брис.

— Тогда счастливо,— бросил напоследок археолог.

Он развернулся и зашагал прочь. Бронза, взяв его под руку, пошла рядом. У нее была легкая, пружинистая походка; от электрических ламп на коже ее танцевали оранжевые блики. Позади плелся Мартен Жирдье и, несмотря на свои дурные наклонности, взволнованно следил за движением крутых бедер молодой женщины.

Так, в молчании, они дошли до круглой площадки, куда сходились все галереи. Бронза отпустила руку Атанагора и подошла к нише, вырубленной в стене; там была сложена ее одежда. Она сняла короткую рабочую юбку и надела шелковую блузку и белые шорты. Пока она переодевалась, мужчины смотрели в другую сторону: один из деликатности, другой — чтобы даже мысленно не изменять Дюпону,— потому что под короткой юбочкой на Бронзе ничего не было. Да ей и не нужно было ничего.

Как только женщина закончила переодевание, все трое возобновили быстрое продвижение к выходу и снова пролезли в колодец — только уже в обратном направлении. Мартен поднимался первым, Атанагор замыкал восхождение.

Наверху Бронза потянулась. Сквозь тонкий шелк блузки проступили более

темные участки ее тела, и Атанагор попросил Мартена направить луч фонаря в другую сторону.

— Как здесь хорошо...— проговорила она.— Так тихо...

Откуда-то донесся металлический звон, и эхо долго перекатывалось по дюнам.

— Что это? — спросила женщина.

— Кое-что новенькое,— сказал Атанагор.— Сюда понаехала тьма народу. Они собираются строить железную дорогу.

Тем временем все трое подошли к палатке.

— Какие они, те, что приехали? — спросила Бронза.

— Среди них двое мужчин,— сказал Атанагор.— Двое мужчин и одна женщина. Кроме того, рабочие, их дети и Амадис Дюдю.

— Каков он из себя?

— Это грязный педик,— объяснил Атанагор.

Он осекся, спохватившись, что Мартен рядом. Но тот, к счастью, уже улизнул на кухню к Дюпону. Археолог облегченно вздохнул.

— Я бы не хотел его обижать,— объяснил он.

— А что эти двое мужчин?

— Один очень хороший. А другого любит та женщина. Но тот, что хороший, сам любит эту женщину. Его зовут Анжель. Он красивый в придачу.

— Красивый...— растягивая слова, повторила Бронза.

— Да. Вот только Амадис...— и Атанагор поежился.— Пошли выпьем чего-нибудь. А то замерзнешь.

— Мне не холодно...— тихо проговорила Бронза.— Анжель... Какое странное имя.

— Странное,— согласился археолог.— У них у всех странные имена.

На столе всеми своими лучами сиял газовый фонарь; полог палатки был уютно и гостеприимно откинут.

— Проходи,— сказал археолог, подталкивая женщину вперед.

Бронза вошла.

— Здравствуйте! — сказал аббат, вставая из-за стола при ее появлении.

X

— Сколько пушек нужно враз, чтоб разрушить весь Аррас? — без предисловий спросил аббат, когда Атанагор вошел в палатку вслед за Бронзой.

— Одиннадцать! — сказал археолог.

— О нет, это чересчур. Скажите, три.

— Три,— повторил Атанагор.

Аббат схватил четки и скороговоркой трижды пробурчал что-то себе под нос. Он выпустил четки из рук. Бронза уселась на кровать Атанагора. Археолог в изумлении смотрел на священника.

— Что вы делаете в моей палатке?

— Я только недавно приехал,— объяснил аббат.— Вы играете в белибердень?

— Вот это здорово! — сказала Бронза, хлопая в ладоши.— Мы будем играть в белибердень!

— Не следовало бы мне обмениваться с вами ни единым словом, ибо вы существо непристойное. Но у вас чертовски красивая грудь.

— Спасибо, я знаю,— ответила Бронза.

— Я ищу Клода Леона,— сказал аббат.— Он отшельник. Он должен был приехать сюда недели две назад. Я же — региональный инспектор. Сейчас покажу вам удостоверение. В этих краях полным-полно отшельников, только все они довольно далеко. А Клод Леон где-то тут рядом.

— Я его не видел,— сказал Атанагор.

— Надеюсь, что так,— ответил аббат.— Отшельник не имеет права покидать свой скит, разве что по специальному разрешению уполномоченного регионального инспектора,— и аббат поклонился.— Так что это я собственной персоной,— продолжал он.— Раз, два три, четыре, всех нас грамоте учили...

— Что читать, чем писать и с кем по лесу гулять,— подхватила Бронза, хорошо помнившая катехизис.

— Благодарю вас,— сказал аббат.— Итак, я остановился на том, что Клод Леон, вероятно, где-то поблизости. Приглашаю вас посетить его вместе со мной.

— Надо бы сперва перекусить,— сказал Атанагор.— Бронза еще ничего не ела. Это очень неразумно.

— Я не откажусь от бутерброда,— сказала Бронза.

— А вы, аббат, не хотите ли Куантро́?

— С Куантро́ дело хитро́,— проговорил кюре.— Моя вера запрещает мне пить. Но если с вашей стороны не будет никаких возражений, я запишу это себе в нарушения.

— Сделайте одолжение,— сказал археолог.— Я схожу пока за Дюпоном. Вам нужны бумага и ручка?

— У меня уже отпечатанные бланки,— сказал аббат.— В виде отрывного блокнота. Так я, по крайней мере, знаю, на каком я свете.

Атанагор вышел из палатки и повернул налево. Кухня Дюпона находилась совсем рядом. Археолог вошел без стука и щелкнул зажигалкой. В мигающем свете пламени он различил кровать Дюпона и спящего на ней Жирдье. На щеках толстяка виднелись две высохшие борозды, а рыдания, как принято выражаться, все еще раздирали ему грудь. Атанагор склонился над Мартеном.

— Где Дюпон? — спросил он.

Жирдье проснулся и снова начал плакать. Сквозь сон он смутно разобрал вопрос археолога.

— Он ушел,— зарыдал Мартен.— Его здесь не было.

— Вот как? — сказал археолог.— И вы не знаете, куда он делся?

— Он, как пить дать, с этой б... Дюдю,— не переставая плакать, выговорил Жирдье.— Она мне за это заплатит, дрянь такая!

— Перестаньте,— строго сказал Атанагор.— В конце концов, вы же с Дюпоном не женаты.

— Женаты,— сознался Жирдье, перестав хныкать.— Когда мы приехали сюда, мы разбили вместе горшок, как в «Соборе Парижской Богоматери». Получилось одиннадцать черепков. Нам еще шесть лет быть вместе.

— Прежде всего, напрасно вы читаете «Собор»: это ужасное старье. Что касается женитьбы, пусть так. И наконец: мое терпение не безгранично, чтобы слушать ваше нескончаемое нытье. Вы мне перепишете первую главу этой книжонки справа налево, да еще левой рукой. А теперь отвечайте: где Куантро?

— В буфете,— сказал Жирдье, утихомирившись.

— Всё, спать,— скомандовал Атанагор.

Он подошел к кровати, подоткнул одеяло и погладил Мартена по голове.

— Может, он просто за покупками вышел,— сказал археолог.

Жирдье всхлипнул и ничего не ответил. Похоже, волнение улеглось.

Археолог открыл буфет и без труда, рядом с банкой кузнечиков в томатном соусе, нашел бутылку Куантро. Он достал три крохотные изящные рюмочки, найденные не так давно в месте удачных раскопок и служившие несколько тысячелетий назад королеве Нефурпитон, которая, по предположению археолога, использовала их для принятия успокоительных глазных ванн. Приготовив бутылку и рюмки, Атанагор сделал огромный бутерброд для Бронзы и, живописно разместив все на подносе, вернулся в палатку.

Аббат сидел на кровати рядом с Бронзой и, расстегнув на ней блузку, внимательно смотрел внутрь.

— Как интересно устроена эта молодая особа,— сказал он Атанагору.

— Вы находите? Чем же именно она интересна?

— Бог мой, так сразу и не объяснишь. Вся в целом, возможно. Правда, и отдельные ее составляющие тоже весьма любопытны.

— А вы занесли осмотр в список нарушений? — спросил Ата.

— У меня специальное разрешение,— сказал аббат.— В моей работе это просто необходимо.

Бронза хохотала без всякого стеснения. Она даже не застегнулась. Атанагор тоже не смог удержаться от улыбки. Он поставил поднос на стол и протянул женщине бутерброд.

— Ах какие крошечные рюмочки! — воскликнул аббат.— Ради них не стоило вырывать листок из моего блокнота. Tanquam adeo fluctuat nec mergitur [1].

— Et cum spiritu tuo [2],— отозвалась Бронза.

— Дерни за веревочку — дверь и отвалится,— хором заключили аббат и археолог.

— Клянусь собственным именем! — возгласил аббат.— Это истинное наслаждение повстречать таких религиозных людей!

— Наша профессия требует определенных знаний,— объяснил Атанагор.— Хотя, в общем, мы скорее неверующие.

— Вы возвращаете мне душевный покой. А то я уже начал было ощущать прикосновение греха. Теперь отпустило. Посмотрим же, что это за Куантро. Жаль, раков к нему нет, а то вышел бы этакий Куан-тро-пик-рака [3].

Атанагор откупорил бутыль и разлил напиток по рюмкам. Аббат поднялся и взял одну из них. Он посмотрел на содержимое, понюхал и выпил.

— Хм,— сказал он и снова протянул свою рюмку.

— Как вы его находите? — спросил Атанагор, наливая новую порцию.

— Отвратителен. И воняет нефтью.

— Значит, я перепутал бутылки. Там стояли две одинаковые.

— Можете не извиняться,— сказал аббат.— Напиток вполне сносный.

— Это первоклассная нефть,— заверил археолог.

— Позвольте мне выйти поблевать,— сказал аббат Петижан.

— Пожалуйста-пожалуйста. Я пойду поищу другую бутылку.

— Тогда поспешите,— сказал аббат.— Ужасней всего, что эта гадость сейчас снова окажется у меня во рту. А, была не была, я закрою глаза.— И он вылетел в проем палатки.

Бронза хохотала, упав на кровать и закинув руки за голову. Ее черные глаза и крепкие зубы ловили на лету вспышки света. Атанагор еще колебался, но когда снаружи донеслись хрипы Петижана, его пергаментное лицо разгладилось и повеселело.

— Симпатяга он,— сказал археолог.

— Он придурок,— возразила Бронза.— Какой-то сомнительный кюре. Забавный, правда. И руки у него ловкие.

— Тебе же лучше,— сказал археолог.— Пойду поищу Куантро. Но ты все-таки подожди, пока не увидишь Анжеля.

— Конечно, подожду,— сказала Бронза.

Аббат показался у входа.

— Можно? — спросил он.

— Разумеется,— сказал Атанагор, посторонившись и пропуская кюре; он прихватил с собой бутылку нефти и вышел.

Аббат уселся на парусиновый стул.

— Простите, что не сажусь с вами рядом, но от меня несет рвотой. А в ботинках с пряжками аж хлюпает. Ужасно стыдно. Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Нет, это многовато. Скажите три.

— Три.

И Петижан со скоростью автомата для лущения гороха отсчитал на четках три костяшки. Когда он закончил свои манипуляции, вошел Атанагор.

— Ага! — оживился аббат.— Поглядим, не окажется ли кё-росином этот Куантро.

— На этот раз менее удачно,— придирчиво заметила Бронза.

— Прошу прощения, но никак невозможно изливать каламбуры сплошным потоком, тем более когда одновременно изливаешь содержимое желудка.

— Это точно — согласилась Бронза.

— Справедливо замечено,— поддержал Атанагор.

---

[1] Так же и впредь зыблема, но не потопима *(лат.)*. «Fluctuat nec mergitur» — надпись на гербе Парижа под изображением ладьи.

[2] И с духом твоим *(лат.)* — слова, произносимые во время мессы в ответ на фразу священника «Да будет Господь со всеми вами».

[3] Намек на скандально известный роман Генри Миллера «Тропик Рака», переведенный на французский за год до написания «Осени в Пекине».

— Тогда выпьем,— провозгласил аббат.— А потом я отправлюсь к Клоду Леону.

— Может быть, мы составим вам компанию? — предложил археолог.

— А... а спать сегодня ночью вы не собираетесь? — спросил аббат.

— Мы тут редко спим,— сказал Атанагор.— Это отнимает чертовски много времени.

— Совершенно верно,— поддакнул Петижан.— Не знаю, зачем я спросил, я ведь тоже никогда не сплю. Не исключено, что я немножко ревную: мне казалось, я один такой.— Он на минуту задумался.— Да, это в самом деле так. Я оскорблен. Но ничего, жить можно. Налейте-ка Куантро.

— Извольте.

— Ага! — сказал аббат, рассматривая рюмку на свет.— Теперь настоящий.— Он отпил глоток.— Хороший ликер. Но после нефти все отдает ослиной мочой.

Он допил свою рюмку и фыркнул.

— Ну и гадость. Это мне урок на будущее: нечего разбрасываться нарушениями направо-налево.

— Неужто вам не понравилось? — удивился Атанагор.

— Что вы, разумеется, понравилось,— сказал Петижан,— но только получил свои сорок три градуса одним махом — и все, гуляй. То ли дело Аркебуза девяностопятиградусная или добрый спирт для компрессов. Вот когда я служил в Сен-Филипп-дю-Руль, я в качестве церковного вина исключительно чистый спирт употреблял. Что это были за мессы, скажу я вам, это были искрометные мессы!

— Почему вы там не остались? — спросила Бронза.

— Потому что меня выперли,— сказал аббат.— Назначили инспектором, то есть, попросту говоря, сместили с должности. Именно так все и было, не будь я Петижан.

— Зато теперь вы можете путешествовать,— сказал Атанагор.

— О да, безусловно, я ужасно доволен! — воскликнул аббат.— Пошли искать Клода Леона.

— Пошли, — согласился археолог.

Бронза встала с кровати. Атанагор потянулся рукой к газовой горелке и сплюснул немного пламя, чтобы придать светильнику вид ночника. Потом все трое вышли из погрузившейся во мрак палатки.

XI

— Что-то долго мы идем,— заметил Атанагор.

— А? — встрепенулся Петижан.— Я и не считал. Я был погружен в медитацию — вполне классическую, впрочем,— о величии Бога и ничтожестве человека в пустыне.

— Да? — сказала Бронза.— Это не ново.

— Вообще-то говоря,— ответил Петижан,— я размышляю в ином ключе, чем мои коллеги. Это придает моим медитациям особый шарм и авторский стиль. Кроме того, я ввел в них велосипед.

— Интересно, как же вы это сделали? — спросил Атанагор.

— Любопытно, не правда ли? — оживился аббат.— Я тоже сначала думал как, а теперь делаю это играючи. Стоит мне только вспомнить о велосипеде — и хоп: готово дело.

— Вы так объяснили, что это кажется несложным,— сказал Атанагор.

— В общем, так оно и есть. Но не особо доверяйте этому чувству. Что это там впереди?

— Я ничего не вижу,— сказал Атанагор, распяливая веки.

— Это человек,— определила Бронза.

— Ага! — сказал аббат,— может быть, это Леон?

— Не думаю,— проговорил Атанагор.— Сегодня утром там ничего не было.

Продолжая спорить, они приблизились к предмету разговора. Это заняло немало времени, потому что предмет перемещался в том же направлении, что и они.

— Эгей! — крикнул Атанагор.

— Ого-го! — ответил голос Анжеля.

Предмет остановился и оказался Анжелем. Несколько секунд спустя группа нагнала его.

— Приветствую вас,— сказал Атанагор.— Знакомьтесь: это Бронза, а это — аббат Петижан.

— Здравствуйте...— ответил Анжель и пожал всем руки.

— Вы, вероятно, гуляете? — предположил Петижан.— И, наверное, медитируете.

— Нет,— сказал Анжель,— просто ухожу.

— Куда это? — осведомился археолог.

— Куда-нибудь,— ответил Анжель.— Они в гостинице производят столько шума.

— Кто «они»? — спросил аббат.— Вы знаете, я отличаюсь беспримерной способностью хранить тайны.

— О, тут нет никакой тайны,— признался Анжель.— Я скажу вам кто. Это Анна и Рошель.

— Ага! — сообразил аббат,— они, вероятно, занимаются...

— Она кричит. Она не умеет делать это молча. Просто ужас какой-то. Меня поселили в соседней комнате. Там невозможно находиться.

Бронза шагнула к Анжелю, обвила его шею руками и поцеловала.

— Пойдемте с нами,— позвала она.— Мы ищем Клода Леона. Знаете, аббат Петижан невозможно забавный.

Ночь цвета желтых чернил была исчеркана тонкими сверкающими штрихами падающих под разным углом звезд. Анжель пытался разглядеть лицо молодой женщины.

— Вы очень милая,— сказал он.

Аббат Петижан и Атанагор пошли вперед.

— Нет, я не всегда милая,— сказала Бронза.— Хотите увидеть, какая я?

— Хочу,— ответил Анжель.

— Тогда посветите зажигалкой.

— У меня нет зажигалки.

— В таком случае потрогайте меня руками,— сказала она, слегка отстраняясь.

Анжель положил руки на ее прямые плечи и поднялся вдоль шеи вверх. Пальцы его пробежали по щекам Бронзы, по ее сомкнутым векам и наконец заблудились в черных волосах.

— Каким странным запахом от вас пахнет,— сказал он.

— Чем же это?

— Пустыней.— Анжель уронил руки вдоль тела.

— Вы изучили только мое лицо,— сказала Бронза.

Анжель ничего не ответил. Он не шевелился. Она придвинулась к нему и снова обвила голыми руками его шею. Прижавшись щекой к его щеке, она шепнула:

— Вы плакали.

— Да,— пробормотал Анжель, боясь шелохнуться.

— Не стоит плакать из-за девицы. Ни одна девица не стоит слез.

— Я не из-за нее плакал,— сказал Анжель.— А из-за того, какой она была и какой теперь станет.

Казалось, он вышел из тяжкого забытья, и руки его обхватили талию молодой женщины.

— Вы очень милая,— повторил он.— Давайте догоним их.

Она разжала объятия и взяла его за руку. Они побежали по бугристому песку, спотыкаясь в темноте, и Бронза смеялась.

Аббат Петижан успел рассказать Атанагору, как Клод Леон сделался отшельником.

— Понимаете,— говорил он,— этот парень не заслуживал того, чтобы томиться всю жизнь в тюрьме.

— Разумеется,— согласился Атанагор.

— Вы тоже так думаете? Безусловно, он заслужил гильотину. Но у епископа всюду свои люди.

— Значит, Леону повезло.

— Заметьте, это мало что меняет. Быть отшельником, может, и неплохо. По крайней мере, отсрочка обеспечена.

— Почему?— спросила Бронза, поймав конец фразы.

— Потому что по прошествии трех-четырех лет отшельники, как правило, сходят с ума. Тогда они бредут куда глаза глядят до тех пор, пока не встретят маленькую девочку, которую убивают и насилуют.

— И так всегда? — удивился Анжель.

— Всегда,— убежденно заключил Петижан.— Известен один-единственный случай отступления от этого правила.

— И кто же это был? — спросил Атанагор.

— Очень порядочный человек. Истинный святой. Но это длинная история. Хотя и чертовски поучительная.

— Расскажите же скорей...— умоляюще-настойчиво попросила Бронза.

— Нет, никак невозможно,— ответил аббат.— Все это так длинно. Я вам расскажу только конец. Итак, он пошел куда глаза глядят и встретил маленькую девочку, которая...

— О, не продолжайте! — сказал Атанагор.— Какой ужас!

— ...которая сама его убила,— докончил Петижан.— Она была маньячка.

— О,— выдохнула Бронза,— какая жуткая история. Бедный юноша. Как его звали?

— Петижан. Ах нет, простите. Я немного задумался. Его звали Леверье.

— Невероятно,— сказал Анжель.— Я знал одного Леверье, но с ним не произошло ничего похожего.

— Значит, это был другой Леверье,— парировал аббат.— Или я наглый лжец.

— Несомненно...— сказал Атанагор.

— Смотрите, там огонек,— вдруг сказала Бронза.

— Должно быть, мы у цели,— ответил Петижан.— Простите, но необходимо, чтобы сначала я вошел один. Вы явитесь чуть позже. Таково правило.

— Тут некому проверять,— заметил Анжель.— Ничего не случится, если мы войдем вместе с вами.

— А моя недремлющая совесть? — возразил аббат.— Мот-мотылевич, король мотыльков...

— Всех околпачил, а сам был таков! — хором договорили остальные.

— Хорошо, я вижу, вы знакомы с обрядом не хуже меня...— сказал аббат.— Так и быть, беру вас с собой. Откровенно говоря, мне это больше по душе. Один я завяну со скуки.

Он подпрыгнул, перекувырнулся в воздухе и приземлился на полусогнутые ноги. Разлетевшиеся полы сутаны легли на песок, как лепестки большого черного цветка, едва различимого в темноте.

— Это тоже составляет часть обряда? — спросил археолог.

— Нет! Это маленькая хитрость моей бабушки. Она прибегала к ней, когда хотела незаметно пописать на песок. Должен вам признаться, я не ношу обычных апостольских кальсон. Слишком жарко. У меня есть на это специальное разрешение.

— Я думаю, весьма обременительно носить с собой такое количество разрешений,— заметил археолог.

— А я их микрофильмировал,— объяснил Петижан.— Копия занимает ничтожно малый реальный объем.— Он выпрямился.— Ну что ж, пошли!

Клод Леон поселился в крохотной, кокетливо обустроенной лачуге из дерева мягких, уютных пород. Сложенная из булыжников кровать занимала целый угол жилой комнаты; это был единственный предмет обстановки.

С кухней комнату соединяла дверь. Снаружи сквозь застекленное окно можно было видеть самого Клода Леона. Стоя на коленях перед кроватью и обхватив голову руками, он медитировал.

— Ку-ку! — сказал аббат, входя.

Отшельник поднял голову.

— Еще рано,— сказал он.— Я успел досчитать только до пятидесяти.

— Вы играете в прятки, сын мой? — спросил Петижан.

— Да, отец мой,— ответил Клод Леон.— С Лавандой.

— Вот как! — сказал аббат.— А мне можно поиграть с вами?

— Да-да, конечно! — ответил Клод, вставая.— Я пойду скажу Лаванде, она будет очень рада.

Он направился в кухню. Анжель, Бронза и археолог вошли в комнату вслед за аббатом.

— Разве вы не читаете специальных молитв, когда встречаетесь с отшельником? — удивилась Бронза.

— О нет,— сказал аббат.— Ведь он теперь профессионал! Все эти штучки только для непосвященных. В целом же принято следовать традиционным правилам.

Леон вернулся из кухни, ведя за собой обворожительную негритянку. У нее было овальное лицо, тонкий прямой нос, большие голубые глаза и невероятная копна рыжих волос. Одета она была в черный бюстгальтер.

— Это Лаванда,— пояснил Клод Леон.— О, здравствуйте,— сказал он, заметив трех новых посетителей.— Как поживаете?

— Меня зовут Атанагор,— представился археолог.— Это Анжель, а она — Бронза.

— Не хотите ли сыграть в прятки? — предложил отшельник.

— Давайте поговорим серьезно, сын мой,— сказал аббат.— Я должен вас проинспектировать. Мне нужно задать вам кое-какие вопросы для составления отчета.

— В таком случае мы оставим вас одних,— сказал Атанагор.

— Это вовсе не обязательно,— заверил его Петижан.— У меня всех разговоров на пять минут.

— Присаживайтесь,— сказала Лаванда.— Пусть они работают, а мы с вами пойдем на кухню.

Кожа ее в точности соответствовала цвету волос Бронзы, и наоборот. Анжель попытался мысленно поменять детали местами, и у него закружилась голова.

— Вы нарочно это сделали? — спросил он Бронзу.

— Нет,— ответила она,— я ее даже не знала.

— Уверяю вас, это чистая случайность,— подтвердила Лаванда.

Они прошли на кухню. Аббат остался с Леоном.

— Ну так что? — спросил Петижан.

— Ничего особенного,— сказал Леон.

— Вам здесь нравится?

— Сойдет.

— Как обстоит дело с благодатью?

— Снисходит и уходит.

— А мысли какие?

— Черные,— признался Леон.— Впрочем, с Лавандой это вполне простительно. Черные, но не печальные. Огненно-черные, я бы сказал.

— Это цвета ада,— предупредил аббат.

— Да, но внутри у нее розовый бархат.

— Правда?

— Истинная правда.

— Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок.

— Аминь! — заключил отшельник.

Аббат Петижан размышлял.

— С виду все как будто в порядке,— сказал он.— Я думаю, из вас выйдет вполне благообразный отшельник. Надо бы повесить табличку. По воскресным дням к вам будут наведываться посетители.

— Буду очень рад,— сказал Клод Леон.

— А вы уже выбрали себе святое деяние?

— Чего?..

— Вам должны были объяснить. Стоять всю жизнь на столпе или бичевать себя пять раз на дню, или носить власяницу, или грызть булыжники, или молиться двадцать четыре часа в сутки. Ну и так далее.

— Мне никто об этом не говорил,— сказал Клод Леон.— А можно выбрать что-нибудь другое? Перечисленные деяния кажутся мне недостаточно святыми. К тому же все это уже было.

— Остерегайтесь чрезмерной оригинальности, сын мой,— посоветовал аббат.

— Хорошо, отец мой,— ответил отшельник. Он подумал немного, потом проговорил: — Я могу трахать Лаванду...

На этот раз пришел черед аббата глубоко задуматься.

— Лично у меня нет никаких возражений,— сказал он.— Но не забывайте, что вам придется делать это всякий раз, как будут являться посетители.

— Так ведь это приятно,— сказал Леон.

— Ну что ж, значит, договорились. Розовый бархат, говорите?

— Именно так.

Аббат содрогнулся, и шерсть у него на шее встала дыбом. Он провел рукой по низу живота.

— Устрашающе,— сказал он.— В общем, это все, что я имел вам сказать. Осталось распорядиться, чтобы Общество помощи отшельникам выделило вам дополнительный паек консервов.

— О, мне хватает! — сказал Клод.

— Вам много понадобится. Посетителей будет хоть отбавляй. Они там затеяли железную дорогу строить.

— Ну и ну! — сказал Клод. Несмотря на бледность, он был явно очень доволен.— Надеюсь, меня будут часто навещать...

— Повторяю, вы пугаете меня,— сказал аббат.— А ведь я не из робкого десятка. Раз, два, три, четыре, пять...

— Вышел зайчик погулять,— договорил отшельник.

— Теперь мы можем присоединиться к остальным. Значит, относительно вашего святого деяния договорились. Я так и запишу в моем отчете.

— Благодарю вас, — сказал Клод.

Пассаж

Нет никаких сомнений в том, что Амадис Дюдю — преотвратнейший тип. Он изрядно всем надоел, и, возможно, в середине повествования мы его попросту уберем, до того он злобный, заносчивый, беспардонный и напыщенный. А сверх того еще и гомик. Почти все персонажи теперь на месте, и следствием этого явятся разнообразные события. Прежде всего, строительство железной дороги, которое окажется весьма трудоемким, потому что забыли завести балласт. В строительстве дороги балласт — главное, и его нельзя заменить ракушками маленьких желтых улиток, что, впрочем, никто и не предлагал. Пока суд да дело, рельсы будут крепить к шпалам на весу, а когда доставят балласт, железную дорогу опустят. А что, так тоже можно прокладывать дороги. Впрочем, я вовсе не балласт имел в виду, когда обещал рассказать о камнях, встречающихся в пустыне. Это был скорее грубо-символический и не слишком изощренный способ подачи материала, хотя и без того ясно, сколь губительной, в конце концов, окажется для героев атмосфера пустыни — в частности из-за солнца с черными полосами. Признаюсь напоследок, что ожидал появления еще одного второстепенного персонажа: Альфредо Жабеса, который разбирается в моделировании. Но теперь слишком поздно. Крюк же потерпит кораблекрушение и прибудет на место, когда все будет кончено. Так что о нем я расскажу в следующем пассаже или не расскажу вовсе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В прохладном, неподвижном воздухе веяло грозой. Зеленые травы, как всегда, упрямо топорщились, и неутомимое солнце играло белыми бликами на их остриях. Измученные гепатроли наполовину закрылись; Жозеф Баррицоне опустил шторы в своем ресторанчике, над крышей которого струился дрожащий воздух. У входа ждало желто-черное такси с поднятым флажком. Грузовики уехали за балластом. Инженеры работали в своих комнатах, а технические исполнители подпиливали косо срезанные рельсы; воздух звенел от мелодичного скрежета новых напильников. Из

окна Анжель видел Олив и Дидиша, которые, взявшись за руки и прихватив коричневую корзинку, отправились собирать люмиток. На чертеже у окна сохла тушь. В соседней комнате Анна производил вычисления; еще дальше Амадис диктовал Рошель письма, а внизу, в баре, эта сволочь Арлан выпивал в одиночестве перед очередным разносом, который он собирался устроить Марену и Карло. На чердаке, над головой Анжеля, громыхали гулкие шаги профессора Жуйживьома, устроившего там образцовую клинику. Больных, правда, пока не было, поэтому на операционном столе профессор собирал авиамодели. Время от времени было слышно, как он прыгает от радости; а то вдруг принимался бранить практиканта, и раскаты его голоса с размаху ударялись в потолок, после чего начинали скрипеть плаксивые интонации студента.

Анжель снова склонился над планшетом. Если данные Дюдю верны, то сомнений быть не может. Он покачал головой и отложил рейсфедер. Затем потянулся и устало побрел к двери.

— Войти можно? — спросил голос Анжеля.

Анна поднял голову и сказал «да».

— Привет, старик.

— Здорово,— сказал Анжель.— Продвигается?

— Угу. Почти закончил.

— Там чепуха какая-то выходит.

— Что еще?

— Придется экспроприировать Баррицоне.

— Ты что, серьезно? — спросил Анна.— Уверен?

— Абсолютно. Дважды проверял.

Анна погрузился в изучение расчетов и чертежей..

— Ты прав,— сказал он.— Дорога ляжет как раз поперек гостиницы.

— Что будем делать? Надо отводить ее в сторону.

— Амадис не согласится.

— Может, пойти спросить?

— Давай спросим,— сказал Анна.

Расправив могучее тело, он оттолкнул от себя стул.

— Не было печали,— сказал он.

— Это точно,— согласился Анжель.

Анна вышел. Анжель, закрыв дверь, последовал за ним. Остановились они около следующей двери, за которой гудел человеческий голос и сухими залпами взрывалась пишущая машинка. Анна постучал два раза.

— Войдите! — закричал Амадис.

Машинка остановилась. Анна и Анжель вошли в кабинет. Анжель прикрыл за собой дверь.

— Что там у вас? — спросил Дюдю.— Не люблю, когда мешают.

— Ничего не получается,— сказал Анна.— По вашим исходным данным, дорога должна перерезать гостиницу пополам.

— Какую еще гостиницу?

— Вот эту. Гостиницу Баррицоне.

— Ну и что? — сказал Дюдю.— Подумаешь! Мы ее экспроприируем.

— А пустить дорогу стороной нельзя?

— Вы не в своем уме, друг мой,— сказал Амадис.— Во-первых, с какой стати Баррицоне поставил свою гостиницу посреди пустыни, не спросясь даже, может, она мешает кому-нибудь?

— Но она никому не мешала,— заметил Анжель.

— Вы прекрасно видите, что теперь мешает,— сказал Дюдю.— Вам обоим платят за то, чтобы вы делали расчеты и чертежи. Работа готова?

— Не до конца,— сказал Анна.

— Так вот: идите и доканчивайте. А по этому вопросу я свяжусь с Правлением. Впрочем, не сомневаюсь, что намеченная трасса должна остаться на прежнем месте.— Он повернулся к Рошель: — Продолжим, мадемуазель.

Анжель посмотрел на девушку. В рассеянном свете опущенных штор лицо ее выглядело нежным и правильным, только глаза выдавали усталость. Она улыбнулась Анне. Молодые люди вышли из кабинета.

— Ну что? — спросил Анжель.

— Ничего не поделаешь, придется продолжать,— сказал Анна, пожимая плечами.— Что, в принципе, это меняет?

— Да ничего,— пробормотал Анжель.

Ему хотелось войти в кабинет, убить Дюдю и поцеловать Рошель. Пол в коридоре был сложен из неструганых досок и немного пах щёлоком; на стыках сквозь щели пробивался желтый песок. В конце коридора слабый ветерок теребил на окне тяжелую ветку гепатроля. И Анжеля охватило то же ощущение, что недавно вечером у Клода Леона: будто он просыпается.

— Осточертело мне все,— сказал он,— пошли прошвырнемся.

— Как это прошвырнемся? — не понял Анна.

— Да оставь ты свои расчеты. Пошли лучше погуляем.

— Но надо сперва доделать...

— Потом доделаешь.

— Я устал как собака,— сказал Анна.

— Сам виноват.

Анна мгновенно расплылся в улыбке:

— Я не один виноват. У меня есть соучастница.

— Тогда нечего было брать ее с собой,— сказал Анжель.

— Да, если бы не она, я бы не так хотел спать.

— Никто не заставляет тебя спать с ней каждый вечер.

— Но ей это нравится,— сказал Анна.

Анжель поколебался, потом произнес:

— Ей бы это понравилось с кем угодно.

— Сомневаюсь,— ответил Анна. Он подумал и продолжал без тени самодовольства:

— Я, правда, предпочел бы, чтобы она занималась этим понемногу со всеми и чтобы мне было плевать. Но она хочет только со мной; кроме того, мне пока еще не плевать.

— Почему ты не женишься на ней?

— Ох,— вздохнул Анна,— потому что рано или поздно мне все-таки станет плевать. Вот я и жду, когда станет.

— А если не станет?

— Не стало бы, если бы она была моей первой женщиной. Но в этом деле всегда идет по убывающей. Первую женщину ты любишь очень сильно, ну скажем, два года. Потом вдруг начинаешь замечать, что она для тебя уже не то, что прежде.

— Почему? — спросил Анжель.— Ведь ты ее по-прежнему любишь.

— Уверяю тебя, это так,— сказал Анна.— Любовь может длиться больше двух лет, может и меньше, если ты сделал неудачный выбор. Внезапно ты обнаруживаешь, что другая действует на тебя точно так же, как действовала первая, и ты молодеешь на два года. Но на этот раз все длится лишь год. И так далее. Заметь, что ты одновременно можешь все так же любить первую, встречаться с ней, даже спать, но все равно это уже не то, что раньше. Любовь опускается до уровня условного рефлекса.

— Ерунда все это,— сказал Анжель.— Не думаю, чтоб я был устроен так же.

— Ты не можешь ничего изменить,— заметил Анна,— все мы так устроены. В сущности, нет нужды в какой-то одной, определенной женщине.

— Физически — может быть,— сказал Анжель.

— Нет, не только физически. Даже с интеллектуальной точки зрения незаменимых женщин нет. Они все слишком примитивны.

Анжель не отвечал. Они стояли в коридоре, Анна подпирал дверной косяк своей комнаты. Анжель посмотрел на него. Потом, прерывисто дыша, произнес:

— И ты говоришь такое... И это говоришь ты?..

— Да, я знаю,— сказал Анна.

— Если бы мне отдали Рошель, если бы она меня любила, мне бы никогда не понадобилась любовь другой женщины.

— Понадобилась бы. Года через два-три, ну четыре. И если бы к этому моменту она любила тебя, как прежде, ты сам постарался бы все изменить.

— Зачем?

— Затем, чтобы она тебя больше не любила.

— Но я сделан иначе, чем ты,— сказал Анжель.

— Женщины начисто лишены воображения,— продолжал Анна.— Они уверены, что достаточно их присутствия, чтобы заполнить жизнь. Но в мире так много всего другого.

— Неправда,— сказал Анжель.— Я тоже так рассуждал, пока не узнал Рошель.

— После того, как ты ее узнал, ничего не изменилось. Все так и осталось. Мир богат и разнообразен. Взять хотя бы эту острую зеленую траву. Ужасно приятно потрогать ее рукой и раздавить в пальцах скорлупку желтой улитки. Здорово растянуться на сухом горячем песке и смотреть на коричневые блестящие зернышки, из которых он состоит, и почувствовать, как он струится сквозь пальцы. Или смотреть на голый рельс — голубой и холодный... он издает такой чистый звук... А можно наблюдать, как пар вырывается из вентиляционной трубы, или... я даже не знаю, что еще.

— И это говоришь мне ты, Анна...

— Или возьми солнце с его черными лучами... Кто знает, что там, за границей черной зоны?.. А самолеты профессора Жуйживьома? Или облака? А копаться в земле и находить там всякую всячину? А слушать музыку?

Анжель закрыл глаза.

— Отдай мне Рошель,— попросил он.— Ты ее не любишь.

— Люблю,— сказал Анна.— Но я не могу любить ее еще больше. Не могу притворяться, будто мира вокруг меня не существует. Я отдам тебе ее, если хочешь. Только она сама не захочет. Она хочет, чтобы я все время думал о ней и жил только ею.

— А еще? Что еще она хочет? — спросил Анжель.

— Она хочет, чтобы весь мир вымер и высох. Чтобы все исчезло и остались лишь мы двое. И чтобы я занял место Амадиса Дюдю, а она стала бы моей секретаршей.

— Но ты же ее разрушаешь,— тихо проговорил Анжель.

— Ты хочешь сам ее разрушать?

— Я бы не стал ее разрушать. Я бы ее даже не касался, а только целовал бы и обнаженную заворачивал в белую ткань.

— Женщины созданы совсем не для этого,— сказал Анна.— Они не подозревают даже, что в мире есть еще что-то. Мало кто из них об этом догадывается. Впрочем, то не их вина. Они просто боятся догадаться. Им и в голову не приходит, как много всего вокруг.

— А что же вокруг?

— Вокруг земля...— сказал Анна.— Можно лежать на земле, на песке, чтобы в голове было пусто и веял легкий ветерок. Можно ходить и смотреть по сторонам, и делать что-нибудь, строить каменные дома для людей, делать для них машины, давать им свет или что-нибудь еще, что каждый мог бы получить — и они бы потом тоже могли ничего не делать, могли бы лежать на песке, на солнце, с пустой головой, и спать с женщинами.

— Ты сам то хочешь ее, то не хочешь,— сказал Анжель.

— Я хочу все время, но я хочу и всего остального тоже,— ответил Анна.

— Пожалуйста, не губи Рошель.

Анжель произнес эти слова с мольбой и дрожью в голосе. Анна провел рукой по лбу.

— Она сама себя губит,— сказал он.— Ты не сможешь ее остановить. Когда я ее брошу, она совсем сломается. Но если она тебя полюбит, то быстро восстановится. И будет почти такой, как вначале. Но потом она снова начнет себя губить и будет делать это вдвое быстрее. Ты не сможешь этого вынести.

— И что же?..— спросил Анжель.

— А то, что я не знаю, как тебе быть. Она будет разрушаться, и скорость разрушения будет расти в геометрической прогрессии.

— Постарайся быть с ней гадким,— сказал Анжель.

Анна засмеялся:

— Не могу пока. Я еще люблю ее, мне нравится с ней спать.

— Молчи,— сказал Анжель.

— Я пойду доделывать расчеты. Лопух ты все-таки. Смотри, сколько красивых девок кругом.

— Да ну их. И без них тошно.

Анна сжал ему плечо своей сильной рукой.

— Иди пройдись,— сказал он.— Подыши, проветрись. Отвлекись немного.

— Я и хотел пройтись,— сказал Анжель.— Это ты отказался. А думать о другом я все равно не могу. Она так изменилась.

— Да вовсе нет. Просто она лучше поняла, что надо делать в постели.

Анжель шумно вздохнул, повернулся и пошел прочь. Анна засмеялся, потом открыл дверь и вернулся в свой кабинет.

II

Увязая ногами в горячем песке, Анжель чувствовал, как песчинки забиваются в плетеные сандалии и просачиваются у него меж пальцев. В ушах все еще звучали слова Анны и его голос, а перед глазами стояло нежное и свежее лицо Рошель, склоненное над пишущей машинкой, тонко очерченные дуги ее бровей и блестящий рот.

Далеко впереди ровной полосой ложился на землю первый черный луч, пересекая пустыню четкой линией, которая послушно и упрямо следовала движению вздымающихся и опадающих дюн. Анжель шел насколько мог быстро, теряя на зыбких подъемах несколько сантиметров при каждом шаге, стремительно скатываясь с горбатых спусков. Он испытывал физическое наслаждение оттого, что первым прокладывал след по девственно-желтой тропе. Боль его понемногу стихла; ее впитала пористая чистота окружавшей его всепоглощающей пустыни.

Темная полоса приближалась; она вставала нескончаемой тускло-голой стеной, еще более притягательной, чем подлинная тень; это было скорее внезапное и полное прекращение света, непроницаемая, густая пустота, окончательное, непоправимое нарушение целостности пространства.

Еще несколько шагов, и он окажется за чертой. Вплотную приблизившись к черной стене, Анжель нерешительно вытянул руку. Рука исчезла из пределов видимости, и он ощутил холод неведомого мира. Не колеблясь более, он вошел в него весь, будто нырнул под черное покрывало.

Продвигался он медленно. Ему было холодно; сердце колотилось. Порывшись в кармане, Анжель нащупал коробок и чиркнул спичкой. Судя по звуку, дерево загорелось, но мрак не поредел. Чуть испугавшись, Анжель выронил спичку и протер глаза. Он снова старательно провел фосфорной головкой по шероховатому боку коробка. Спичка зашипела, воспламеняясь. Анжель сунул коробок в левый карман и наугад приблизил указательный палец к предполагаемому пламени. Обжегшись, он отдернул руку и выронил вторую спичку.

Анжель осторожно повернул назад и попробовал вернуться к тому месту, где вошел в темноту. Ему показалось, что он идет дольше, чем шел вначале, а кругом по-прежнему стояла непроглядная ночь. Он снова остановился. Кровь бурлила у него в жилах, но пальцы были холодны как лед. Он сел на песок: надо было успокоиться; он сунул руки под мышки, пытаясь согреться.

Он ждал. Постепенно удары сердца сделались спокойнее. В членах еще сохранилась память о движениях, совершенных с момента вступления в темноту. Уверенно, не торопясь, Анжель определил свое местонахождение и твердым шагом двинулся навстречу свету. Несколько секунд спустя он вновь обрел контакт с горячим песком пустыни, желтым и неподвижным, ослепительно сверкающим перед его прищуренными веками. Вдалеке, над плоской крышей заведения Баррицоне колыхался воздух.

Анжель отошел от стены мрака и упал на податливый песок. У самого его лица ленивая люмитка неспешно взбиралась по длинному изогнутому стеблю, обволакивая его переливчатой пленкой. Анжель растянулся на песке, выдавив ложбинки для всех частей тела, расслабил мускулатуру и мозг и просто дышал, притихший и печальный.

III

Заседание

1

Президент Урсус де Жан-Полен обнаружил, что швейцара нет на месте, и нахмурил брови. Тем не менее он поднялся по лестнице и проник в зал заседаний. Здесь он снова нахмурил брови: вокруг стола — ни души. Соединив большой и указательный пальцы, он вытянул из кармана ушко золотых часов; ушко плавно перешло сначала в цепочку из того же металла, а уже потом в часы как таковые. К своему величайшему изумлению, он констатировал, что сей безупречный механизм показывал тот же час, что и некоторое время назад, из-за чего, собственно, он, Жан-Полен, так спешил. Придя к определенному заключению относительно согласованного, но отнюдь не преднамеренного, как он было подумал, отсутствия швейцара и остальных членов Правления президент бегом проделал обратный путь до лимузина и потребовал от своего не в меру усердного шофера, чтобы тот вез его куда угодно, лишь бы только, черт подери, никто не видел, как президент явился на заседание первым!

2

Скривив губы в усталой гримасе, швейцар появился в дверях кабинета в задумчивости и заковылял прямиком к большому шкафу, где ждала своего часа коллекция порнооткрыток. Усталая гримаса, трясущиеся руки и влажная ширинка говорили о том, что это был его день. В известном месте еще покалывало, отчего в области копчика швейцар ощущал неравномерные вспышки разной силы, от которых сводило его старые седалищные мышцы, увядшие за долгие годы сидения на стуле.

3

Моська, раздавленная по дороге Агатом Марионом, никогда не разбиравшим, куда он едет, имела легкие необычного зеленого цвета. Убедившись в этом, блюститель уличной чистоты и порядка смел ее останки в сточный желоб, отчего желоб незамедлительно начало тошнить; в результате улицу пришлось перекрыть на несколько дней.

4

Вопреки многочисленным препонам, порожденным злонамеренностью человеческих особей и неодушевленных предметов, а также неумолимостью законов вероятности, большинство заседателей собрались-таки у дверей залы, а вслед за тем даже проникли в нее, осуществив предварительно серию ладонесоприкосновений и обменявшись эякуляцией слюнных брызг, что является общепринятым ритуалом в любом цивилизованном обществе, притом что в военизированном обществе этот обычай заменен поднесением ладони к виску и каблучным прищелком, сопровождаемыми в ряде случаев краткими выкриками, посылаемыми зачастую с довольно большого расстояния, что в сумме своей дает нам право сделать вывод о высоком уровне санитарной гигиены военных людей — вывод, заметим, ошибочный, от которого мы будем вынуждены впоследствии отказаться, коли случится нам увидеть отхожие места сих доблестных бойцов, исключив из числа последних лишь американских солдат, кои справляют большую нужду, присев рядком, и содержат свои сортиры в чистоте и дезинфекционном благоухании, что вообще в порядке вещей в тех странах, где всерьез занимаются пропагандой и где водятся доверчивые *необитатели,* позволяющие убедить себя подобными средствами,— а это, как известно, никому не чуждо,— при условии, что осуществляемая таким образом пропаганда не ведется вслепую, но ориентируется на пожелания, выявленные спецслужбами изучения и ориентации, а также на результаты рефрен-дум, думаемых счастливыми правителями во благо племен и народов, собранных под их заботливым крылышком.

Итак, заседание было открыто при отсутствии одного лишь участника, которого задержали обстоятельства и который явился двумя днями позже, чтобы принести свои извинения. Но швейцар был непреклонен.

5

— Господа, слово предоставляется нашему преданному секретарю.

— Господа, прежде чем сообщить вам свежеполученные новости о ходе работ в первые недели строительства и ввиду отсутствия докладчика, я хотел бы зачитать доклад, присланный из Эксопотамии, который, к счастью, докладчик успел вовремя мне передать. Отдаю должное его осторожности, если не сказать предусмотрительности, ибо никто из нас не застрахован от неожиданностей.

— Полностью с вами согласен!

— А о чем речь?

— Сами прекрасно знаете.

— Ах, да! Вспомнил!

— Господа, итак — вышеупомянутый доклад.

— Несмотря на всеразличные трудности и благодаря стараниям и изобретательности нашего технического директора Амадиса Дюдю, все необходимое оборудование было доставлено на место, и нет нужны специально останавливаться на отменных профессиональных качествах, преданности и самоотверженности, а также беспримерной смелости технического директора Дюдю, так как огромные трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, включая сознательное малодушие и хитрое коварство технических исполнителей, а также случайных элементов и инженеров вообще, за исключением старшего мастера Арлана, свидетельствуют о том, что трудноосуществимая задача, которую Амадис Дюдю взял на свои плечи, могла быть выполнена только им одним.

— Полностью с вами согласен.

— Блестящий доклад!

— Я что-то не очень понял. О чем речь?

— Да вы и так прекрасно все знаете.

— Ах, да! Передайте мне ваши карточки.

— Господа, существует одно обстоятельство, в отношении которого оказалось невозможным применение предупредительных или каких-либо иных устраняющих мер; я имею в виду существование посреди пустыни, а именно на линии, определяющей направление нашей будущей дороги, некоего заведения под названием «Отель Баррицонс». Наш технический директор Дюдю внес предложение: экспроприировать, а затем частично разрушить упомянутое заведение, применив наиболее подходящие для этого средства.

— А вы знаете, что такое люмитка?

— Подобная ситуация просто ошарашивает!

— Мне кажется, мы должны одобрить.

— Господа, приступим к голосованию. Кто «за» — попрошу поднять...

— Совершенно ни к чему.

— Все полностью с вами согласны.

— Совершенно верно, Баррицоне надо экспроприировать.

— Итак, господа, Баррицоне будет экспроприирован. Наш секретарь возьмет на себя хлопоты по данному делу. Учитывая тот факт, что речь идет о заведении, представляющем общественный интерес, нет никаких сомнений в том, что урегулирование всех формальностей не может не потребовать кое-каких усилий.

— Господа, предлагаю устроить поздравительное голосование в адрес автора доклада, который был вам только что зачитан, и которым является не кто иной, как наш технический директор господин Амадис Дюдю.

— Господа, полагаю, вы будете полностью согласны с тем, чтобы направить Дюдю, как только что предложил наш выдающийся коллега господин Марион, поздравительную ноту.

— Господа, опираясь на некоторые пункты доклада, можно утверждать, что поведение сотрудников, находящихся в подчинении Амадиса Дюдю, просто неслыханно. Думаю, мы не совершим ошибки, если урежем их оклад на двадцать процентов.

— А сэкономленную сумму можно будет перевести на счет господина Дюдю в качестве дополнения к подъемным.

— Господа, Дюдю, без сомнения, откажется от какого бы то ни было дополнительного вознаграждения.

— Полностью с вами согласен.

— Таким образом мы сэкономим дважды.

— Арлану мы тоже повышать не будем?

— Совершенно ни к чему. Этим людям все заменяет их безупречная совесть.

— Но остальным мы, разумеется, снизим.

— Господа, все решения будут зафиксированы секретарем в протоколе заседания. Надеюсь, повестка дня ни у кого не вызывает замечаний?

— Что вы скажете об этой ситуации?

— Она просто ошарашивает!

— Господа, заседание закрыто.

IV

Держа Атанагора под руку, Бронза поднималась с ним по тропе, ведущей к отелю Баррицоне. В забое остались Брис и Бертиль, не желавшие прерывать работу, пока окончательно не расчистят огромную залу, обнаруженную несколько дней назад. Машины рыли без остановки, открывая доступ все в новые коридоры и залы, сообщающиеся между собой посредством подземных галерей с колоннами по обеим сторонам. Повсюду в изобилии были рассыпаны ценные находки, как то: шпульки для волос, корабельные гребни, наперстки и наперстники, пузырьки — мыльные и для духов, предметы культа и культуры, включая оккультные науки; а кроме того, горшки — в большом количестве. Молоток Атанагора не скучал без дела. Тем не менее археологу требовался отдых и перемена мыслей. Поэтому Бронза отправилась с ним.

Они поднимались и спускались по сгорбленным песчаным скатам, и солнце окутывало их золотым сиянием. С высоты дюны открывался вид на фасад отеля и красные цветы, а еще на стройку, где вокруг сложенных штабелями рельсов и шпал суетились технические исполнители. Издалека Бронза различила более хрупкие фигурки Олив и Дидиша, которые играли на сваленных в кучу бревнах. Не останавливаясь, женщина и археолог продолжали путь и вскоре очутились в баре отеля.

— Привет, Пипетка,— сказал Атанагор.

— Буон джорно,— ответил Пиппо.— Вы стригаре вострa бородетта в шесть часов утром раньо?

— Не-а,— сказал Атанагор.

— Кобель паршивый наш гулящий Бенедетто!..— воскликнул Пиппо.— И вам не стыдно, патрон?

— Нет,— ответил археолог.— Как продвигаются дела?

— Плохи наши дела, патрон,— вздохнул Пиппо.— Тоска кругом, запустенье, хоть волком вой. То ли дело было в Спаньи, где я командовал шеренгой землекопов! Э-э, надо было это видеть!.. А тут... Меррские пуррки!..

— Кто меркзие? — переспросила Бронза.

— Пуррки! Свиньи значит!

— Налей-ка нам выпить,— сказал археолог.

— Я им такой дипломатический церемоний разведу, пурркам этим. Да катились бы они все куда подальше в Варршавву! — не унимался Пиппо, дополняя пожелание соответствующим обстоятельству жестом, который состоял в вытягивании вперед правой ладони с прижатым большим пальцем.

Атанагор улыбнулся.

— Налей нам, пожалуй, два «турина».

— Пожалуйста, патрон,— сказал Пиппо.

— Что они вам сделали? — спросила Бронза.

— Э-э! — сказал Пиппо.— Громить они хотят мою лавочку к чертовой бабушке. Все, спета мой песенка! Финита! — И он затянул:

Забыл Витторьо [1] обещанья,
Про то узнал Вильгельм Второй
И в Рим Бюлова для дознанья
Послал с задачею такой...

— Красивая песня,— сказал археолог.

— Отдай им Тренто и Триесте,
Отдай Трентино весь.
С Витторьо быть должны мы вместе,
Пускай почтет за честь.
По небу ероплан летит,
А в нем Д'Аннунцио сидит,
И точно пташка распевает.
Chi va piano, тот va sano. [2]

— Я где-то это слышал,— сказал Атанагор.

— Chi va sano va lontano.
Chi va forte va alla morte.
Evviva la liberta! [3]

Бронза захлопала в ладоши. Пиппо голосил во все горло, напрягая хриплые остатки своего тенора. В потолок негромко постучали.

— Что это? — спросил археолог.

— Э-э, еще один пуррк! — прорычал Пиппо. Вид у него, как всегда, был яростный и вместе с тем ликующий.— Это Ампути Дюдю. Он не нравится, как я петь.

— Его зовут Амадис,— поправила Бронза.

— Ну Амадис! Амудис-Ампутис! Какой хрен разница?

— А что там за история с лавочкой? — спросил Ата.

— Дипломатический штучка этого Ампутилуса. Он хочет меня экстрагировать... Как разинет хайло, так словами и сыпать, пуррк! Других не знает! Говорит, это надо было ждать.

— Экспроприировать? Тебя? — удивился Ата.

— Во-во. Это такой в этом краю крайнее слово.

— Тогда тебе не надо будет работать.

— А на кой я буду делать с этими дурацкими каникулы?

— Слушай, выпей с нами стаканчик,— предложил Ата.

— Благодарю, патрон.

— Это железной дороге помешал ваш отель? — спросила Бронза.

— О да! — сказал Пиппо.— Этой хреновой железной дороге! Чин-чин!

— Чин-чин,— повторила Бронза, и все трое опорожнили свои стаканы.

— А что Анжель, дома? — спросил Ата.

— У себя, кажется,— сказал Пиппо.— Точно не знаю. Но думаю, так. Сидит, чертит, чертит...— Он нажал на кнопку позади стойки.— Если Анжель у себя, то скоро приходить.

— Спасибо тебе,— сказал археолог.

— Этот Амудополис — сущий пуррк,— сказал Пиппо в заключение и снова принялся напевать, вытирая стаканы.

Видя, что Анжель не спускается, Атанагор спросил:

— Сколько я тебе должен?

— Тридцать франков,— ответил Пиппо.— Тоска здесь, нищета.

— Вот, возьми,— сказал археолог.— Пошли с нами, посмотришь, как строят. Анжеля, похоже, нету.

— Э-э! Куда я пойду! — сказал Пиппо.— Они крутятся тут, как мухи. Я уйду — они всё выпивать.

— Ну тогда счастливо.

— Счастливо, патрон.

---

[1] Речь идет о последнем короле Италии Викторе-Эммануиле III (1869—1947) и Бернхарде Бюлове (1849—1929) — немецком политическом деятеле, канцлере империи.

[2] Тише едешь — дальше будешь. *Досл.:* кто едет тихо, едет благополучно *(итал.)*.

[3] *Досл.:* кто едет благополучно, едет далеко,
кто едет быстро, едет к смерти,
да здравствует свобода! *(итал.)*

Бронза послала итальянцу обворожительную улыбку, и Пиппо залепетал что-то несуразное. Она вышла вслед за Ата, и они вместе направились к стройке.

В воздухе пахло смолой и цветами. Безжалостно скошенные зеленые травы были раскиданы по обеим сторонам трассы, намеченной грейдерами; из жестких стеблей вытекали стеклянистые, благоухающие капли; они скатывались на песок и облипали желтыми крупинками. Дорогу тянули вдоль линии, намеченной в соответствии с указаниями Дюдю. Атанагор и Бронза растерянно и грустно смотрели на охапки упругих трав, безвкусно набросанных вдоль обочины, и на истерзанную поверхность когда-то гладких дюн. Они поднялись на холм, спустились в ложбину, поднялись снова — и увидели стройку.

Голые по пояс, Карло и Марен гнули спины под безучастным солнцем, вцепившись обеими руками в крупнокалиберные пневматические молотки. Воздух содрогался от их сухого треска, к которому добавлялось глухое ворчание компрессора, работавшего на некотором удалении. Рабочие копали без передышки, почти ослепленные фонтанами взлетающего песка, который лип к их влажной коже. Одно измерение дороги было уже выровнено, и по обеим сторонам рва вздымались высокие, острые насыпи. Рабочие врезались в дюну на среднем уровне пустыни, вычисленном Анной и Анжелем на основании предварительных топографических данных, но уровень этот оказался гораздо ниже поверхности, по которой ходили ногами. Так что дорогу пришлось пустить по дну котловины, а песок ссыпать по обеим ее сторонам.

Атанагор нахмурился.

— Ничего себе...— сказал он.

Бронза не ответила. Они подошли к землекопам.

— День добрый,— сказал археолог.

Карло поднял голову. Он был высокий, светловолосый, с голубыми, налитыми кровью глазами, которые, казалось, не видели собеседника.

— Привет! — буркнул он.

— Дело идет...— сказала Бронза.

— Туго,— возразил Карло.— Земля твердая. Как камень. Песок только сверху.

— Так уж получается,— начал объяснять Атанагор.— Здесь совсем не бывает ветра, вот песок и спрессовывается.

— А чего ж это он не спрессовывается на поверхности? — спросил Карло.

— Там, куда проникает солнечное тепло, не может происходить окаменения.

— А-а...— сказал Карло.

Марен перестал копать.

— Если будем останавливаться, сейчас эта сволочь Арлан сюда припрется,— сказал он.

Карло включил свой молоток.

— Вы что же, одни все делаете? — спросил Атанагор.

Ему приходилось орать, чтобы перекрыть адский рев механизмов. Длинный стальной бур впивался в песок, поднимая тучи голубоватой пыли; натруженные руки Карло отчаянно сжимали горизонтальные рукоятки.

— Одни...— выкрикнул Марен.— Остальные уехали за балластом.

— Как, три грузовика? — прокричал Атанагор.

— Да,— завопил в ответ Марен.

У него была черная косматая шевелюра, поросшая шерстью грудь и изможденное детское лицо. Взгляд его оторвался от археолога и остановился на молодой женщине.

— Это кто? — спросил он Атанагора, выключив молоток.

— Меня зовут Бронза,— сказала женщина, протягивая руку.— Мы делаем ту же работу, что и вы, но только под землей.

Марен улыбнулся и осторожно сжал ее крепкие пальцы в своей сухой, растрескавшейся ладони.

— Привет,— сказал он.

Карло продолжал рыть. Марен с сожалением посмотрел на Бронзу.

— Нам нельзя останавливаться. Из-за этого Арлана. А то пошли бы выпили по стаканчику.

— А твоя жена?..— прокричал Карло, выключая мотор.

Бронза расхохоталась:

— Неужели она такая ревнивая?

— Да нет,— сказал Марен,— она ведь знает, что я серьезный парень.

— Попробуй тут не быть серьезным,— заметил Карло.— В этой дыре не шибко разгуляешься...

— Так увидимся в воскресенье,— пообещала Бронза.

— После мессы,— в шутку ответил Марен.

— Здесь не ходят к мессе.

— Тут есть отшельник,— сказал Атанагор.— Его вроде как будут посещать по воскресеньям.

— Кто это придумал? — насторожился Марен.— Лично я предпочел бы выпить с этой крошкой.

— Аббат сам вам все растолкует,— сказал археолог.

— Да пошел он... Терпеть не могу священников.

— А чем тебе еще заниматься? — насмешливо проговорил Карло.— Может, отправишься на прогулку со шпанятами и супружницей?

— Я тоже не люблю священников,— сказал Атанагор,— но этот совсем не похож на остальных.

— А толку-то? — ответил Марен.— Все равно он в сутане.

— Он ужасный весельчак,— сказала Бронза.

— Такие всего хуже.

— Давай-ка пошевеливайся,— сказал Карло.— Того гляди эта сволочь Арлан нам на голову свалится.

— Ладно, поехали...—проворчал Марен.

Воздух снова наполнился оглушительным треском пневматических молотков, и в небо ударил фонтан песка.

— Счастливо оставаться, ребята,— сказал Атанагор.— Выпейте чего-нибудь у Баррицоне и запишите на мой счет.

Археолог пошел прочь. Бронза помахала Марену и Карло рукой.

— До воскресенья! — крикнул Марен.

— Чего рот разззявил! — одернул его Карло.— Эта девочка не про твою честь.

— Да он же старый хрыч,— сказал Марен.

— Размечтался. Он еще мужик хоть куда.

— Ну, значит, он ядреный старый хрыч. Такие тоже бывают.

— Вот заладил! — буркнул Карло и запястьем отер с лица пот.

Они легко надавливали на тяжелые, нависающие глыбы; те отваливались, грохались вниз, и взлетающий песок обжигал горло. Ухо рабочих привыкло к однообразному гулу машин, и они могли тихо переговариваться. Обычно они разговаривали во время работы, чтобы скрасить тяжкие часы, тянувшиеся бесконечно долго.

Карло принялся мечтать вслух:

— Вот закончим...

— Мы никогда не закончим.

— Пустыня где-нибудь да кончается...

— Другая работа подвалит.

— И все-таки сможем прилечь ненадолго...

— Хоть остановимся...

— Нас оставят в покое...

— Там будет земля, будут вода и деревья. И красотка под ними.

— Мы перестанем рыть...

— Мы никогда не перестанем.

— Сволочь этот Арлан.

— Ни черта не работает, только деньги гребет.

— Никогда мы этого не дождемся.

— Может, пустыня нигде и не кончается...

Их одеревенелые пальцы стискивали рукоятки, кровь пересыхала в жилах, голоса звучали все тише, больше похожие на полушепот или сдавленный стон, заглушаемый лязгом механизмов; этот стон жужжал, кружась у мокрых от пота лиц, прятался в уголках обожженных губ. Под плотной тканью потемневшей кожи играли круглые, узловатые бугры мускулов; они двигались слаженно, как дрессированные звери.

Глаза Карло были наполовину закрыты; резкие скачки стального бура сообщались его рукам, и он управлял им не глядя, инстинктивно.

За их спинами уже зияла широкая тень вырытого рва с кое-как сглаженным дном, но люди все глубже втискивались в недра окаменелой дюны. Когда их головы опустились до уровня новой зарубки, на одной из далеких дюн мелькнули два силуэта: археолога и оранжевой девушки. Потом за спинами землекопов отделились и рухнули подточенные глыбы. В скором времени придется остановить работу, чтобы выбрать отрытый грунт; грузовики еще не вернулись. Ритмичные удары стального поршня по стержню бура и свист выталкиваемого воздуха отражались от почвенного среза с нестерпимой силой, но ни Марен, ни Карло этого не слышали. Перед их мысленным взором расстилались свежие зеленые луга, где среди сочной травы их ждали пышные, голые красотки.

V

Амадис Дюдю перечитал только что полученную депешу: письмо на фирменном бланке, за подписью двух членов Правления, включая Президента. Смакуя с гурманским наслаждением написанные слова, он готовил уже звучные фразы для оглушения аудитории. Надо будет собрать всех в большом зале отеля, и чем скорее, тем лучше. Желательно — и даже всенепременно — после работы. Но прежде надо посмотреть, нет ли где у Баррицоне помоста. Кстати, заключительная часть письма касалась самого Баррицоне с его заведением. Решения принимаются быстро, когда за дело берется солидная организация. Чертежи железной дороги были практически готовы, вот только балласта все еще не нашли. Водители грузовиков не прекращали поисков; время от времени они давали о себе знать; а то вдруг один из них появлялся вместе с грузовиком и почти сразу же исчезал вновь. Амадис начал уже терять терпение, но дорога, тем не менее, строилась. Правда, не вполне на земле: на сваях. Карло и Марен бездельничали. К счастью, Арлан умел выжать из них по максимуму: они вдвоем клали тридцать метров дороги ежедневно. Еще через два дня пора будет разрезать отель пополам.

Кто-то постучал в дверь.

— Войдите! — сухо бросил Дюдю.

— Буон джорно, — сказал Пиппо, входя.

— Здравствуйте, Баррицоне. У вас ко мне разговор?

— Си,— сказал Пиппо. – Они совсем обалдели, да, этот кретинский железный дорога положить перед мой отель? На кой он мне нужен, этот дорога?

— Декрет о вашей экспроприации подписан министром,— сказал Дюдю.— Я намеревался объявить об этом сегодня вечером.

— Это все дипломатический штучка заглавными буквами,— сказал Пиппо.— Когда они будут убрать этот дорога?

— Отель придется разрушить, чтобы дать место железной дороге,— объяснил Дюдю.— Я как раз должен был предупредить вас об этом.

— Что? — вскричал Пиппо.— Разрушить славный отель Баррицоне? А как же те, кто кушал мои спагетти а-ла- болоньезэ и кто был с Пиппо всю свою жизнь?

— Весьма сожалею, но декрет подписан. Считайте, что ваш отель конфискован в пользу государства.

— А что же я? — спросил Пиппо.— Мне куда приткнуться? Или снова траншей идти копать, да?

— Ущерб вам будет возмещен,— заверил его Дюдю.— Не сразу, разумеется.

— Пуррки! — прошипел Пиппо. Он повернулся к Амадису спиной и вышел, оставив дверь открытой.

— Закройте вашу дверь! — крикнул ему Дюдю.

— Это больше не мой дверь! — в ярости рявкнул Пиппо.– Сам закройте! — И он удалился, бранясь с южным резонансом.

Амадис подумал, что надо было бы изъять Пиппо вместе с его заведением, но затея чересчур сложная и формальности могут затянуться. Он встал, обошел свой кабинет и нос к носу столкнулся с Анжелем, который по известной уже причине собирался войти без стука.

— Здравствуйте,— сказал Анжель.

— Здрасьте,— бросил Дюдю, не протягивая руки.

Он завершил свой обход и сел на место.

— Закройте за собой дверь, пожалуйста,— сказал он.— Вы хотите со мной поговорить?

— Да. Когда нам заплатят?

— Что за спешка?

— Мне нужны деньги, а зарплату должны были выдать еще три дня назад.

— Вы хорошо понимаете, что мы с вами находимся в пустыне?

— Нет,— сказал Анжель.— В настоящей пустыне не бывает железной дороги.

— Это софизм,— заявил Амадис.

— Все, что угодно. Тем не менее девятьсот семьдесят пятый приходит довольно часто.

— Это так, но нельзя доверять пересылку сумасшедшему шоферу.

— Зато кондуктор не сумасшедший.

— Я с ним приехал,— сказал Амадис.— Уверяю вас, он тоже не в себе.

— Очень долго приходится ждать,— заметил Анжель.

— Вы милый парень,— сказал Амадис.— Чисто внешне, я имею в виду. У вас... такая приятная кожа. Кроме того, я скажу вам кое-что, о чем вы должны узнать только вечером.

— Почему вечером, если вы хотите сказать сейчас? — спросил Анжель.

— Я скажу вам сейчас, если вы и в самом деле будете милым. Подойдите ближе.

— Я вам не советую ко мне прикасаться,— предупредил Анжель.

— Вы только посмотрите на него,— воскликнул Дюдю,— чуть что — и сразу сердиться! Ну же, не упрямьтесь.

— Я не понимаю, о чем вы.

— Вы молоды. Вам еще меняться и меняться.

— Вы скажете, что собирались, или мне лучше уйти? — спросил Анжель.

— Ну что ж, пожалуйста: вам урезали оклад на двадцать процентов.

— Кому это нам?

— Вам, Анне, техническим исполнителям и Рошель. Всем, кроме Арлана.

— Ну и сволочь же этот Арлан! — проговорил Анжель.

— Если бы я видел в вас готовность пойти мне навстречу, этого можно было бы избежать.

— Но я и так иду вам навстречу,— сказал Анжель.— Я представил проект на три дня раньше срока, я почти закончил расчеты отдельных частей главного вокзала.

— Я вовсе не настаиваю на том, что я сам называю готовностью пойти навстречу,— сказал Амадис.— За разъяснениями можете обратиться к Дюпону.

— Кто такой Дюпон?

— Это повар археолога. Очень милый парень, но стервец порядочный.

— А, теперь понимаю, о ком вы.

— Нет, вы путаете его с Жирдье. На мой взгляд, Жирдье отвратителен.

— Да, но...

— Нет, уверяю вас, Жирдье крайне неприятен. Хотя это не помешало ему жениться.

— Понятно.

— Вы, если не ошибаюсь, с трудом меня переносите, верно? — спросил Амадис.

Анжель промолчал.

— Знаю, знаю. Вас это коробит. Я не имею обыкновения лезть с конфиденциями к кому попало, но вам скажу: я прекрасно понимаю, что́ вы все обо мне думаете.

— Ну и что из этого? — спросил Анжель.

— А то, что я на всех вас плевать хотел. Да, я педераст, и вы ничего с этим поделать не можете.

— Я и не собираюсь ничего с этим делать,— сказал Анжель.— С какой-то стороны меня это даже устраивает.

— Из-за Рошель?

— Да, из-за Рошель. Меня устраивает, что вы к ней не клеитесь.

— Значит, вы находите меня обольстительным?

— Нет, вы омерзительны, но вы над всеми начальник.

— Странно как-то вы ее любите, — сказал Амадис.

— Я знаю, какая она. Любовь не мешает мне ее видеть.

— Не понимаю, как можно любить женщину,— наполовину про себя сказал Амадис.— Даже представить себе невозможно! Куда ни ткни, всюду мягко. И эти влажные складки...— Он содрогнулся.— Ужас...

Анжель рассмеялся.

— В общем, так: не говорите пока Анне, что зарплату урезали,— сказал Амадис.— Это я вам сугубо конфиденциально... Как женщина — мужчине.

— Благодарю,— ответил Анжель.— Так вы не знаете, когда привезут деньги?

— Не знаю. Сам жду.

— Тогда ладно,— Анжель опустил голову, взглянул на свои ноги, и, не найдя в них ничего примечательного, снова поднл глаза.— До свидания.

— До свидания,— сказал Амадис.— Не думали бы вы о Рошель.

Анжель вышел, но тут же вернулся.

— А где она?

— Я послал ее на остановку девятьсот семьдесят пятого, за почтой.

— Хорошо,— сказал Анжель.

Он снова вышел и закрыл за собой дверь.

VI

Почему инвариантность такого типа не была подвергнута традиционному тензориальному анализу?

Дж. Уитроу. «Структура вселенной». Изд. Галлимар, стр. 144

— Готово! — сказал практикант.

— Крутите! — скомандовал Жуйживьом.

Решительным движением руки практикант запустил крепкий деревянный винт. Мотор чихнул, потом выразительно рыгнул, и винт пошел в обратную сторону. Практикант взвизгнул и схватился за руку.

— Так и есть! — сказал Жуйживьом.— Ведь говорил вам, осторожней надо.

— Уй-а-а! — взвыл практикант.— Чтоб тебя разорвало, чертова машина! Уй-а-а, как шарахнул!

— А ну покажите.

Ассистент вытянул руку. Ноготь на указательном пальце почернел.

— Ничего страшного,— сказал Жуйживьом.— Палец пока цел. До следующего раза.

— Ой, нет.

— Да,— сказал Жуйживьом.— Впредь будете осторожней.

— Но я и так осторожен,— запротестовал практикант.— Ни на секунду не спускаю с него глаз, только этот чертов мотор все равно норовит цапнуть меня за руку. Во он у меня где, этот ваш мотор!

— Если бы вы не сделали того, что сделали...— менторским тоном начал профессор.

— Тьфу, пропасть! Опять этот стул...

— Что ж, хорошо.— Жуйживьом отступил, размахнулся и врезал ассистенту прямым в челюсть.

— М-м-м!..— застонал тот.

— Ну что, прошла рука?

— Р-р-р...— ответил практикант. Казалось, он вот-вот начнет кусаться.

— Крутите! — приказал Жуйживьом.

Практикант перестал рычать и заплакал.

— О нет, только не это! — вскричал профессор.— Хватит с меня! Вы все время рюмзаете. Это стало дурной привычкой. Прекратите сейчас же и крутите винт. На меня ваши слезы больше не действуют.

— Да-а, они никогда на вас и не действовали,— обиженно захныкал практикант.

— Вот именно. Не понимаю, как у вас хватает наглости продолжать.

— Тогда все,— сказал студент.— Больше не продолжаю.

Он порылся в кармане и извлек оттуда невообразимо грязный носовой платок. Жуйживьом начинал терять терпение:

— Вы будете делать, что я сказал, черт бы вас побрал!

Практикант высморкался и водворил платок на место. Он боязливо подошел к мотору и приготовился к запуску.

— Давайте! — скомандовал Жуйживьом.

Пропеллер сделал два оборота, мотор поплевался и вдруг заработал; лакированные лопасти слились в серый вихрь.

— Увеличьте давление,— сказал Жуйживьом.

— Но я обожгусь! — возразил практикант.

— Ух, какой же вы, однако...— устало произнес профессор.

— Спасибо,— сказал практикант и покосился на рычаг.

— Остановите мотор! — приказал Жуйживьом.

Практикант перекрыл горючее, сместил пуансон, и мотор встал, неуверенно покручивая винтом.

— А теперь,— сказал профессор,— мы пойдем испытывать его на просторе.

Практикант молчал, насупившись.

— Ну же,— подзадорил его Жуйживьом,— побольше энтузиазма, черт возьми! Не на похоронах, чай.

— *Еще* не на похоронах,— уточнил студент.— За этим дело не станет.

— Берите самолет и пошли,— сказал профессор.

— Мы его привяжем или так запускать будем?

— Разумеется, так. Зачем, по-вашему, я приехал в пустыню?

— Нигде еще я не чувствовал себя менее одиноким, чем в этой пустыне.

— Прекратите скулеж,— сказал Жуйживьом.— Здесь, между прочим, имеется красивая девица. Кожа у нее довольно непривычного цвета, но о формах ничего дурного сказать нельзя.

— Правда? — оживился практикант. Казалось, он начал понимать, чего от него хотят.

— Ну, конечно.

Практикант бросился подбирать детали самолета, которые ему надлежало соединить. Профессор удовлетворенно оглядел комнату.

— А славная у нас тут вышла клиника,— сказал он.

— Да уж,— отвечал практикант.— Для того, чем мы тут занимаемся, конечно... В этой дыре никто и не думает болеть. Я уже стал забывать все, что знал.

— Зато будете не так опасны,— успокоил его профессор.

— И вовсе я не опасен.

— Не все стулья разделяют вашу точку зрения.

Лицо практиканта окрасилось в царственно-синий цвет, а вены на висках начали судорожно пульсировать.

— Послушайте,— сказал он,— еще одно слово про этот стул, и я...

— Что же вы? — насмешливо бросил Жуйживьом.

— Я убью еще один...

— Сколько угодно. Мне-то что? А теперь пошли.

Профессор вышел, и его желтая рубашка осветила чердачную площадку ровно настолько, чтобы не дать ему оступиться на кособоких ступеньках. Практикант, напротив, не упустил случая свалиться, но, к счастью для самолета, приземлился на ягодицы. Так что внизу он очутился почти одновременно с профессором.

— Хитро придумано,— сказал Жуйживьом.— Но не могли бы вы все же пользоваться ногами?

Свободной рукой практикант потер ушибленное место; в другой он держал крылья и фюзеляж «Пинга-903».

Они продолжали спускаться и вскоре оказались на первом этаже. Пиппо за стойкой целенаправленно опорожнял бутылку «турина».

— Привет! — сказал профессор.

— День добрый, патрон,— ответил итальянец.

— Все в порядке?

— Амудопулос решил выбросить меня вон.

— Не может быть.

— Он меня — экстрагировать. Как в заголовках. Взаправду.

— Он что тебя, экспроприирует?

— Во-во, так он и сказал,— закивал Пиппо.— Экстрагирует.

— Что же ты будешь делать?

— Э-э, я почем знаю? Мой место теперь в сортире. Все, финита, бобик сдох.

— Да он совсем спятил, этот фрукт,— заметил Жуйживьом.

Практикант начал проявлять признаки нетерпения.

— Мы будем запускать самолет или нет?

— Пошли с нами, Пипетка,— предложил Жуйживьом.

— Э-э, плевать я хотел на ваш кретинский самолет!

— Тогда до скорого.

— До свидания, патрон. Он прекрасен, как черешня, этот ваш самолет.

Жуйживьом вышел; практикант поспешил за ним.

— Когда можно будет ее увидеть? — спросил он.

— Кого ее?

— Ну, ту красотку.

— Послушайте, как вы мне надоели,— сказал Жуйживьом.— Сейчас мы идем запускать самолет, и точка.

— Елки-палки! — вскипел практикант.— Сначала вы мне расписываете ее прелести, а потом — фьюить... по нулям! Вы просто невыносимы!

— А вы?

— Пусть так, я тоже невыносим. Но мы здесь уже три недели. Вы понимаете, что я за это время еще ни разу не!...

— Серьезно? — удивился Жуйживьом.— Даже с женами технических исполнителей? А что же вы делаете по утрам в клинике, пока я сплю?

— Я занимаюсь...— замялся практикант.

Жуйживьом сначала смотрел на него не понимая, потом разразился хохотом.

— Черт подери! — воскликнул он.— Вы хотите сказать, что вы... Вы занимаетесь... Вот умора! Значит, поэтому у вас все время дурное настроение!

— Думаете, из-за этого? — с беспокойством спросил студент.

— Ну разумеется. Это же очень вредно.

— А вы? Вы никогда так не делали?— спросил он.

— Один — никогда.

Практикант замолчал, чтобы легче было дышать: они карабкались на высокую дюну. Вдруг Жуйживьом опять расхохотался.

— Что случилось? — спросил практикант.

— Ничего. Просто я представил себе, какая у вас при этом физиономия.

Не в силах одолеть приступ смеха, профессор повалился на песок. Из глаз его брызнули крупные слезы, а голос съехал на удушливо-веселый визг. Практикант отвернулся с обиженным видом, разложил на земле детали самолета и, встав на колени, взялся прилаживать их друг к другу. Жуйживьом почти успокоился.

— И все же вы плохо выглядите,— повторил он.

— Вы уверены? — практикант не на шутку обеспокоился.

— Абсолютно уверен. Между прочим, вы не первый.

— А я думал...— пробормотал практикант, уставившись на крылья и кабинку.— Значит, вы полагаете, что другие делали это до меня?

— Естественно.

— Впрочем, я и сам так думал. Но неужели в такой же ситуации? И тоже в пустыне, где нету женщин?

— Разумеется,— сказал Жуйживьом.— А что, по-вашему, означает символ Святого Симеона Столпника? Почему он все время так был занят своим столпом? Да это же очевидно! Вы Фрейда проходили, я надеюсь?

— Нет, что вы, Фрейд нынче не в моде,— отмахнулся студент.— В эти бредни одни недоумки верят.

— Фрейд — это одно, а столп — совсем другое,— продолжал Жуйживьом.— Тем не менее, бывают «представления» и «переносы ощущений», как их называют философы, бывают комплексы и их подавление, и онанизм, как в вашем частном случае.

— Теперь вы мне, конечно, скажете, что я дурак набитый.

— Отнюдь,— сказал Жуйживьом.— Просто вы не очень умны, вот и все. Но это вполне простительно.

Практикант тем временем приладил крылья и фюзеляж и теперь со вкусом размещал хвостовое оперение. Он замер на мгновение, задумавшись над словами профессора.

— А вы? — спросил он.— Вы как делаете?

— Делаю что?

— Не знаю, что...

— О, это очень туманный вопрос,— сказал Жуйживьом.— Настолько туманный, что граничит с бестактностью.

— Я вовсе не хотел вас обидеть.

— Конечно, я знаю. Но у вас прямо-таки дар соваться не в свое дело.

— Там мне было лучше,— тихо вздохнул практикант.

— Мне тоже,— ответил Жуйживьом.

— А здесь так муторно.

— Это пройдет. Во всем виноват песок.

— Песок тут ни при чем. Мне не хватает медсестер, других практикантов, больных...

— Может, и стульев тоже? — съязвил Жуйживьом.

Студент покачал головой, и выражение горечи пятнами проступило на его лице.

— Вы всю жизнь будете меня этим попрекать? — спросил он.

— Потерпите, недолго осталось. До старости вы не доживете: у вас чересчур вредные привычки.

Студент замер в нерешительности, открыл было рот, но снова закрыл его и ничего не сказал. Он продолжал копаться в цилиндре и моторе. Жуйживьом заметил, что он вздрогнул и склонился над собственной рукой, как полчаса назад: длинная кровоточащая рана рассекла ему ладонь. Студент повернулся к профессору; он не плакал, только стал белый как полотно, и губы позеленели.

— Меня мотор укусил...— пролепетал он.

— Что вы такое ему сделали?

— Ничего я ему не делал...— сказал практикант и положил самолет на песок.— Больно.

— Покажите, что там у вас.

Практикант протянул руку.

— Дайте-ка ваш платок,— сказал профессор.

Студент достал свою грязную тряпку, и Жуйживьом с грехом пополам забинтовал кровоточащую руку, выказывая при этом все признаки отвращения.

— Так лучше?

— Вроде...— сказал студент.

— Я сам запущу его,— сказал профессор.

Он подобрал самолет и умело завел мотор.

— Обхватите меня за туловище! — крикнул он ассистенту, перекрикивая рев машины.

Студент схватил его обеими руками и прижал к себе. Жуйживьом отрегулировал впускной клапан, и винт закрутился так быстро, что края лопастей окрасились в бордовый цвет. Студент вцепился в профессора; тот раскачивался под ударами ветра, поднятого пропеллером.

— Запускаю,— прокричал Жуйживьом.

«Пинг-903» рванул ввысь и пропал из виду. Потрясенный студент выпустил профессора и с размаху сел в песок. Он сидел, уставившись в одну точку — туда, где исчез самолет. Жуйживьом шумно перевел дух.

— У меня рука болит,— сказал практикант.

— Размотайте эту тряпку,— велел профессор.

Рана на ладони зияла, раскрыв свои припухлые зеленоватые створки. В середине разрез был черно-красный и уже пенился маленькими быстрыми пузырьками.

— Эге! — сказал Жуйживьом, взяв студента за руку.— Надо немедленно обработать.

Вскочив на свои хилые ноги, молодой человек припустил вслед за профессором к отелю Баррицоне.

— А как же самолет? — спросил он.

— Судя по всему, он летает,— ответил Жуйживьом.

— Но он вернется?

— Надеюсь. Я его запрограммировал.

— Он очень быстро летает...

— Очень.

— Как же он остановится?

— Понятия не имею... Я об этом не подумал.

— Наверно, это песок во всем виноват...— сказал практикант.

Внезапно послышался резкий звук, и в метре над ними что-то просвистело; потом грохнул взрыв, и в окне ресторана вызвездилась дыра в форме самолета. Изнутри донесся звон падающих и разлетающихся вдребезги бутылок.

— Я — вперед,— сказал Жуйживьом.

Студент остановился и посмотрел вслед черному силуэту профессора, который летел со всех ног по склону. Над его старомодным рединготом мелькал воротник желтой рубашки. Профессор дернул дверь и скрылся за ней. Практикант снова взглянул на свою руку и ринулся вниз тяжелыми, неуклюжими скачками.

VII

Анжель надеялся разыскать Рошель и вернуться к Дюдю вместе с ней. Он спешил, торопливо взбирался на дюны и в несколько прыжков преодолевал спуски. Ноги его глубоко проваливались в песок, производя мягкий, приглушенный звук. Иногда он наступал на тугой пучок травы, и тогда жесткие стебли хрустели, распространяя запах свежей смолы.

Остановка 975-го находилась от гостиницы на удалении двух измерений. Для Анжеля — сущий пустяк. Рошель он увидел на вершине холма, когда она уже возвращалась. Сам он был внизу, хотел побежать навстречу, но не смог. Соединились они на середине склона.

— Здравствуйте! — сказала Рошель.

— А я — за вами.

— Где Анна? Работает?

— По-моему, да.

Наступила пауза; начало вышло не очень удачным. К счастью, Рошель вскоре подвернула ногу и уцепилась за руку своего спутника, чтобы чувствовать себя увереннее.

— Не очень-то удобно ходить по песку,— сказал Анжель.

— Да, особенно на каблуках.

— Вы всегда выходите на каблуках?

— О, я вообще не часто выхожу из отеля. Бóльшую часть времени я провожу с Анной внутри.

— Вы сильно его любите? — спросил Анжель.

— Конечно. Он ужасный чистюля, прекрасно сложен и выглядит таким здоровым. Мне безумно нравится спать с ним.

— А в интеллектуальном смысле...— Анжель постарался пропустить мимо ушей ее слова.

Она засмеялась.

— О, в интеллектуальном смысле мне не так много надо. Когда я заканчиваю работу с Дюдю, мне уже не хочется никаких интеллектуальных бесед!

— Он же совершенный кретин.

— Дело свое, во всяком случае, он знает,— заметила Рошель.— И вообще что касается работы, тут его учить не надо.

— Но он же отпетый негодяй.

— С женщинами такие люди всегда безупречны.

— По-моему, он гнусный.

— Просто вы думаете только о физической стороне.

— Неправда...— запротестовал Анжель.— Хотя с вами — да.

— Опять вы за свое,— сказала Рошель.— Послушайте, я очень люблю с вами говорить. Еще я очень люблю спать с Анной и работать с Дюдю. Но я даже представить себе не могу, чтобы можно было спать с вами. Мне это кажется неприличным.

— Почему? — спросил Анжель.

— Вы этому придаете такое значение...

— Я придаю этому значение, когда речь идет о вас.

— Не говорите так. Мне неприятно. Даже... даже немного противно.

— Но я же люблю вас,— сказал Анжель.

— Хорошо, вы меня любите. И мне это приятно. Я тоже вас очень люблю, как любила бы брата. Я вам уже говорила. Но заниматься с вами любовью я не могу.

— Почему?

Рошель коротко засмеялась.

— После Анны мне уже ничего не надо, только спать.

Анжель не ответил. Тащить ее было тяжеловато: в туфлях она едва шла. Он искоса посмотрел на Рошель. На ней был тонкий вязаный свитер, под которым выпирали соски. Грудь ее была уже не столь крепка, как раньше, но все еще пленительна. И все та же вульгарная линия подбородка, которую он так сильно любил.

— Что вы делаете с Амадисом?

— Он диктует мне письма, отчеты. Работы у меня хватает. Всякие там заметки о балласте, о технических исполнителях, об археологе, обо всем на свете.

— Мне бы не хотелось, чтобы вы...— Анжель запнулся.

— Чтобы я что?

— Нет, ничего... Если Анна отсюда уедет, вы уедете с ним?

— Почему вы хотите, чтобы Анна уехал? Строительство еще не скоро закончится.

— О, я вовсе не хочу, чтобы Анна уехал,— сказал Анжель.— Но если, скажем, он вас разлюбит?

Она опять засмеялась.

— Вы бы так не говорили, если бы видели его...

— Но я вовсе не хочу его видеть,— тихо проговорил Анжель.

— О да, конечно! Это было бы преотвратное зрелище. Мы далеко не всегда ведем себя прилично.

— Молчите! — взмолился Анжель.

— Вы меня замучили. Вы всегда такой скучный. Это невыносимо.

— Но ведь я люблю вас!..

— Именно это и невыносимо. Вот что: я дам вам знать, когда стану Анне не нужна.— Она снова засмеялась.— Но вам еще долго бродить в одиночестве!..

Анжель ничего ей не ответил. Они подходили к отелю. В это время раздался пронзительный свист и звук взрыва.

— Что это еще такое? — рассеянно спросила Рошель.

— Кто его знает,— сказал Анжель.

Они остановились и стали прислушиваться. Вокруг царило всеохватное, величественное молчание. Потом донесся звон бьющегося стекла.

— Там что-то случилось,— сказал Анжель.— Пошли скорее.

Это был замечательный предлог, чтобы обнять ее крепче.

— Отпустите меня,— предложила Рошель.— Идите посмотрите, что там. Я вас только задерживаю.

Анжель вздохнул и пошел вперед не оглядываясь. Осторожно передвигаясь на высоких каблуках, Рошель последовала за ним. Из гостиницы слышались звуки голосов.

В застекленной стене ресторана зияла пробоина с четкими контурами. Земля была усеяна осколками. В зале толпились люди. Анжель толкнул дверь и увидел Амадиса Дюдю, студента-медика, Анну и доктора. Перед стойкой лежало распростертое тело Жозефа Баррикоте. Верхней половины черепа у него не было.

Анжель поднял глаза. В противоположной стеклянному фасаду стене, в кирпичной кладке, застрял по самое шасси «Пинг-903». На левом верхнем крыле его висела макушка Пиппо. Она съехала на оконечность крыла и шмякнулась оземь с тихим звуком, смягченным черными курчавыми волосами.

— Что произошло? — спросил Анжель.

— Да вот, самолет,— объяснил студент-медик.

— Я как раз собирался сообщить ему,— сказал Дюдю,— что завтра вечером технические исполнители приступят к расчленению отеля. Необходимо было принять некоторые меры. Нет, это просто ни в какие ворота не лезет!

Он, видимо, обращался к Жуйживьому, который стоял рядом, нервно теребя свою бородку.

— Надо его убрать отсюда,— сказал Анна.— Помогите мне.

Он взял тело под мышки, практикант ухватился за ноги. Пятясь, Анна продвинулся к лестнице и стал медленно подниматься; он старался держать от себя подальше голову Пиппо, из которой хлестала кровь; безучастное, податливое тело, провисая, почти задевало ступеньки. Студент очень мучился от боли в руке.

Дюдю оглядел залу. Он посмотрел на доктора. Посмотрел на Анжеля. Неслышно в дверях появилась Рошель.

— А, ну вот и вы наконец! — сказал Дюдю.— Почта пришла?

— Пришла,— сказала Рошель.— А что случилось?

— Ничего особенного, просто несчастный случай,— объяснил Дюдю.— Пойдемте скорее, я должен срочно продиктовать вам кое-какие письма. Остальное узнаете потом.

Он решительно направился к лестнице. Рошель послушно двинулась за ним. До тех пор, покуда ее можно было видеть, Анжель не спускал с нее глаз, потом перевел взгляд на черное пятно у стойки на полу. Белое кожаное кресло было сплошь забрызгано каплями крови, большими и поменьше, частыми и не очень.

— Идемте отсюда,— позвал профессор.

Дверь они оставили открытой.

— Это была уменьшенная модель самолета? — спросил Анжель.

— Она самая. И хорошо летала.

— Слишком хорошо,— заметил Анжель.

— Да нет, не слишком. Я бросил мою клинику в надежде найти здесь пустыню. Откуда мне было знать, что посреди этой пустыни стоит ресторан?

— Случайное совпадение,— сказал Анжель.— Никто вас ни в чем не винит.

— Вы полагаете?..— спросил Жуйживьом.— Я объясню вам. Те, кто не занимается моделированием, обычно считают это ребячьей забавой. Что не совсем верно. Это не просто забава. Вы никогда не пробовали?

— Нет.

— Тогда вам не понять. Уменьшенная авиамодель заключает в себе какую-то пьянящую притягательность. Бежать за самолетом, который сначала катится у ваших ног, потом начинает плавно взлетать, и вот уже кружится над головой, чуть-чуть подрагивая в воздухе, такой неповоротливый, неуклюжий, но все же сумевший взлететь... Я знал, что «Пинг» будет летать с большой скоростью, но чтобы с такой... Во всем виноват мотор.— Вдруг профессор замолчал.— Я совсем забыл про моего ассистента,— сказал он.

— С ним тоже что-нибудь случилось? — спросил Анжель.

— Его мотор укусил. А я-то позволил ему нести тело Пиппо! И он машинально послушался.

Жуйживьом повернул обратно к гостинице.

— Я должен его полечить. Вам не трудно меня подождать? Это не займет много времени.

— Хорошо, я подожду,— сказал Анжель.

Профессор спортивной трусцой побежал к отелю и исчез в дверях.

Живые и блестящие, цветки гепатролей распахивались навстречу волнам желтого света, заливавшим пустыню. Анжель сел на песок. Жизнь как будто замедлила свой бег. Жаль, что он не помог практиканту тащить Пиппо.

До того места где он сидел, доносились приглушенные удары тяжелых молотов: это Марен и Карло забивали в шпалы скобы с загнутым хвостом — для закрепления рельсов. Порой железо ударялось о стальной рельс, заставляя его звучать долгим, звонким, вибрирующим криком, пронзавшим грудь насквозь. Где-то вдалеке слышался радостный смех Олив и Дидиша, которые для разнообразия затеяли охоту на люмиток.

Рошель — грязная потаскуха, с какой стороны к ней ни подойди. И грудь у нее... все больше обвисает. Анна доконает ее. Он оттянет эту грудь, разомнет, выдавит все соки. Останутся две половинки выжатого лимона. Ноги, правда, у нее все еще хороши. Главное, что между...

На этой мысли Анжель остановился и дальше принялся думать на сорок пять градусов левее. Нет никакого смысла рассуждать об интимных качествах девицы, которая, если вдуматься, не более чем дырка, обросшая волосами, и которая...

Еще поворот на сорок пять градусов, потому что и этот довод уже не убеждает. Нужно схватить ее, сорвать все, что на ней нацеплено, и самому разодрать, изуродовать ее ногтями. Правда, когда Анна выпустит ее из рук, там не над чем будет особо трудиться. Она уже будет поломана, потаскана — круги под глазами, всюду прожилки, вздутые вены, дряблое тело — вся изношенная, замусоленная, раздолбанная. Как колокол с повисшим языком: внутри — пустота. Ничего в ней не будет свежего. Ничего нового. Надо было опередить Анну. Тогда, в первый же раз. У нее был такой новый запах. Это могло бы случиться после танцклуба, в машине, на обратном пути: просто обхватить ее рукой за талию. Произошла бы авария, она бы испугалась. Они только что наехали на Корнелиуса Шмонта, и он лежал на тротуаре. Он был счастлив: не поедет в Эксопотамию. А чтобы увидеть, дамы и господа, как мужчина целует женщину, достаточно повернуть голову; или сесть в поезд как раз в тот момент, когда мужчина целует женщину. Потому что он все время ее целует. Он трогает ее тело руками, и по всему ее телу он ищет запах женщины. Но не в мужчине дело. Результатом увиденного является ощущение возможного, и кажется, чего же еще желать, разве вот проваляться всю жизнь на животе, подложив что-нибудь мягкое, предназначенное для лежания, и балдеть, свесив голову и пуская слюни, и воображать, что можно так балдеть и пускать слюни до конца своих дней. Предположение вполне бредовое, потому что никаких слюней не хватит. Кстати сказать, балдеж с пусканием слюней на самом деле очень даже умиротворяет, жаль, что люди мало времени отдают этому занятию. Надо заметить в их оправдание...

Нет никакого смысла рассуждать об интимных качествах девицы, которая...

Профессор Жуйживьом легонько съездил Анжелю кулаком по затылку. Тот вздрогнул.

— А где же практикант? — спросил он.

— М-м,— сказал Жуйживьом.

— Что?

— Подожду до завтрашнего дня, а там оттяпаю ему руку.

— Неужели до такой степени?

— Жить можно и с одной рукой,— сказал Жуйживьом.

— То есть без одной руки,— поправил Анжель.

— Вы правы. Если развить этот тезис и принять во внимание некоторые фундаментальные гипотезы, то можно научиться жить даже без тела.

— Эти гипотезы несостоятельны,— сказал Анжель.

— Так или иначе, я хочу предупредить вас заранее, что скоро меня упрячут за решетку.

Анжель поднялся, и они теперь удалялись от гостиницы.

— Почему?

Из левого внутреннего кармана профессор извлек записную книжку и раскрыл ее на последней странице. Там пестрели написанные в две колонки имена. В левой значилось на одно имя больше.

— Смотрите,— сказал профессор.

— Это список ваших пациентов? — спросил Анжель.

— Да. В левой колонке те, кого я вылечил. В правой те, что умерли. Пока в левой колонке имен больше, мне все сойдет с рук.

— Как это?

— Я хочу сказать, что могу убивать людей до тех пор, пока число убитых не превысит количество вылеченных.

— Убивать ни за что ни про что?

— Ну да, естественно. Я только что убил Пиппо, и колонки теперь сравнялись.

— Значит, у вас был не такой уж большой запас!

— После смерти одной из моих больных — это случилось два года назад — у меня началась неврастения, и я порешил немало народу. Глупо получилось; не то чтобы я нарочно.

— Но вы еще многих можете вылечить и жить потом спокойно,— сказал Анжель.

— Здесь нет больных,— объяснил профессор.— Писать вымышленные имена нельзя. К тому же я не люблю медицину.

— А практикант?

— Это опять-таки моя вина. Если я его вылечу, то все равно не засчитаю. Если же он умрет...

— Но рука, по крайней мере, в счет?

— Рука нет,— сказал профессор.— Просто рука не в счет!

— Понятно,— ответил Анжель и добавил: — И все же, почему вас должны упрятать за решетку?

— Таков закон. Вам следовало бы это знать.

— Знаете, в принципе никто ничего не знает,— сказал Анжель.— Даже люди, которым положено знать, то есть те, кто умеет манипулировать понятиями, разжевывать их и подавать таким образом, что можно их заподозрить в оригинальности, даже они никогда не обновляют резерва своих идей, в результате чего их способ выражения лет на двадцать опережает предмет рассуждений. Из этого явствует, что научиться у них ничему нельзя, потому что все у них сводится к словам.

— Не стоит углубляться в такие философские дебри, чтобы объяснить мне, что вы не знаете законов,— сказал профессор.

— Разумеется,— согласился Анжель,— но надо же эти мысли куда-нибудь пристроить. Если только речь идет действительно о мыслях, а не о каких-нибудь рефлексиях. Я со своей стороны и вовсе склонен считать их простейшими рефлексами здорового индивида, способного констатировать.

— Констатировать что?

— Просто констатировать — объективно и беспристрастно.

— Вы можете также добавить: без буржуазных предрассудков,— заметил профессор.— Так обычно говорят.

— Охотно,— согласился Анжель.— Итак, индивиды, о которых мы говорили, так долго и досконально изучали формы мысли, что за этими формами потеряли саму мысль. А ткни их носом в их же ошибки, они вам немедленно предъявят новую разновидность формы. Форму они обогатили множеством деталей и замысловатых механических приспособлений и норовят поставить ее на место мысли, истинная физическая природа которой — рефлекторная, эмоциональная и чувственная — попросту от них ускользает.

— Я ровным счетом ничего не понял,— признался Жуйживьом.

— Да это как в джазе,— сказал Анжель.— Транс.

— Кажется, начинаю догадываться. Вы хотите сказать: как если бы одни были к этому восприимчивы, а другие — нет.

— Совершенно верно,— продолжал Анжель.— Очень странно видеть, когда находишься в трансе, как другие продолжают рассуждать, манипулируя своими формами. То есть когда ощущаешь внутри себя мысль, я имею в виду. Нечто вполне материальное.

— Вы очень туманно рассуждаете,— сказал Жуйживьом.

— Я и не стремлюсь быть понятным. Ужасно скучно выражать словами то, что я так ясно чувствую. Кроме того, мне от всей души плевать, разделит кто-нибудь мою точку зрения или нет.

— Трудно с вами спорить,— сказал Жуйживьом.

— Охотно верю, что трудно. Но прошу вас учесть то смягчающее обстоятельство, что я позволил себе высказаться в этом жанре впервые за все время.

— Вы сами не знаете, чего хотите,— сказал Жуйживьом.

— Когда я чувствую удовлетворение в руках и ногах, когда я могу быть вялым, расслабленным, как мешок с отрубями, я очень хорошо знаю, чего хочу, потому что тогда я могу представить себе, как это должно быть.

— Я совершенно сбит с толку,— сказал Жуйживьом.— Имманентная, имплицитная и императивная угроза, объектом которой я являюсь в настоящее время — простите мне эту аллитерацию,— должно быть, некоторым образом объясняет то состояние дурноты, близкое к коме, в котором находится моя физическая оболочка сорокалетнего бородача. Поговорите со мной о чем-нибудь другом.

— Если я буду говорить о другом, я обязательно начну говорить о Рошель, что повергнет в прах здание, с таким трудом возведенное мной за последние несколько минут. Потому что мне смертельно хочется трахать Рошель.

— Я вас понимаю,— сказал Жуйживьом.— Мне тоже. И я намерен, если с вашей стороны не будет возражений и в том случае, если полиция оставит мне такую возможность, осуществить это после вас.

— Я люблю Рошель. Возможно, из-за этого я скоро начну делать глупости. Потому как сил терпеть у меня больше нет. Моя система слишком совершенна и никогда не сможет быть реализована; кроме того, ее нельзя никому передать. Значит, реализовывать придется мне одному, и люди ничего в ней не поймут. Из этого следует вывод, что каких бы глупостей я ни натворил, ничего не изменится.

— О какой, простите, системе идет речь? — спросил Жуйживьом.— Вы меня сегодня совсем сбили с панталыку.

— Изобретенная мной система решения всех проблем,— сказал Анжель.— Я в самом деле придумал, как их разрешить. Это великолепный способ, дающий быстрый результат. Беда в том, что знаю его я один. Но я не могу передать его другим людям, потому что слишком занят. Я работаю и люблю Рошель. Понимаете, в чем дело?

— Люди успевают делать куда больше, чем вы,— сказал профессор.

— Да, но ведь еще нужно время, чтобы валяться на животе и балдеть. Скоро я займусь и этим. Я очень много жду от этого занятия.

— Если за мной завтра приедут, позаботьтесь о практиканте. Прежде, чем бросить его, я отрежу ему руку.

— Но вас рано арестовывать,— сказал Анжель.— Вы имеете право еще на одно убийство.

— Иногда они делают это заранее. Все законы тогда насмарку.

VIII

По тропе, далеко выбрасывая вперед ноги, шагал аббат Петижан. На плече он тащил тяжелую переметную суму, а требник небрежно крутил за веревочку, совсем как школьник, который только что отзубрил положенное и теперь беззаботно играет чернильницей. Чтобы усладить собственный слух (и заодно осенить себя святостью), он пел старинный религиозный гимн:

Зеленая крыс-ка
Пробегала близ-ка
Я поймал ее за хвост
И друзьям своим принес
А друзья мне хор-ам
Приготовь с лимон-ам
Сбрызни как моллюс-ка
Будет нам закус-ка
Положи на блюд-ца
Чем тебе не устрица
В два счета съедим
Чужим не дадим
Ждем на улице Карно
В каком доме все равно.

Аббат чеканил каблуками привычный ритм песни, и от всех совершаемых телодвижений собственное физическое состояние воспринималось им как удовлетворительное. Конечно, временами какой-нибудь колючий пучок травы посреди дороги или злобный и царапучий scrub spinifex скребли под сутаной его лодыжки, но разве можно обращать внимание на всякие мелочи? Аббат Петижан и не такое видал, слава Всевышнему.

Слева направо дорогу перешла кошка; аббат догадался, что он у цели. И вдруг, совершенно неожиданно, очутился в самом центре археологического лагеря — посреди палатки Атанагора. Хозяин палатки меж тем находился там же, всецело поглощенный одним из своих стандартных ящиков, который не желал открываться.

— Привет! — сказал археолог.

— Привет! — ответил аббат.— Что это вы делаете?

— Пытаюсь открыть ящик, но у меня ничего не выходит.

— В таком случае не пытайтесь. Не стоит искушать судьбу.

— Это всего лишь фасиновый ящик.

— А что такое фасина?

— Смесь такая,— сказал археолог.— Долго объяснять.

— Тогда не объясняйте. Что у вас нового?

— Сегодня утром скончался Баррицоне.

— Magni nominis umbra [1]...— сказал аббат.

— Jam proximus ardet Ucalegon... [2] — подхватил археолог.

— О! — с уважением отметил Петижан.— Не следует верить в дурные приметы. Когда его будут предавать песку?

— Сегодня вечером. А может, завтра.

— Надо бы сходить туда. Что ж, до скорого.

— Подождите минуту,— сказал Атанагор.— Я иду с вами.

— Может, выпьем на дорожку? — предложил аббат.

— Хотите Куантро?

— О нет!.. Я прихватил с собой кое-что.

— Еще у меня есть зитон [3],— сказал археолог.

— Спасибо... не беспокойтесь.

Петижан распустил ремни своей котомки и, порывшись немного, извлек на свет флягу.

— Вот,— сказал он.— Отведайте.

— После вас...

Петижан не стал спорить и сделал хороший глоток. Потом протянул флягу археологу. Тот поднес ее к губам, запрокинул голову, но почти сразу выпрямился.

— Там пусто,— сказал он.

— Ничего удивительного...— вздохнул аббат.— Я не меняюсь. Пьянчуга и болтун, а плюс ко всему еще и прорва ненасытная.

— На самом деле мне не очень-то и хотелось,— признался археолог.— Я мог бы и притвориться.

— Теперь все равно,— сказал аббат.— Я заслужил наказание. Скажите, сколько бубенцов в приборе полицейского?

— А что вы называете прибором с бубенцами? — спросил археолог.

— Вы абсолютно правы, что задаете мне этот вопрос,— сказал аббат.— Прибор с бубенцами — свойственное мне образное выражение, обозначающее полицейский эгализатор, снабженный патронами калибра семь и шестьдесят пять сотых миллиметра.

— Это вполне соответствует моей собственной эвентуальной трактовке,— сообщил археолог.— Итак, положим, двадцать пять.

— Но-но! Это слишком. Скажите три.

— Тогда три.

Петижан схватил четки и трижды проговорил текст с такой скоростью, что полированные костяшки задымились в его ловких пальцах. Он положил четки обратно в карман и затряс руками:

— Жжется!..— сказал он.— Теперь все в порядке. Кроме всего, мне плевать на всех и на вся.

— О, никто на вас за это не в обиде,— заверил его Атанагор.

— Вы хорошо говорите,— сказал аббат.— К тому же вы очень воспитанный человек. Что за наслаждение встретить собеседника своего уровня, и где — в пустыне, среди песков и склизких люмиток.

— И еще лимем.

— Ах, да! — сказал аббат.— Это те самые желтые улитки? Кстати, как поживает ваша юная подруга, та женщина с прекрасными грудями?

— Она практически не выходит,— сказал археолог.— Роет землю вместе со своими братьями. Дело спорится. Что касается лимем, то это вовсе не улитки. Они больше похожи на траву.

— Значит, увидеть ее нельзя? — спросил аббат.

---

[1] Великого имени тень *(лат.)*.— цитата из эпической поэмы «Фарсалия», написанной римским поэтом Марком Аннеем Луканом (39—65).

[2] Рядом уже пылает Укалегон *(лат.)* — цитата из «Энеиды» Вергилия.

[3] Европейское название пива, которое древние готовили из ячменя.

— Сегодня — нет.

— И что только она здесь делает? — сказал Петижан.— Такая красавица. Кожа и волосы — просто обалдеть, а бюст — да за него впору от церкви отлучать. В придачу еще умна и крепка как буйволица... И никогда ее нигде не видать. Во всяком случае, она хоть не спит со своими братьями?

— Нет,— сказал Атанагор.— По-моему, ей нравится Анжель.

— Так за чем же дело стало? Хотите, я их обженю?

— Он ни о ком и думать не хочет, кроме Рошель,— сказал археолог.

— Ну, эта мне как-то не показалась. Чересчур раскормлена.

— Пожалуй,— согласился Атанагор.— Но он ее любит.

— Он действительно ее любит?

— Было бы довольно интересно определить, насколько это серьезно.

— Невероятно, чтобы он мог продолжать любить ее, коль скоро она спит с его другом,— сказал Петижан.— Как видите, я смело обсуждаю с вами щекотливые вопросы, но не усмотрите в этом любопытства, продиктованного подавленной сексуальностью. Я тоже бываю на взводе в редкие моменты досуга.

— Нисколько в этом не сомневаюсь,— сказал Атанагор,— так что можете не оправдываться. Я полагаю, Анжель любит ее по-настоящему, раз продолжает сохнуть по ней, потеряв всякую надежду. Он даже смотреть не хочет на Бронзу. А она только его и ждет.

— О-хо-хо! — сказал Петижан.— Так ведь он, поди, самочинствует!

— Само-что?

— Само-чинствует. Простите, это церковный жаргон.

— М-м-м... А, понял! — сказал Атанагор.— Нет, не думаю...

— В таком случае нам непременно удастся свести его с Бронзой.

— Хорошо бы. Они оба такие милые,— сказал Атанагор.

— Надо сходить с ними к отшельнику,— предложил аббат.— Его святые деяния до охренения будоражат... Ну вот! Опять! Тем хуже. Напомните мне, чтобы я перебрал несколько костяшек на моих четках.

— А что случилось? — спросил археолог.

— Я непрестанно богохульствую,— пожаловался Петижан.— Впрочем, это не страшно. Прочту молитвы — и все в ажуре. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, хочу вам сказать, что зрелище отшельнического деяния весьма занимательно.

— Я его еще не видел,— сказал археолог.

— Ну, на вас это не произведет большого впечатления. Вы стары.

— Это верно,— сказал археолог.— Меня больше интересуют предметы и воспоминания прошлого. Тем не менее вид двух молодых и хорошо сложенных существ, принимающих простые и естественные позы, не будет мне неприятен.

— Эта негритяночка...— начал Петижан, но остановился на полуслове.

— Что она?

— Она... она очень способная. То есть она очень гибкая, я хочу сказать. Вам не трудно поговорить со мной на другую тему?

— Разумеется, нетрудно,— сказал археолог.

— Я начинаю нервничать,— признался Петижан.— Мне не хотелось бы докучать вашей юной подруге. Расскажите мне, к примеру, о стакане холодной воды, выливаемой за шиворот. Или о пытке колотушкой.

— Пытка колотушкой? Что это еще такое?

— Эта пытка в большом почете у некоторых индейских племен. Заключается она в том, что мошонку провинившегося кладут на плаху и слегка прижимают, чтобы выступили железы, а затем сильно бьют по ней деревянной колотушкой... Уй-а-а! Уй-а-а! Как это должно быть больно! — застонал аббат, ерзая и извиваясь.

— Вы очень образно это описали,— сказал археолог.— Я тут же вспомнил о другой казни...

— Не продолжайте...— сказал аббат, сложившись вдвое.— Я уже совершенно успокоился.

— Прекрасно. Значит, мы можем идти?

— Как? — удивился Петижан.— Разве мы еще не вышли? Просто поразительно, до чего вы болтливы.

Археолог от души расхохотался, снял свою колониальную каску и повесил ее на гвоздь.

— Я готов следовать за вами,— сказал он.

— Раз гусь, два гуся, три гуся, четыре гуся, пять гусей, шесть гусей!..— провозгласил аббат.

— Семь гусей! — закончил археолог.

— Аминь! — сказал Петижан.

Он осенил себя крестным знамением и вышел из палатки.

IX

Эти эксцентрические круги могут быть приведены в соответствие...
«Механика на выставке 1900 года». Изд. Дюно, том 2, стр. 204

— Так вы говорите, это лимемы? — спросил аббат Петижан, указывая на траву.

— Нет, это не лимемы,— ответил археолог.— Но лимемы тоже есть.

— Абсолютно бесполезная вещь,— заметил аббат.— Зачем нужно название, если и так знаешь, о чем речь?

— Чтобы удобней было обсуждать.

— В таком случае можно дать предмету и другое имя.

— Конечно, можно,— согласился археолог.— Но тогда все предметы будут называться по-разному, в зависимости от того, к кому обратишься.

— То, что вы говорите,— солецизм, неправильность. Не «к кому обратишься», а «кого хочешь обратить».

— Вовсе нет,— сказал археолог.— Во-первых, это типичный варваризм; во-вторых, это совершенно не то, что я хотел сказать.

Они шли по направлению к отелю Баррицоне. Аббат без церемоний взял Атанагора под руку.

— Я очень хочу вам верить...— сказал он.— Но это меня удивляет.

— Всему причиной ваша конфессиональная дезориентация.

— Отвлекитесь от этой темы и расскажите, как ваши дела с раскопками.

— Мы очень быстро продвигаемся вперед и следуем курсовой линии.

— По каким ориентирам она проходит?

— М-м...— промычал археолог.— Затрудняюсь сказать... Погодите-ка...— он остановился, соображая.— Линия проходит где-то недалеко от отеля.

— А мумий уже нашли?

— Мы едим их всякий раз, как садимся за стол. Вполне съедобно. Они, в принципе, недурно приготовлены, только специй другой раз многовато.

— Я пробовал однажды мумий. В Долине царей [1],— сказал аббат.— Это было у них фирменное блюдо.

— Они их там производят. А наши — натуральные.

— Терпеть не могу мясо мумий,— сказал аббат.— Кажется, даже ваша нефть мне больше по вкусу.— Он отпустил руку Атанагора.— Простите, одну минуточку.

Петижан взял разбег, подпрыгнул и произвел в воздухе двойное сальто. Он приземлился на руки и тут же пустился колесом. Сутана, развеваясь, липла к ногам и обрисовывала круглые бугристые икры. Проделав с дюжину кульбитов, аббат замер в стойке на руках и неожиданно встал на ноги.

— Я воспитывался у эвдистов [2],— объяснил Петижан.— Они мне дали суровое, но бесспорно благотворное для души и тела образование.

— Ужасно жалею, что отказался от религиозной карьеры,— сказал Атанагор.— Глядя на вас, я начинаю понимать, чего лишился.

— Вы и так неплохо преуспели,— сказал аббат.

— Откопать курсовую линию в моем возрасте... Поздновато.

— Вашей находкой воспользуются молодые поколения.

— Да уж.

С возвышенности, на которую они взобрались, открывался вид на отель

[1] Долина в Египте, на территории Древних Фив, где находятся могилы фараонов.

[2] Эвдисты — члены религиозной общины Иисуса-и-Марии, основанной Святым Жаном Эвдом в 1643 г.

Баррицоне. Перед отелем, блестящая и новая, сверкала в солнечных лучах поднятая на сваи железная дорога. Слева и справа от нее громоздились песчаные насыпи, а начало дороги терялось в дюнах. Технические исполнители загоняли в шпалы последние скобы; каждому удару молота предшествовала вспышка, и только немного спустя издали доносился звук.

— Они же собираются резать гостиницу! — воскликнул Петижан.

— Да... Расчеты показали, что это необходимо.

— Глупость какая! — сказал аббат.— В этих краях не так много гостиниц.

— Я подумал то же самое,— сказал археолог.— Это инициатива Дюдю.

— Я легко бы мог скаламбурить по поводу его имени,— сказал аббат,— но создается впечатление, что он не случайно его носит. Кроме того, с моей достаточно высокой позиции я вижу, что делать этого не стоит.

Они замолчали, потому что грохот молотов сделался оглушительным. Желто-черное такси слегка посторонилось, пропуская железную дорогу. Гепатроли на окнах буйствовали с прежней силой. Над плоской крышей отеля, как всегда, играла зыбь. И песок был все таким же песком — сухим, желтым, рассыпчатым и притягательным. Солнце, оно тоже ничуть не изменилось и сверкало с обычным своим постоянством, пряча за гостиницей холодную черную зону, которая мертво и неподвижно раскинулась на подступах к горизонту.

Карло с Мареном перестали стучать, чтобы дать пройти аббату и археологу; кроме того, на этот день работа была кончена. Прежде чем продолжать строительство, надо было разрушить часть отеля, но сначала все же вынести тело Баррицоне.

Уронив тяжелые кувалды, рабочие медленно побрели к сложенным в штабеля рельсам и шпалам, чтобы подготовить монтаж следующего участка. Хрупкие и грациозные подъемные механизмы, состоявшие из стальных перекладин, вырисовывались над складом материалов и расчерчивали небо черными треугольниками.

Рабочие взобрались на насыпь, помогая себе руками, где подъем был слишком крут, и, спустившись по противоположному склону, исчезли с глаз аббата и его спутника.

Петижан и Атанагор вошли в залу гостиницы и прикрыли за собой стеклянную дверь. Внутри стояла духота; запах лекарств струился с лестницы вниз, скапливался у пола, забирался в пустые углы и закоулки. И нигде ни души.

Они подняли головы и услышали над потолком приглушенные шаги. Аббат направился к лестнице, собираясь осуществить восхождение; археолог последовал за ним. Тошнотворный запах бил в нос. Атанагор старался не дышать. Они поднялись на второй этаж и, очутившись в коридоре, пошли на голос. Он привел их к комнате, где лежало тело. Аббат и Атанагор постучали и получили разрешение войти.

То, что осталось от Баррицоне, лежало в ящике; оно помещалось там без труда, поскольку несчастный случай укоротил итальянца. Макушка прикрывала ему лицо, пряча черты под черной кудрявой шапкой волос. В комнате находился Анжель. Он говорил сам с собой и замолчал, когда вошли посторонние.

— Здравствуйте! — сказал аббат.— Как идут дела?

— Да так...— сказал Анжель, пожимая руку археологу.

— Мне показалось, вы разговаривали,— сказал аббат.

— Я боюсь, что ему скучно,— сказал Анжель.— Вот я и говорю с ним. Может, он не слышит, но все равно ему от этого спокойнее. Он был хорошим парнем.

— Прескверная с ним вышла история,— сказал Атанагор.— Вконец обескураживающая.

— Да,— сказал Анжель.— Профессор Жуйживьом тоже так считает. Он сжег свой самолет.

— Фу-ты ну-ты, эка жалость! — сказал аббат.— А я-то надеялся посмотреть, как он летает.

— Это довольно страшное зрелище,— сказал Анжель.— Так, во всяком случае, кажется...

— Почему это?

— Потому что, в сущности, ничего не видно. Он слишком быстро летает, слышен только звук.

— А где профессор? — спросил Атанагор.

— Наверху. Он ждет, когда за ним придут.

— Зачем придут?

— Список больных сравнялся,— объяснил Анжель.— Профессор опасается, что практикант уже не встанет. Сейчас, должно быть, он отрезает ему руку.

— Опять какая-нибудь авиамодель? — спросил Петижан.

— Его мотор укусил. В рану сразу попала инфекция, и руку теперь придется отрезать.

— Нет, так дело не пойдет,— сказал аббат.— Готов биться об заклад, никто из вас до сих пор не был у отшельника.

— Вы правы,— согласился Анжель.

— И как же вы намерены жить в таких условиях? Вам предлагают увидеть своими глазами первоклассное святое деяние, которое придаст вам сил,— и никто не хочет на него смотреть...

— Просто мы неверующие,— сказал Анжель.— Лично я вообще могу думать только о Рошель.

— Я нахожу ее отвратительной,— сказал аббат.— Вот если бы вам удалось заарканить подружку Атанагора!.. А вы тут достаете всех с вашей рыхлой, дебелой бабенкой.

Археолог смотрел в окно и не принимал участия в споре.

— Я хочу спать с Рошель. Очень хочу,— сказал Анжель.— Я люблю ее с силой, упорством и отчаяньем. Можете смеяться, если вам смешно, но это так.

— Да начхать она на вас хотела! — вскричал аббат.— К черту, к дьяволу! Эх, будь я на вашем месте!..

— Я с удовольствием поцелую Бронзу и обниму ее обеими руками,— сказал Анжель,— но я не стану от этого менее несчастным.

— О, вы меня выводите из терпения! — сказал аббат.— Ступайте к отшельнику и взгляните на него, мать вашу так! Уверен, что вы начнете смотреть на мир иначе!

— Я хочу Рошель. Ей давно уже пора стать моей. Теперь она все больше и больше разваливается. Ее руки приняли форму тела моего друга, глаза ее молчат, подбородок обвис, волосы стали жирными. Это правда: она рыхлая. Как тронутый гнилью плод. И пахнет она как тронутый гнилью плод — запахом горячей плоти. И при этом она все так же желанна.

— Вы вдаетесь в литературу,— сказал Петижан.— Подгнивший плод... Плоть... Это что-то тошнотворное. Он весь сочится, он мякнет у вас в пальцах.

— Просто он очень зрелый... Он более чем зрелый. С одной стороны он чуть крепче.

— Это рассуждения не для вашего возраста.

— Возраста не существует. Мне больше нравилось, какая она была раньше. Но на вещи можно смотреть по-разному.

— Да откройте же глаза наконец! — сказал аббат.

— Я открываю глаза — и вижу, как она каждое утро выходит из его комнаты. Еще вся разверстая, влажная, горячая и липкая после того, что было. И я тоже хочу этого. Мне хочется размазать ее по себе. Она, должно быть, мягкая и податливая, как мастика.

— Омерзительнейшая картина,— сказал аббат.— Содом и Гоморра — цветочки по сравнению с этим. Вы великий грешник.

— Она, наверное, пахнет как водоросли, киснущие на мелководье под лучами жаркого солнца и уже начинающие разлагаться,— продолжал Анжель.— Я думаю, любить ее, все равно что любить кобылицу — в ней просторно и много глухих закутков, и пахнет пóтом и немытым телом. Я бы хотел, чтобы она не мылась целый месяц и целый месяц каждый день спала с Анной, до тех пор, пока его от нее не стошнит. И сразу после я бы взял ее себе, еще полную до краев.

— Хватит! — оборвал его Петижан.— Ну и сукин же вы сын!

Анжель взглянул на аббата и затрясся.

— Вы не понимаете,— сказал он.— Вы так ничего и не поняли. Ведь она совсем пропащая.

— Разумеется, а как же может быть иначе! — сказал аббат.

— Ну да, и в этом смысле тоже,— сказал Анжель.— Для меня тоже все кончено.

— Если бы я мог выдрать вас хорошенько, все бы сложилось совсем иначе,— сказал Петижан.

Археолог повернул к ним голову.

— Пойдемте с нами, Анжель,— сказал он.— Пойдемте к отшельнику. Мы прихватим Бронзу и пойдем все вместе. Вам необходимо отвлечься, вам нельзя больше оставаться с Пиппо. Тут все кончено, но не для вас.

Анжель провел рукой по лбу и, видимо, немного успокоился.

— Я охотно пойду с вами, но надо взять с собой доктора.

— За доктором отправимся вместе,— сказал аббат.— Сколько ступенек до чердака?

— Шестнадцать,— сказал Анжель.

— Шестнадцать — это много. Вполне достаточно трех. Ну, четыре еще куда ни шло.— Аббат достал свои четки.— Прошу прощения, я должен рассчитаться за мое опоздание,— сказал он.— Я вас догоню.

X

Нелепо, показывая застольные фокусы, пользоваться большими грифельными досками.
Брюс Эллиот. «Краткий курс иллюзионистского искусства». Изд. Пайо, стр. 223

Анжель вошел первым. В клинике были только студент-медик, который лежал, вытянувшись, на операционном столе, и доктор Жуйживьом в белом халате хирурга-ветеринара. Он стерилизовал скальпель над голубым пламенем спиртовой горелки, собираясь окунуть его в бутыль с азотной кислотой. На электроплитке стояла квадратная никелированная ванночка, до половины наполненная кипящей водой и сверкающими инструментами. Над стеклянной колбой с красной жидкостью клубился пар. Студент-практикант лежал совсем голый, с закрытыми глазами, и дрожал. Он был привязан к столу крепкими ремнями, которые глубоко врезáлись в его вялое тело, обмякшее от безделия и дурных привычек. Практикант молчал, а профессор насвистывал «Black, Brown and Beige» [1] — все время одно и то же место, потому что никак не мог вспомнить продолжение. Услышав шаги Анжеля, он обернулся. Одновременно в дверях появились Атанагор и аббат Петижан.

— Здравствуйте, доктор,— сказал Анжель.

— Здорово,— отвечал Жуйживьом.— Как дела? Все в норме?

— В норме.

Профессор кивнул археологу и аббату.

— Мы можем чем-нибудь вам помочь? — предложил Анжель.

— Нет, я уже заканчиваю,— сказал Жуйживьом.

— Он спит?

— Еще чего! Буду я его усыплять из-за какой-то чепухи,— ответил Жуйживьом. Он заметно нервничал и все время украдкой оглядывался.— Я анастезировал его ударом стула по голове,— пояснил он.— Скажите, вы не встретили случайно по дороге инспектора полиции?

— Нет, профессор, мы никого не встретили,— сказал Атанагор.

— Меня должны арестовать. Я превысил допустимое число.

— Вы обеспокоены? — спросил аббат.

— Нет, просто терпеть не могу инспекторов,— сказал Жуйживьом.— Сейчас вот оттяпаю руку этому кретину и сматываю удочки.

— У него что-то серьезное? — спросил Анжель.

— Смотрите сами.

Анжель и аббат подошли к столу. Атанагор остался поодаль. Рука практиканта являла собой страшное зрелище. Готовясь к операции, профессор вытянул ее вдоль тела. Посреди ладони зияла рана ярко-зеленого цвета; от середины к обожженным, искромсанным краям бежала обильная пена. Сочащаяся жидкость стекала между пальцами на толстую пеленку, поверх которой, сотрясаемое частой дрожью, лежало распростертое тело. Время от времени на поверхность ладони

[1] «Черный, коричневый и бежевый» *(англ.)* — сюита американского композитора, известного джазиста Дюка Эллингтона (1899—1974).

вылезал пузырь, который затем лопался, кропя кожу несчастного бесчисленным количеством мелких неровных брызг.

Первым, скроив кислую мину, отвернулся Петижан. Анжель продолжал разглядывать тощее, бессильное тело, серую кожу, дряблые мышцы и несколько хилых черных волосков на груди. Он заметил торчащие костлявые коленки, кривые ноги, грязные подошвы студента и сжал кулаки. Потом он повернулся к Атанагору, и тот положил руку ему на плечо.

— Этот парень был совсем другим, когда приехал...— растерянно проговорил Анжель.— Неужели пустыня на всех так действует?

— Нет, не на всех. Не казните себя, друг мой,— сказал Атанагор.— Операция — это малоприятная процедура.

Аббат Петижан подошел к одному из окон длинной комнаты и выглянул наружу.

— По-моему, там пришли за телом Баррицоне,— сказал он.

Карло и Марен приближались к отелю, таща что-то вроде носилок.

Профессор сделал несколько шагов и тоже посмотрел в окно.

— Да, это технические исполнители,— сказал он.— А я подумал было, инспекторы.

— Они, пожалуй, справятся и без посторонней помощи,— предположил Анжель.

— Разумеется,— поддержал его Петижан.— Нам лучше навестить отшельника. Собственно говоря, профессор, мы пришли, чтобы позвать вас с собой.

— Операция много времени не займет,— сказал Жуйживьом.— Инструменты уже готовы. Но только с вами я все равно не пойду. Вот закончу с рукой — и поминай как звали.— Профессор засучил рукава.— Я сейчас начну резать. Если вам неприятно — не смотрите. К сожалению, иначе нельзя. Я думаю, впрочем, что он в любом случае загнется. В его-то состоянии.

— Что же, ничего нельзя сделать? — спросил Анжель.

— Ничего,— ответил профессор.

Анжель отвернулся; аббат и археолог последовали его примеру. Жуйживьом перелил красную жидкость из колбы в другой сосуд, напоминающий плоский кристаллизатор, и взялся за скальпель. Присутствующие услышали, как лезвие со скрежетом вонзилось в кости запястья; все было кончено. Жуйживьом промокнул кровь ватным тампоном, смоченным в эфире, схватил культю и сунул ее кровоточащим концом в кристаллизатор; на обрубке сейчас же образовалась защитная корка.

— Что вы там такое делаете? — спросил Петижан, осторожно оглядываясь.

— Это воск с берегов Миссисипи,— ответил Жуйживьом.

Двумя никелированными пинцетами он аккуратно подцепил отрезанную руку, опустил ее на стеклянную тарелку и облил азотной кислотой. Над тарелкой поднялось рыжее облако едких испарений, и профессор закашлялся.

— Теперь все,— сказал он.— Надо его отвязать и привести в чувство.

Анжель бросился распускать ремни, стягивавшие студенту ноги, аббат стал высвобождать ему шею. Но тот все еще не шевелился.

— Похоже, окочурился,— сказал Жуйживьом.

— Как это могло случиться? — спросил археолог.

— Анастезия... Не исключено, что я слишком сильно ударил.— Профессор засмеялся.— Шучу. Гляньте-ка на него.

Глаза студента широко распахнулись, будто над ними подняли глухие заслонки. Он сел.

— Почему я голый? — спросил студент.

— Откуда я знаю? — ответил Жуйживьом, расстегивая халат.— Я всегда подозревал, что вы склонны к эксгибиционизму.

— Вы что, заболеете, если вдруг перестанете говорить мне гадости? — огрызнулся практикант и посмотрел на обрубок своей руки.— И это вы называете чистой работой?

— Ну, поехали! — сказал Жуйживьом.— Вот и делали бы сами.

— В следующий раз именно так и поступлю,— заявил студент.— Где моя одежда?

— Я ее сжег,— сказал Жуйживьом.— Только заразу разносить.

— Что же мне теперь, мать вашу, так и ходить голым?

— Ну все, хватит! Мне это уже надоело.

— Не надо ссориться,— сказал Атанагор.— Я уверен, какая-нибудь одежда обязательно найдется.

— Эй ты, старый хрыч,— сказал студент,— отвали!

— Так! — проговорил Жуйживьом.— Может, вы наконец заткнетесь?

— Да что же это такое? — спросил аббат.— Раз-два-три-четыре...

— В жопу! — сказал студент.— Катитесь вы все в жопу с этой вашей галиматьей. В гробу я вас видел...

— Но это неправильный ответ,— сказал Петижан.— На раз-два-три-четыре надо отвечать: всех нас грамоте учили.

— Не тратьте на него время,— сказал Жуйживьом.— Он неуч и дикарь.

— Зато не убийца, как некоторые,— прорычал практикант.

— Разумеется,— сказал Жуйживьом.— Сейчас я сделаю вам укол.

Он шагнул к столу и проворно стянул на студенте ремни; тот не решался протестовать из страха как-нибудь повредить свою новую, залитую воском культю.

— Не давайте ему меня трогать...— взмолился студент.— Он меня сейчас прирежет. Вы даже не знаете, какая это гнусная старая гадина.

— Угомонитесь, пожалуйста,— сказал Анжель.— Мы не хотим сделать вам ничего дурного. Просто надо вас немного полечить.

— Чтобы меня лечил этот живоглот? — вскричал студент.— Мало он мне крови попортил со своим дурацким стулом! Посмотрим, кто теперь посмеется.

— Я посмеюсь,— сказал Жуйживьом и ловким движением всадил иглу студенту в щеку.

Тот резко вскрикнул, тело его обмякло и перестало двигаться.

— Ну вот,— сказал Жуйживьом.— Теперь пора уматывать.

— Он немного поспит и успокоится? — спросил аббат.

— У него впереди вечность, чтобы успокоиться! — ответил Жуйживьом.— Это был закарпатский цианид.

— Активная разновидность? — осведомился археолог.

— Именно так,— подтвердил профессор.

Анжель смотрел, ничего не понимая.

— Что это значит? — спросил он.— Выходит, этот парень умер?

Атанагор потянул его к двери. Аббат Петижан поспешил за ними. Жуйживьом остался снимать халат. Он склонился над практикантом и ткнул ему пальцем в глаз. Тело осталось бездвижным.

— Никто бы не смог ему помочь,— сказал профессор.— Посмотрите сюда.

Анжель с порога обернулся. Бицепс на той руке, где была культя, треснул и раскрылся. Края расщелины вздулись зелеными валиками, и из непроглядных недр зияющей раны били ключом кипящие пузырики.

— Прощайте, дети мои,— сказал Жуйживьом.— Жаль, что эдак вышло. Я не ожидал такого поворота событий. Собственно говоря, если бы Дюдю куда-нибудь исчез, как мы надеялись, все сложилось бы совсем иначе и студент-медик вместе с Баррицоне были бы сейчас живы. Но нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Вода течет. И потом...— Он посмотрел на часы.— И потом оказывается, что ты слишком стар.

— Прощайте, доктор,— сказал Атанагор.

Жуйживьом грустно улыбнулся.

— Прощайте,— сказал Анжель.

— И главное, не волнуйтесь,— сказал аббат.— Все полицейские инспекторы — дураки набитые. Может быть, хотите место отшельника?

— Нет,— ответил Жуйживьом.— Я устал. Пусть все будет, как есть. Прощайте, Анжель. Бросьте валять дурака. Я оставлю вам свои желтые рубашки.

— Я непременно буду их носить,— сказал Анжель.

Они вернулись в комнату и пожали профессору руку. Потом, пропустив аббата вперед, стали спускаться по скрипучей лестнице. Анжель шел третьим. Он в последний раз обернулся. Жуйживьом махнул на прощание рукой. Уголки его губ выдавали волнение.

XI

Атанагор шел посередине. Руку он держал на плече Анжеля, который шагал слева; справа археолога под руку взял аббат. Они направлялись в археологический лагерь, чтобы забрать с собой Бронзу и навестить Клода Леона.

Сначала никто не разговаривал, но аббат Петижан не умел долго молчать.

— Не понимаю, почему профессор Жуйживьом отказался от места отшельника,— сказал он.

— Я думаю, он больше не мог терпеть,— ответил Атанагор.— Всю жизнь лечить людей — и так закончить...

— Но ведь со всеми врачами случается...— сказал аббат.

— Только арестовывают не всех,— заметил Атанагор.— Как правило, они скрывают результаты. А профессор Жуйживьом не хотел юлить и прятаться.

— Но как им удается скрывать результаты? — спросил аббат.

— В тот момент, когда больной должен умереть, они передают его другому врачу, более молодому,— сказал Атанагор.— И так все время.

— Что-то в этой цепи от меня ускользает. Ведь если больной умирает, то кто-нибудь из врачей должен за это ответить.

— В такой ситуации больной нередко выздоравливает.

— В какой ситуации? — снова спросил аббат.— Простите, но я не очень вас понимаю.

— В ситуации, когда старый врач передает своего пациента молодому,— сказал Атанагор.

— Но доктор Жуйживьом не был старым врачом...— заметил Анжель.

— Лет сорока, сорока пяти...— прикинул аббат.

— Да, где-то так,— согласился Атанагор.— Просто ему не повезло.

— Но ведь во всем мире каждый день люди убивают людей,— сказал аббат.— Я не понимаю, почему он отказался от места отшельника. Религия для того и придумана, чтобы покрывать преступления. В чем же дело?

— Вы правильно сделали, что предложили ему,— сказал археолог.— Но он слишком честен, чтобы согласиться.

— Экая дубовая голова! Ну кто заставляет его быть честным! — подивился аббат.— Что с ним теперь будет, а?

— Вот уж чего не знаю...— пробормотал Атанагор.

— Он уедет отсюда,— сказал Анжель.— Он же не хочет, чтобы его схватили. Заберется в какую-нибудь затхлую дыру.

— Давайте поговорим о другом,— предложил Атанагор.

— Великолепная идея,— обрадовался Петижан.

Анжель не ответил, и все трое продолжали путь молча. Порой они наступали на улиток, и тогда из-под ног брызгал желтый песок. Тени их скользили за ними — крошечные, вертикальные. Эти тени можно было заметить, только расставив ноги. По загадочной случайности тень аббата поменялась местами с тенью археолога.

XII

Луиза:
— Да.

Франсуа де Кюрель. «Львиная трапеза». Изд. Г. Грес, акт 4, сцена 2, стр. 175

Профессор Жуйживьом бросил вокруг себя прямолинейный взгляд. Кажется, все в порядке. Только тело практиканта на операционном столе продолжало кое-где лопаться и пузыриться. Убрать его — и все. В углу стоял внушительных размеров оцинкованный бак. Жуйживьом подкатил к нему операционный стол, скальпелем рассек ремни и вытряхнул в бак тело. Вернувшись к этажерке, уставленной бутылками и склянками, профессор выбрал две из них и вылил содержимое на разлагающиеся останки практиканта. Затем открыл окно и покинул помещение.

Очутившись в своей комнате, профессор сменил рубашку, пригладил перед зеркалом волосы, проверил, в порядке ли бородка, и начистил ботинки. Он открыл шкаф, нащупал стопку желтых рубашек и бережно перенес их

в комнату Анжеля. Потом, не возвращаясь к себе и не оборачиваясь, без тени волнения, спустился вниз. Он вышел через черный ход, около которого его ждала машина.

Анна работал у себя, а Дюдю диктовал Рошель письма. Услышав шум мотора, все трое вздрогнули и высунулись из окон. Но шум доносился с другой стороны. Заинтригованные, они спустились на первый этаж. Впрочем, Анна тотчас поднялся, опасаясь получить от Дюдю нагоняй за то, что отвлекается от работы в рабочее время. Прежде чем совсем уехать, Жуйживьом сделал круг. Сквозь скрежет зубчатых колес он не расслышал, что кричал ему Амадис, поэтому ограничился тем, что помахал ему рукой и на предельной скорости рванул через ближайшую дюну. Послушные колеса плясали по песку, разбрасывая вокруг фонтаны желтой пыли. Солнце превращало эти фонтаны в дивные песчаные радуги, которые доставляли Жуйживьому небывалое наслаждение своей безудержной многоцветностью.

На вершине холма профессор едва не столкнулся со взмыленным велосипедистом, одетым в форменную блузу табачного цвета и тяжелые, подбитые гвоздями башмаки, над верхним краем которых выглядывали носки из серой шерсти. Облачение велосипедиста дополняла форменная фуражка. Это был инспектор, посланный арестовать Жуйживьома.

Поравнявшись с велосипедистом, Жуйживьом дружески помахал ему рукой, потом стремительно съехал по склону.

Он смотрел на окружающий его пейзаж, будто нарочно созданный для запуска самолетов, и даже чувствовал в руках бешеную дрожь «Пинга-903» в момент, когда тот готов был вырваться из его объятий и совершить единственный в своей самолетной жизни счастливый полет.

«Пинг» пошел на слом, Баррицоне и практикант тихо гнили, а он, Жуйживьом, убегал из-под носа инспектора, который явился по его душу потому лишь, что в правой колонке списка у него значилось на одно имя больше — или же не хватало одного имени в левой колонке.

Жуйживьом старался объезжать пучки лоснящейся травы, чтобы не нарушать гармонию округлых линий, царившую в пустыне — гармонию без теней, потому что солнце вечно висело в зените, но еле грело, пассивное и ленивое. Несмотря на большую скорость, профессор почти не чувствовал ветра, и если бы не шум мотора, тишина, окружавшая его, была бы совершенной. Подъемы, спуски. Ему нравилось срезать дюны наискосок. Черная зона надвигалась с капризной прихотливостью, то внезапно и резко, то медленно и неуловимо, в зависимости от того, какое направление задавал профессор своему передвижному механизму. На секунду он закрыл глаза. Вот она, черная зона. В последний миг профессор крутанул руль на четверть оборота и отдалился от нее по широкой кривой, очень точно повторявшей изгиб его мысли.

Профессорский взгляд зацепился за два маленьких силуэта, и Жуйживьом узнал Олив и Дидиша. Они играли во что-то, присев на корточки. Профессор прибавил скорость и резко затормозил около детей.

— Здравствуйте,— сказал он, выходя из машины.— Во что играем?

— Ловим люмиток...— сказала Олив.— У нас их уже миллион.

— Миллион двести двенадцать,— поправил Дидиш.

— Вот и чудно,— сказал доктор.— Ничем не болеем?

— Нет,— сказала Олив.

— Не особенно...— отметил Дидиш.

— Что с тобой? — спросил Жуйживьом.

— Дидиш проглотил люмитку.

— Как же ты так, балбес? — сказал профессор.— Они ведь грязные. Зачем ты это сделал?

— Так просто,— сказал Дидиш.— Посмотреть, что будет. Не такая уж это гадость.

— Он совсем спятил,— доложила Олив.— Я не хочу больше выходить за него замуж.

— Ты совершенно права...— заверил ее профессор.— Вдруг он и тебя заставит люмиток глотать, а?

Он потрепал девочку по светлым волосам. Под солнечными лучами они выгорели отдельными прядями, а блестящая кожа покрылась ровным темным

загаром. Присев перед корзиной с люмитками, дети в напряженном ожидании смотрели на профессора.

— Ну что же, будем прощаться? — сказал Жуйживьом.

— Вы разве уезжаете? — спросила Олив.— А куда?

— Я и сам не знаю. Поцеловать-то тебя можно?

— Только без глупостей!..— предупредил мальчик.

Жуйживьом расхохотался.

— Ты что, боишься? Это потому, что она передумала выходить за тебя замуж и может теперь уехать со мной?

— Вот еще! — возмутилась Олив.— Вы слишком старый.

— Ей другой нравится,— сказал Дидиш.— Тот, у которого собачье имя.

— А вот и нет! — возразила Олив.— Глупости какие. Тот, у кого собачье имя, его зовут Анна.

— А тебе больше нравится Анжель? — спросил Жуйживьом.

Олив залилась краской и потупилась.

— Она просто дура,— сказал Дидиш.— Тот тип тоже слишком стар. Будет он возиться с какой-то сопливой девчонкой!

— А ты ведь не намного старше ее,— сказал профессор.

— Я старше на целых шесть месяцев,— гордо заявил Дидиш.

— Ах, вот оно что...— сказал Жуйживьом.— Ну тогда...— Он наклонился и поцеловал Олив. Потом он поцеловал еще и Дидиша, которого это слегка удивило.

— До свидания, доктор,— сказала Олив.

Жуйживьом сел за руль. Дидиш наконец поднялся и стал рассматривать машину.

— Можно мне порулить немного? — спросил он.

— В другой раз,— сказал Жуйживьом.

— А куда вы едете? — спросила Олив.

— Туда...— Жуйживьом неопределенно махнул в сторону черной зоны.

— Ух ты! — сказал мальчик.— Отец обещал, что если я хоть раз переступлю границу этой зоны, он меня выдерет!

— И мой тоже,— закивала Олив.

— А вы ни разу не пытались туда попасть? — спросил профессор.

— Ну, вам-то мы можем сказать... Пытались, конечно, но ничего там не увидели...

— Как же вы выбрались?

— Олив туда не входила. Она держала меня.

— Смотрите, больше так не делайте,— предостерег профессор.

— Да там и нет ничего интересного,— сказала Олив.— Ничегошеньки не видать. Ой, смотрите, кто это там?

Дидиш поглядел вдаль:

— Похоже, велосипедист.

— Я поехал,— сказал Жуйживьом.— Прощайте, дети.

Он еще раз поцеловал Олив. Она охотно позволяла это делать, если ее целовали нежно.

Оживший мотор визгливо завыл; профессор с места врубил скорость. У подножия дюны машина фыркнула и разом махнула через хребет. Теперь Жуйживьом не менял направления. Уверенной рукой он сжимал руль, нога упрямо давила на газ. Ему казалось, что он мчится прямо на стену. Черная зона приближалась и росла, загораживая собою все. Внезапно машину накрыл тяжелый ледяной мрак. В том месте, где это произошло, в черной стене осталась вмятина, мало-помалу затянувшаяся. Как смятая резина медленно принимает изначальную форму, так и непроницаемая стена постепенно восстановила свою ровную и гладкую поверхность. Только двойной след шин напоминал о том, что здесь только что проехал доктор Жуйживьом.

Велосипедист соскочил на землю в нескольких метрах от детей, следивших за его приближением, и подошел, ведя велосипед за руль. Колеса увязали в песке по самые ободья, и никелированные детали успели отшлифоваться до ослепительного блеска.

— Здравствуйте, дети,— сказал инспектор.

— Здравствуйте, месье,— ответил Дидиш.

Олив придвинулась ближе к мальчику. Ей не понравилась фуражка велосипедиста.

— Вы тут не видели человека по имени Жуйживьом?

— Видели,— сказал мальчик, но Олив пихнула его локтем.

— Сегодня — не видели,— сказала она.

Дидиш открыл было рот, но Олив опередила его:

— Он уехал вчера, чтобы сесть на автобус.

— Не городи ерунду,— сказал инспектор.— С вами только что был человек. У него машина.

— А, это молочник,— сказала Олив.

— Хочешь сесть в тюрьму за вранье? — спросил инспектор.

— Я не хочу с вами разговаривать,— сказала Олив.— И ничего я не вру.

— А ну говори, кто это был,— повернулся инспектор к Дидишу.— Если скажешь, подарю тебе мой велосипед.

Дидиш посмотрел на Олив, потом на велосипед. Олив выглядела недовольной, но велосипед так заманчиво блестел.

— Это был...— начал Дидиш.

— Это был один из инженеров,— выпалила Олив.— Тот, у которого собачье имя.

— Вот как? — сказал инспектор.— У которого собачье имя, правда? — С грозным видом он подступил к Олив.— Я только что видел его в гостинице, маленькая дрянь.

— А вот и нет! Это был он! — заупрямилась Олив.

Инспектор поднял руку, будто собирался ее ударить, и девочка инстинктивно заслонилась локтем. От этого жеста выступили вперед ее маленькие круглые грудки, а у инспектора было хорошее зрение.

— Ну что ж, я знаю другой способ,— сказал он.

— Вы мне надоели,— сказала Олив.— Все равно это был один из инженеров.

Инспектор придвинулся ближе.

— Держи мой велосипед,— сказал он Дидишу.— Можешь покататься.

Дидиш посмотрел на Олив. Вид у нее был испуганный.

— Оставьте ее в покое. Не трогайте ее,— сказал мальчик, оттолкнув велосипед, который инспектор успел сунуть ему в руки.— Я не хочу, чтобы вы дотрагивались до нее. Все лезут потрогать ее и поцеловать. Мне это уже осточертело. Это моя подружка, а не ваша, в конце концов, и если вы начнете к ней приставать, я сломаю ваш велосипед.

— Ишь ты,— сказал инспектор.— Ты тоже захотел в тюрьму?

— Ну был у нас тут профессор,— решился Дидиш.— Теперь я вам все сказал. Оставьте Олив в покое.

— Я оставлю ее в покое, если сочту это нужным,— сказал инспектор.— Она заслужила того, чтобы сесть за решетку.— И он схватил Олив за плечи.

Дидиш размахнулся и изо всех сил пнул колесо в то место, откуда расходятся спицы. Лязгнуло железо.

— Пустите ее,— повторил мальчик,— или я вам тоже пинков надаю.

Инспектор выпустил Олив и стал от гнева весь красный. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда здоровенный эгализатор.

— Если ты не перестанешь, я выстрелю,— предупредил он.

— А мне плевать,— сказал мальчик.

Олив бросилась между инспектором и Дидишем.

— Если вы застрелите его,— закричала она,— я подниму такой шум, что вы умрете. Оставьте нас в покое, мерзкий старый шпик! Убирайтесь вон с вашей идиотской фуражкой! Вы гадкий, гнусный, вы не посмеете меня тронуть. Попробуйте только суньтесь, я искусаю вас.

— Тогда вот что я сделаю,— сказал инспектор,— я застрелю вас обоих, а потом буду трогать тебя, сколько захочу.

— Ах вы поганый старый фараон,— вскричала Олив.— Это так-то вы выполняете свой долг! Вашей жене и дочери нечем гордиться. Только и умеете вы, полицейские, что в людей стрелять. Все, на что вы способны — это старушек и детей через улицу переводить. Или раздавленную собачку с мостовой подобрать. Но со всеми вашими эгализаторами и фуражками вы не можете сами арестовать одного несчастного профессора Жуйживьома!

Инспектор задумался, сунул эгализатор обратно в карман и отвернулся. Посто-

яв с минуту, он поднял велосипед. Переднее колесо уже не крутилось. Оно было все искорежено. Инспектор ухватился за руль и оглядел песок под ногами. На нем явственно отпечатались следы профессорской машины. Инспектор покачал головой и посмотрел на детей. Вид у него был смущенный. Мгновение спустя он уже шел в том направлении, где исчез профессор.

Олив и Дидиш остались на прежнем месте. Оба были сильно напуганы. Они провожали глазами инспектора. Он удалялся от них, взбираясь на холмы, спускаясь в низины и таща за собой ненужный велосипед; он все уменьшался. Шел он ровным шагом, не сбавляя скорости, никуда не сворачивая с двойной колеи, проложенной профессором; потом глубоко вздохнул и вошел в черную зону. Красное стеклышко на крыле велосипеда мелькнуло напоследок и потухло, точно глаз, припечатанный ударом кулака.

Олив сорвалась с места и бросилась к отелю, Дидиш побежал следом. Он звал ее, но она плакала и не обращала внимания. Коричневая корзина с копошащимися в ней люмитками осталась стоять на песке. Олив часто спотыкалась, потому что глаза ее не видели и думали о другом.

XIII

Аббат Петижан и Анжель ждали под крышей атанагоровской палатки. Археолог оставил их ненадолго, а сам отправился на поиски бронзовой девушки.

Первым спокойствие нарушил Петижан.

— Вы все еще пребываете в своем дурацком умонастроении? — спросил он.— В сексуальном смысле, я хочу сказать.

— О, вы бесконечно правы, что жаждете дать мне хорошего пинка,— сказал Анжель.— То, чего я хотел,— отвратно. Но я в самом деле хотел этого, потому что моей физической оболочке теперь нужна женщина.

— В добрый час! — сказал аббат.— Вот это я понимаю. Нет ничего проще: займитесь малышкой, которая сейчас придет.

— Да-да, займусь,— сказал Анжель.— Просто в моей жизни был момент, когда я этого не мог. Я непременно хотел любить женщину, с которой в первый раз лягу в постель.

— И вам это удалось?

— Удалось,— сказал Анжель,— только я не вполне уверен, потому что у меня дважды создавалось одно и то же впечатление с тех пор, как я люблю Рошель.

— Какое впечатление? — спросил Петижан.

— Впечатление, что я знаю,— сказал Анжель,— что я уверен. Что я уверен в том, что́ надо делать. Что я знаю, зачем живу.

— И зачем же вы живете? — спросил Петижан.

— Я не в состоянии это объяснить. Это очень трудно выразить, если не привык выражаться словами.

— Вернемся к началу,— предложил Петижан.— Вы меня вконец запутали, и я, признаться, потерял нить. Это совсем мне не свойственно. Или, может, я не Петижан? Итак?..

— Дело в том,— начал Анжель,— что я любил одну женщину. Для нас обоих это было впервые. Тогда у меня все получилось, я вам уже говорил. Теперь я люблю Рошель. Не так давно. А она... Она ко мне бесчувственна...

— Не употребляйте столь тоскливых оборотов,— сказал Петижан.— Вы не можете этого знать.

— Но она спит с Анной. Он ее изнашивает. Он ее корежит. Он ее разрушает. Он это делает с ее согласия и вовсе не преднамеренно. Только что это меняет?

— Это многое меняет,— сказал Петижан.— Ведь вы не злитесь из-за этого на Анну?

— Нет, не злюсь и все же постепенно перестаю его любить. Он слишком долго ею пользуется, а вначале говорил, что ему на нее плевать.

— Знакомая история,— сказал аббат.— А потом они берут да и женятся на них.

— Он уже не женится на ней. В общем, она меня не любит, а я ее люблю, но вижу, что ее песенка спета.

— Да нет, она еще ничего. Несмотря на ваши тошнотворные описания.

— Этого недостаточно. Мне все равно, что когда-то, до нашей встречи, она была лучше. Невыносимо видеть теперешнюю ее деградацию, которая происходит без моего участия.

— Помилуйте, но ведь и с вашим участием эта деградация непременно произошла бы.

— Нет, не произошла бы. Я ведь не монстр какой-нибудь. Я бы отпустил ее, не доведя до разрушения. И сделал бы это не для себя — для нее. Чтобы она могла найти себе еще кого-нибудь. Ведь у женщин нет ничего, кроме формы, чтобы сцапать мужчину.

— Ох, вы меня сегодня уморите,— сказал аббат.— Цапают людей только крокодилы.

— Крокодилиц я не беру в расчет. Видите ли,— сказал Анжель,— если я говорю «женщина», то имею в виду красивую женщину. Остальные, то есть крокодилицы, обитают за пределами этого мира.

— Но как эти несчастные находят себе мужчин?

— Так же, как расходятся рекомендуемые врачами медикаменты. Никакой рекламы, лишь совет лечащего доктора. Эти товары иначе не продашь: кто-то кому-то шепнет на ухо, вот и все. Дурнушки выходят замуж только за тех, кто их хорошо знает. Или, возможно, могут свести с ума своим запахом. Или чем-то в этом роде. А может, лентяй какой на них позарится.

— Все это ужасно,— сказал аббат.— Вы открываете мне такие подробности, которые из-за моей безгрешной жизни и долгих медитаций были от меня сокрыты. Должен признаться, что священник — это особая статья. Женщины сами его находят и, в сущности, достаточно просто сделать выбор. Но они все дурнушки, и вам ничего другого не остается, как не грешить. Проблема разрешается сама собой. Остановите меня, потому что я начинаю путаться.

— Так вот к чему я все это говорил,— продолжал Анжель.— Красивую женщину надо бросать или же предоставлять ей свободу прежде, чем она растратит себя целиком. В отношениях с женщинами я всегда придерживался этого правила.

— Только не все женщины согласятся, чтобы их бросали,— заметил Петижан.

— Можно найти выход. Или вы делаете это с ее согласия, потому что некоторые понимают то, что я вам только что объяснил, и тогда вы живете в свое удовольствие, не теряя при этом ее. Или же есть другой способ — это быть с ней жестоким, и тогда она сама от вас уйдет. Но это грустный способ. Нужно помнить, что в тот момент, когда вы даете ей свободу, вы все еще любите ее.

— Вероятно, именно так вы и определяете, что женщина еще не до конца изношена? По тому, что вы все еще любите ее?

— Да,— сказал Анжель.— И в этом-то вся трудность. Вы не можете оставаться до конца безучастным. Вы бросаете ее по доброй воле и даже находите ей другого парня, но в тот момент, когда вы решаете, что все в порядке, вы начинаете ревновать.

Он замолчал. Аббат Петижан обхватил голову руками и наморщил лоб в сосредоточенном раздумье.

— И так продолжается до тех пор, пока вы не найдете себе другую? — сказал он наконец.

— Нет. Даже найдя другую, вы продолжаете ревновать. И вынуждены страдать молча. Вы не можете не ревновать, потому что с той, первой женщиной, не дошли до конца. Всегда остается какая-то незавершенность. Но вы ни за что этим не воспользуетесь — если вы честный человек, конечно.

— Скорее, такой человек, как вы,— уточнил аббат, мало что понявший в этом сложном вопросе.

— Анна решил дойти до конца,— сказал Анжель.— Он не остановится, если его не остановить. После него уже ничего не останется.

— А если остановить, много ли останется? — спросил аббат.

Анжель ничего не ответил. Он побледнел: устал объяснять всем одно и то же. Они с аббатом сидели на кровати археолога. Анжель откинулся, заложив руки за голову, и уперся взглядом в непроницаемую, плотную ткань палатки.

— Впервые в жизни,— сказал аббат,— я не сморозил ни единой глупости в течение такого большого промежутка времени. Хотел бы я знать, что происходит.

— Ничего, все в порядке,— сказал Анжель.— Вот она идет.

XIV

— Как объяснял мне Клод Леон,— говорил аббат,— эта негритяночка внутри точно из розового бархата.

Археолог кивал в ответ. Они с аббатом шагали впереди; за ними, обнимая Бронзу за талию, шел Анжель.

— Вам сегодня куда лучше, чем в тот раз...— сказала Бронза.

— Не знаю...— ответил Анжель.— Если вы так считаете, наверно, лучше. У меня ощущение, будто что-то должно произойти.

Аббат Петижан не унимался:

— От природы я не любопытен, но мне бы очень хотелось знать, правду ли он говорит.

— Значит, он видел, раз говорит,— рассудил Атанагор.

Бронза взяла руку Анжеля в свои крепкие пальцы.

— Я бы хотела побыть с вами какое-то время,— сказала она.— Возможно, в результате вы бы совсем излечились.

— Не думаю, чтобы это могло все изменить,— сказал Анжель,— но вы такая красивая. Я охотно это сделаю. Это будет как бы первый шаг.

— Вы полагаете, что потом меня уже будет недостаточно?

— Не знаю, что сказать. Я должен избавиться от навязчивой мысли: о Рошель. Но избавиться никак не могу, потому что люблю ее. Именно это и является моей навязчивой идеей. Наверно, вы сможете меня излечить, но сейчас я не берусь ничего утверждать. После Рошель у меня будет мертвый штиль, жаль, что вы как раз попадаете на этот период.

— Я не жду от вас чувств,— сказала Бронза.

— Они могут возникнуть сами, а могут и не возникнуть, так что вам лучше на них не рассчитывать. Я сам должен прийти к этому. Как видите, со своими чувствами к Рошель я совладать не в силах.

— Просто вы мало старались.

— У меня в голове все перемешалось,— сказал Анжель.— Я только-только начинаю распутывать этот клубок. Возможно, сказывается катализирующее действие пустыни. Кроме того, я возлагаю большие надежды на желтые рубашки профессора Жуйживьома.

— Он вам их оставил?

— Обещал оставить.

Анжель поднял глаза на Петижана и археолога. Они шли вперед размашистыми шагами, и аббат объяснял что-то, сильно жестикулируя. Они находились уже на вершине дюны; Анжель и Бронза дошли только до ее подножия. Головы впереди идущих начали опускаться и вскоре исчезли по ту сторону холма. Сухой песок в низине был столь заманчив, что Анжель вздохнул.

Бронза остановилась и легла на песок. Продолжая держать Анжеля за руку, она притянула его к себе. Как всегда, на ней были лишь шорты и легкая шелковая блузка.

XV

Амадис заканчивал диктовать письма, отчего по стенам скакала огромная тень; Рошель писала под диктовку. Дюдю закурил и откинулся на спинку кресла. В правом углу стола высилась стопка готовой к отправке почты, но девятьсот семьдесят пятый уже несколько дней как не появлялся — значит, письма прибудут с опозданием. Эта задержка вынуждала Дюдю нервничать. Необходимо получить распоряжения, переслать отчеты, найти возможную замену Жуйживьому, постараться решить проблему балласта, как-нибудь исхитриться и урезать зарплату всему персоналу, за исключением Арлана.

Дюдю вздрогнул, почувствовав, как все здание колыхнулось от мощного удара. Он посмотрел на часы и усмехнулся. Пробил час: Карло и Марен взялись за разрушение отеля. Часть здания, где находится бюро Дюдю, останется; место, где работает Анна, тоже. Разрушена будет только середина и комната, где жил сам Баррицоне. Помещения, занимаемые не так давно Жуйживьомом и практикантом,

пострадают частично. Комнаты Рошель и Анжеля тоже пока никто не тронет. Что же касается технических исполнителей, то они и так жили кто на первом этаже, кто в подвале.

Удары доносились через разные промежутки времени, по три кряду, и сопровождались стуком падающих камней, осыпающейся штукатурки и звоном бьющихся стекол.

— Перепечатайте мне все это,— сказал Дюдю,— а потом посмотрим, что делать с почтой. Нужно найти какой-нибудь выход.

— Хорошо, месье,— сказала Рошель.

Она отложила карандаш и заголила пишущую машинку, пригревшуюся под чехлом и теперь ежившуюся от соприкосновения с воздухом. Рошель успокоила ее движением руки и достала копирку.

Амадис встал, подрыгал ногами, чтобы все части тела заняли соответствующее им место, и вышел из комнаты. С лестницы донесся звук его шагов. С минуту Рошель смотрела в пустоту, потом принялась за работу.

В большой зале нижнего этажа витала известковая пыль, сквозь которую можно было различить фигуры технических исполнителей; тяжкие молоты падали и с видимым усилием поднимались снова.

Заткнув нос, Амадис вышел через противоположную дверь; у входа он увидел Анну, который курил, засунув руки в карманы.

— Здрасьте!..— сказал Анна, даже не шелохнувшись.

— А как же ваша работа? — спросил Дюдю.

— Вы полагаете, можно работать в таком грохоте?

— Дело совсем не в этом. Вам платят за то, чтобы вы сидели в бюро и работали, а не шлялись руки в карманы.

— Я не могу работать в таком шуме.

— А где Анжель?

— Понятия не имею. Мотается где-нибудь с археологом и кюре.

— Одна Рошель работает,— сказал Дюдю.— Вам должно быть стыдно. К тому же не забывайте, что о вашем поведении я вынужден буду сообщить в Правление.

— Рошель выполняет механическую работу. Ей не нужно думать.

— Когда вам за это платят, надо хотя бы делать вид,— заметил Амадис.— Поднимайтесь к себе.

— Не буду.

Амадис искал, что бы такое ответить, но промолчал, заметив, что у Анны странное выражение лица.

— Сами-то вы тоже не работаете,— сказал инженер.

— Я директор. Я обязан следить за работой других и способствовать ее исполнению.

— Никакой вы не директор,— сказал Анна.— Всем известно, кто вы на самом деле. Педераст.

Дюдю ухмыльнулся:

— Продолжайте, я не обижаюсь.

— Тогда не буду продолжать.

— Да что с вами сегодня? Обычно вы ведете себя куда почтительнее — и вы, и Анжель. И все остальные тоже. Что с вами стряслось? С ума вы, что ли, посходили?

— Вам этого не понять,— сказал Анна.— Потому что в нормальном, то есть обычном своем состоянии, вы — ненормальный. Должно быть, вам просто так легче. Но для нас, людей более-менее нормальных, временами нужны кризисы.

— Что вы подразумеваете под кризисами? То, чем вы сейчас занимаетесь?

— Минуточку, я объясню. По-моему...— Анна запнулся.— Впрочем, я могу вам сказать только то, что я сам по этому поводу думаю. Остальные... то есть нормальные, сказали бы вам, пожалуй, то же самое. Хотя, может, и нет.

Амадис покивал и начал выказывать нетерпение. Анна прижался лопатками к стене отеля, все еще сотрясаемой тяжеловесными ударами железных молотов, и посмотрел поверх его головы. Он не спешил с объяснениями.

— В некотором смысле,— сказал он наконец,— вы ведете на редкость тоскливое и однообразное существование.

— Почему это? — снова ухмыльнулся Дюдю.— Я считаю, что быть педерастом оригинально.

— Не оригинально, а несуразно,— сказал Анна.— Вы сами себя ущемляете и становитесь не более чем просто педиком. Нормальный мужчина или нормальная женщина могут намного больше и имеют куда больше возможностей проявить себя как личность. Вот тут-то и вылезает ваша ограниченность.

— Это педераст-то, по-вашему, человек ограниченный?

— Да, и педераст, и лесбиянка, и все люди такого сорта страшно узколобы. Может, они в этом и не виноваты. Но только почему-то ужасно этим гордятся. Меж тем как их особенность — всего лишь смехотворный порочишко.

— Вернее — и без сомнения — это социальный порок,— сказал Амадис.— Мы обычно подвергаемся притеснениям со стороны людей, которые ведут нормальный образ жизни: то есть спят с женщинами и имеют детей.

— Да чушь все это,— сказал Анна.— Я вовсе не имел в виду презрение обыкновенных людей к педерастам и то, что они над вами смеются. Нормальные люди вовсе не чувствуют над вами такого уж превосходства. И притесняют вас совсем не они. Угнетение порождается общепринятыми нормами жизни и теми лицами, для которых существование сводится к этим нормам. На них можно не обращать внимания. Мне лично всех вас жаль, но не потому, что вы тянетесь друг к другу с разными вашими причудами, позерством, условностями и прочим. Мне жаль вас потому, что вы действительно ограниченны. Из-за ничтожных отклонений в функционировании желез или мозга вам навешивают ярлык. Это грустно уже само по себе. Дальше — хуже: вы стараетесь соответствовать тому, что написано на ярлыке. Чтобы ярлык не врал. А люди смеются над вами, как мальчишки над убогим: не думая, что делают. Если бы они хоть чуточку подумали, им бы стало вас жалко, хотя ваше убожество пустяк по сравнению с убожеством слепого. Впрочем, слепые — единственные калеки, над которыми можно смеяться, потому что они этого не видят. Вероятно, именно поэтому над ними никто не смеется.

— Зачем же тогда вы смеетесь надо мной и называете меня педерастом?

— Потому что я разошелся, потому что вы мой начальник и ваши представления о работе выводят меня из терпения. Вот поэтому мне сейчас все средства хороши, даже несправедливые.

— Но ведь до сих пор вы так старательно работали,— сказал Амадис,— и вдруг бац — понесли какой-то бред.

— Именно это я и называю быть нормальным,— сказал Анна.— Это значит сохранять способность реагировать, пусть даже пережив период отупения и усталости.

— Вы считаете себя нормальным,— продолжал Амадис,— и при этом именно до полного, идиотского отупения спите с моей секретаршей.

— Я уже выдохся,— сказал Анна.— У нас с ней скоро все кончится. Мне теперь охота сходить глянуть на негритянку...

Амадис брезгливо поежился.

— В свободное время делайте что хотите. Только мне об этом не докладывайте. А теперь — живо за работу.

— И не подумаю,— решительно заявил Анна.

Амадис нахмурился и нервно провел рукой по белобрысой голове.

— Это же уму непостижимо,— сказал Анна,— сколько народу вкалывает задаром. Сидят в конторах по восемь часов в день! И главное в состоянии высиживать!

— Но ведь и вы делали то же самое,— заметил Амадис.

— Мне надоело слышать про то, что было. Будто нельзя вдруг взять — да разобраться, что к чему, даже будучи в глубокой жопе.

— Не произносите при мне таких слов,— сказал Амадис.— Пусть вы не меня лично имеете в виду — в чем я сомневаюсь,— все равно: мне неприятно это слышать.

— Вас я имею в виду лишь постольку, поскольку вы директор. Тем хуже, если выразительные средства, которыми я пользуюсь, попадают в другую цель. Теперь вы сами видите, насколько вы ограниченны и как крепко липнет к вам ярлык. Вы так же узколобы, как человек, состоящий в политической партии.

— Вы мерзавец,— сказал Амадис.— Кроме того, вы мне неприятны физически. И наконец вы бездельник.

— Да от бездельников конторы ломятся,— сказал Анна.— Их тьма тьмущая. Утром они помирают со скуки. Вечером — тоже. А днем, в обед, идут и нажираются из алюминиевых плошек всякой дряни, на которую человеку и смотреть-то противно. После обеда они переваривают то, что заглотили, дырявят бумагу, строчат частные письма и названивают приятелям. Иногда среди них вдруг заводится некто, способный приносить реальную пользу. Этот некто может создавать, творить. Он пишет письмо, которое приходит в соответствующую контору. Письмо деловое. Конторе достаточно ответить «да» или «нет», и дело в шляпе. Но только так никогда не бывает.

— У вас богатое воображение,— сказал Дюдю.— И поэтическая, героическая и всякая там душа. В последний раз говорю вам: идите работать.

— В сущности, на каждого живого человека приходится одна канцелярская крыса, этакий человек-паразит. Единственное, что оправдывает существование этого паразита,— письмо, которое разрешит проблему живого человека. И вот, чтобы продлить свое существование, крыса-паразит тянет с рассмотрением письма. А живой-то человек этого не знает.

— Довольно,— сказал Дюдю.— Честное слово, это какая-то галиматья. Я могу поручиться, что есть люди, которые сразу отвечают на письма. Это, между прочим, тоже работа. Так тоже можно приносить пользу.

— Если бы каждый живой человек встал и пошел искать по конторам, кто его собственный паразит, и если бы он его укокошил...

— Вы меня очень огорчаете,— сказал Дюдю.— Собственно говоря, мне бы следовало выбросить вас вон и нанять другого на ваше место. Но, если честно, я думаю, во всем виновато солнце и навязчивая идея спать с женщиной.

— И тогда,— продолжал Анна,— конторы превратились бы в гробы, и каждый крошечный кубик желтой или зеленой краски на стенах, каждый кусочек полосатого линолеума на полах содержал бы скелет паразита. И алюминиевые плошки больше бы не понадобились. Счастливо оставаться. Пойду наведаюсь к отшельнику.

Амадис Дюдю онемел от изумления, провожая Анну глазами. А тот пустился в путь длинными, энергичными шагами и, поигрывая хорошо отлаженными мускулами, без усилий взлетел на холм. Он вычертил замысловатую цепь чередующихся следов и, доведя ее до вершины песчаной выпуклости, бросил там, предоставив своему телу самостоятельно продолжать путь. Вскоре он совсем исчез из виду.

Директор повернулся и вошел в гостиницу. Молоточный перестук стих. Карло и Марен выносили наваленные в кучу обломки. Со второго этажа доносилась трескотня пишущей машинки и мелодичные звоночки, возвещающие конец строки; их заглушал металлический скрежет лопат. На обломках гостиницы уже успели вырасти голубовато-зеленые грибы.

Пассаж

В настоящее время профессора Жуйживьома наверняка уже нет в живых. Одного этого достаточно, чтобы набросать великолепную картину погони. Инспектор, пустившийся на поиски профессора, вероятно, продержался дольше, потому что был моложе и в придачу разгорячен встречей с Олив. Но как ни крути, никто не может знать, что сталось с ними за границей черной зоны. Есть некоторая доля сомнения, как говорят продавцы говорящих попугаев. Любопытно также, что никто до сих пор не присутствовал при соитии отшельника с негритянкой: учитывая изначальную важность персонажа по имени Клод Леон, мы не можем найти разумного объяснения этой заминке. Самое время им уже совершить этот акт перед лицом беспристрастных свидетелей, ибо последствия многажды повторенного деяния должны произвести на естество отшельника эффект, по которому можно будет судить с немалой долей вероятности, выдержит ли он суровое испытание или умрет от истощения. Не судя предвзято о последующих событиях, мы в состоянии, пожалуй, безошибочно сказать, что собирается делать Анжель. Вполне допустимо предположение, что взгляды и поступки его товарища Анны (того, что носит собачье имя. хотя этот последний факт отмечается нерегулярно) оказывают

сильное влияние на Анжеля, который вот-вот проснется окончательно вместо того, чтобы просыпаться время от времени и все невпопад,— но, слава Богу, всякий раз в присутствии очевидца. Чем завершится история других персонажей, по правде говоря, не столь ясно: то ли все дело в нерегулярном фиксировании их действий, что приводит к некоторой размытости, граничащей со свободой; то ли, несмотря на приложенные нами усилия, существование их осталось эфемерным. Вполне возможно, что в силу своей бесполезности они будут упразднены. Вы, безусловно, обратили внимание на ускользающую природу центрального персонажа, коим, без сомнения, является Рошель, и другого действующего лица — Deus ex machina [1],— *которым можно считать либо кондуктора девятьсот семьдесят пятого автобуса, либо его водителя, а то и шофера желто-черного такси (окраска автомобиля позволяет утверждать, что речь идет об обреченной машине). Все эти элементы книги — не более чем катализаторы реакции; они не участвуют в процессе и никак не связаны с достигаемым в конце равновесием.*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Дюдю наблюдал за действиями Карло и Марена. Брешь, проделанная в гостинице, еще не достигла нужной высоты. Пока что она остановилась на уровне первого этажа, но в дальнейшем должна была разрезать здание пополам. Технические исполнители прервали работу и расчищали проем от завала. Прислонясь к стене и засунув руки в карманы, Дюдю стоял около лестницы на второй этаж. Он размышлял над словами Анны, почесываясь и прикидывая, нельзя ли как-нибудь обойтись без его услуг. Он решил подняться наверх и взглянуть на чертежи обоих инженеров: если работа окончена или близка к завершению, значит, настал удобный момент их уволить.

Дюдю проводил взглядом долгие измерения уже проложенного пути. Подвешенная на сваях дорога была похожа на игрушку. Под шпалами гладко выровненный песок ждал балласта. Рядом со штабелями рельсов и шпал, накрытые брезентом, покоились в разобранном состоянии вагоны и паровоз.

Карло остановился. У него ломило спину. Он медленно разогнул туловище и сложил руки на деревянной рукоятке своей лопаты; запястьем отер лоб. Пропитанные потом волосы лоснились, влажное тело было облеплено пылью. Штаны съехали на бедра и свисали у колен дряблыми мешками. Карло смотрел в землю, медленно поворачивая голову то вправо, то влево. Марен продолжал расчищать проем, и осколки стекла позвякивали о железо его лопаты. Резко выгибая торс, он бросал их в кучу мусора за своей спиной.

— Продолжайте работать,— приказал Дюдю, обращаясь к Карло.

— Я устал, господин,— ответил тот.

— Вам платят не за то, чтобы вы валяли дурака.

— Я не валяю дурака, господин, я перевожу дух.

— Если у вас не хватает духу выполнять как следует эту работу, нечего было за нее браться.

— Я не гонялся за ней. Я просто был вынужден согласиться.

— Никто вас не принуждал: сами подписывали контракт.

— Но я устал.

— Повторяю: продолжайте работать.

Марен перестал бросать мусор.

— Мы не можем работать без передышки, как скоты,— сказал он.

— Можете. А для того, чтобы это непреложное правило соблюдалось, имеется старший мастер.

— Это... какое правило?

— Непреложное.

— Слушайте, вы нам уже глаза намозолили, не только руки,— сказал Марен.

[1] Бог из машины *(лат.)*.

— Попрошу вас быть повежливей.

— Даже эта сволочь Арлан оставил нас в покое. Оставьте и вы.

— Я как раз собираюсь напомнить Арлану о его обязанностях,— сказал Дюдю.

— Работу свою мы выполняем,— сказал Марен.— А как мы это делаем — не ваша забота.

— Еще раз повторяю: продолжайте расчистку. Это приказ. Последний.

Карло снял руки с древка лопаты и, придерживая его локтями, поплевал в свои сухие ладони. Марен отбросил лопату в сторону.

— Щас будем бить вам морду,— предупредил он.

— Не надо, Марен...— тихо проговорил Карло.

— Если вы прикоснетесь ко мне, я буду протестовать,— сказал Амадис.

Марен сделал два шага и посмотрел на директора, потом сделал еще шаг и придвинулся к нему вплотную.

— Вот уж разукрашу ваш портрет,— сказал он.— Зря вы к нам прицепились. Ишь, одеколоном так и разит. Сразу видать, что педрила и засранец.

— Оставь его, Марен,— сказал Карло.— Начальство все-таки.

— В пустыне не бывает начальства.

— Здесь уже не пустыня,— иронически заметил Дюдю.— Вы когда-нибудь видели в пустыне железную дорогу?

Марен задумался.

— Пошли работать, Марен,— позвал Карло.

— Он пытается задурить мне голову своими фразочками,— сказал Марен.— Его послушаешь — он мигом вокруг пальца обведет. Сам знаю, что лучше с ним не связываться, но, кажется, в морду я все равно ему дам. А не то он совсем меня заморочит.

— Ну что ж,— сказал Карло,— если ты решил вмазать ему как следует, я тебе помогу.

Дюдю сжался.

— Не смейте ко мне прикасаться,— сказал он.

— Если мы дадим вам трепать языком, то как пить дать останемся в дураках. Ясно?

— Вы скоты и остолопы,— сказал Дюдю.— Живо беритесь за лопаты, иначе не получите жалованья.

— Да плевать на него, на это жалованье,— сказал Марен.— У вас там наверху денег сколько хошь, а нам еще ни разу не заплатили. Вот пойдем и возьмем, сколько нам причитается.

— Вы еще и бандиты,— сказал Дюдю.

Кулак Карло описал в воздухе короткую дугу, жесткую и стремительную. В щеке у Амадиса что-то хрустнуло. Из груди вырвался стон.

— Берите свои слова обратно,— сказал Марен.— Еще немного — и вы труп.

— Бандиты! — уперся Амадис.— Никакие вы не работники, вы бандиты!

Марен изготовился для нового удара.

— Пусти,— сказал Карло.— Не вдвоем же его бить. Дай теперь я.

— Ты не в себе,— сказал Марен.— Убьешь.

— Может, и убью,— согласился Карло.

— Я тоже зол как черт,— сказал Марен,— но если его убить, то опять он в выигрыше.

— Куда как просто, если бы он испугался,— сказал Карло.

— Бандиты,— повторил Амадис.

У Карло опустились руки.

— Эй, вы, педераст вонючий,— сказал он.— Можете болтать, что вам вздумается. Чего нам от этого, убудет, что ли, если какой-то там педик будет языком трепать? Да вы со страху уже в штаны наложили.

— А вот и нет,— сказал Амадис.

— Ну погодите, я велю своей жене, она вами займется,— пообещал Марен.

— Ну хватит,— сказал Дюдю.— Принимайтесь за работу.

— Ах ты гад! — сказал Карло.

— Бандиты тупоголовые,— заключил Дюдю.

Марен ударил его ногой в пах. Амадис издал приглушенный крик и, согнув-

шись вдвое, рухнул на пол. Физиономия его стала совсем белой. И дышал он, как запыхавшийся пес.

— Зря ты,— сказал Карло.— Я уже совсем успокоился.

— Да ничего с ним не будет,— заверил его Марен.— Я несильно. Через пять минут забегает будь здоров. Сам напросился.

— Это точно,— согласился Карло.— Ты прав.

Они подобрали лопаты.

— Теперь нас выпрут,— сказал Карло.

— Ну и ладно,— отозвался его напарник.— Хотя бы отдохнем. Тут улиток до фига в этой пустыне, ребятня говорит.

— Ага,— согласился Карло.— Такую вкусноту из них сварганим.

— Вот только дорогу закончим.

— Ага, когда закончим.

Издалека до них донесся гул.

— Тс-с-с, что это? — насторожился Марен.

— Грузовики небось приехали,— сказал Карло.

— Теперь балласт придется класть,— сказал Марен.

— По всей трассе,— откликнулся Карло.

Марен согнулся над лопатой. Гул грузовиков все нарастал, пока не дошел до высшей точки; потом резко взвизгнули шины, и воцарилась тишина.

II

Аббат Петижан схватил археолога за руку и пальцем указал на хижину.

— Вот мы и пришли,— сказал он.

— Отлично. Подождем ребят...— сказал археолог.

— О, я уверен, они прекрасно могут обойтись без нас,— сказал аббат.

Атанагор улыбнулся:

— Уж Анжель во всяком случае.

— Счастливчик! — вздохнул аббат.— Я охотно истратил бы несколько разрешений на эту девицу.

— Ну-ну,— остановил его археолог.

— Под моей толстой суганой бьется мужественное сердце,— провозгласил Петижан.

— Сердцем любите на здоровье...— сказал археолог.

— М-м... Да, конечно...— не стал возражать аббат.

Они остановились и теперь, если можно так выразиться, оглядывались назад — то есть назад по отношению к своим собственным фигурам за пять секунд до того.

— Вон они идут! — сказал Атанагор.— А где же Бронза?

— Это не Анжель,— сказал аббат,— это его приятель.

— У вас острое зрение.

— Не в зрении дело,— сказал аббат.— Вряд ли Анжель такой лопух, чтобы в два счета управиться с подобной девицей.

— Да, действительно, не он,— подтвердил Атанагор.— А этого вы знаете?

— Немного. Он обычно либо спит, либо работает, либо упражняется с секретаршей того гомосексуалиста.

— Он бежит бегом...— сказал археолог.

Анна быстро приближался.

— Красивый парень,— отметил Петижан.

— Он ведь никогда нигде не бывает. Что это на него нашло?

— Видно, и впрямь события принимают непредвиденный оборот.

— Похоже, что так,— сказал археолог.— Бедный профессор Жуйживьом.

Они замолчали.

— Здравствуйте,— сказал Анна.— Меня зовут Анна.

— Здравствуйте,— ответил Атанагор.

— Как ваши дела? — с интересом спросил Петижан.

— Уже лучше,— сказал Анна.— Я решил ее бросить.

— Кого? Вашу кралю?

— Ага, кралю. Она мне надоела.

— Так вы что же, ищете новую?

— Именно так, господин аббат,— ответил Анна.

— О, только, пожалуйста, без этих претенциозных словечек! И потом...— Петижан отошел в сторону и принялся описывать вокруг своих собеседников круги, сильно топая ногами и декламируя нараспев:

— Шел грек через реку, видит грек в реке рака!

— Сунул грек в реку руку...— подхватил археолог.

— Грек рака в руку хвать! — с готовностью закончил Анна, пристраиваясь в ногу с аббатом.

Петижан остановился и почесал себе нос.

— Он тоже знаком с уставными формулами.

— Конечно, знаком...— подтвердил Анна.

— Так что ж, берем его с собой? — спросил Петижан.

— Ну разумеется,— заявил Анна.— Я хочу увидеть негритянку.

— Вы негодяй,— сказал Петижан.— Вам что же, так всех прямо и подавай?

— Вовсе нет. Ведь с Рошель у меня все кончено.

— Кончено, говорите?

— Кончено, на все сто.

Аббат задумался.

— А она знает?

Анна как будто слегка смешался.

— Я еще не успел ей сказать...

— Насколько я могу судить, это одностороннее и скоропалительное решение,— сказал аббат.

— Я принял его, пока бежал за вами,— пояснил инженер.

Атанагор насупился.

— А вы не церемонитесь,— сказал он.— Как еще воспримет это Анжель?..

— О чем речь! — воскликнул Анна.— Он будет счастлив. Ведь Рошель теперь свободна.

— А что она сама об этом думает?

— Откровенно говоря, не знаю. Она как-то не склонна думать.

— Лихо сказано...

Анна потер себе щеку.

— Ну, пожалуй, это ее немного огорчит,— проговорил он.— Впрочем, меня лично это нисколько не волнует, я не могу заниматься ее чувствами.

— Ловко вы устраиваете свои дела,— сказал Петижан.

— Я инженер.

— Да будь вы хоть архиепископ, это еще не повод бросать женщину, даже не предупредив ее. Тем более если вы с ней спали еще вчера вечером.

— Вернее, сегодня утром.

— Вы дождались момента, когда ваш товарищ Анжель нашел наконец путь к умиротворению, и собираетесь снова ввергнуть его в пучину неопределенности,— сказал аббат Петижан.— Нет никакой гарантии, что он захочет свернуть с этого пути ради какой-то девицы, по которой вы прошлись, как молотилка.

— Что это еще за путь к умиротворению? — спросил Анна.— Что он такое учудил?

— Он отхватил себе отпадную подружку! Свинтус эдакий! — воскликнул Петижан, прищелкнув языком, но тут же опомнился и перекрестился.— Я снова употребил запретное слово,— сказал он, извиняясь.

— Ничего, ничего, продолжайте,— рассеянно сказал Анна.— А какая она из себя, эта женщина? По крайней мере это не негритянка?

— Конечно, нет,— сказал Петижан.— Негритянка закреплена за отшельником.

— Значит, есть еще кто-то? И она хороша собой?

— Послушайте, оставьте вашего друга в покое,— посоветовал Атанагор.

— Но он так меня любит. Он не будет возражать, если я заберу эту девицу себе.

— Вы говорите очень несимпатичные вещи,— заметил археолог.

— Да он же будет счастлив, как молодой предприниматель, когда узнает, что Рошель свободна!

— Не думаю,— сказал археолог.— Слишком поздно.

— Вовсе не поздно! Она еще очень даже ничего. И даже научилась кой-чему.

— Для мужчины это не слишком приятно. Такой парень, как Анжель, не нуждается в уроках подобного рода.

— Да? — удивился Анна.

— Занятно,— сказал Петижан.— Время от времени вы довольно интересно говорите, но при этом становитесь невероятно гнусным.

— Видите ли, женщины...— начал Анна,— я делаю с ними все, что полагается, но на том и конец. Я их очень люблю, но в остальное время предпочитаю общество друзей. Хочется ведь иногда и поговорить с кем-нибудь.

— Вероятно, Анжель устроен иначе,— сказал Атанагор.

— Надо помочь ему выкарабкаться,— сказал Анна.— Пусть себе спит с Рошель, это скоро ему наскучит.

— Анжелю нужно совсем другое,— сказал Петижан.— То же, что я ищу в религии... в общем... собственно говоря... хоть я и позволяю себе иногда кое-какие безобидные отступления от общего правила... Но это ничего, я отчитаю потом свои пятьдесят искупительных молитв... Я сказал пятьдесят... но это означает три.

— То, что вы предлагаете, отдавая ему Рошель,— сказал археолог,— он может получить от любой другой женщины. И он это уже получил.

— Но каков свин! — вскипел Анна.— И ничего мне не говорил. Вот вам и хваленый Анжель!

— Ему нужно совсем другое,— повторил Петижан.— Вам лишь бы перепихнуться посмачней. А ведь кроме этого...— он замолчал, соображая, что же еще есть кроме этого.— Не знаю,— сказал он наконец.— В отношении женщин я, скорее, разделяю вашу точку зрения. Они для того и существуют, чтобы их потискать. Но думать можно и о другом.

— Совершенно с вами согласен,— вставил Анна.— Как я уже говорил, для другого я предпочитаю друзей.

— То, что нужно Анжелю, трудно выразить словами,— сказал Атанагор.— Чтобы понять, вы должны хотя бы иметь об этом представление. Мои слова ничего вам не скажут, потому что вам не с чем их сопоставить внутри вас.

— И все же попробуйте,— предложил Анна.

— Мне кажется, он ищет как бы ориентир,— сказал Атанагор.— Ему нужен кто-нибудь, кто бы хорошо его знал и кому он был бы небезразличен, чтобы соотносить с этим ориентиром свои поступки, не вдаваясь в самоанализ.

— Почему же ориентиром не стала эта новая женщина? — спросил Анна.

— Потому что сначала он любил Рошель. И тот факт, что она его не любила, казался ему залогом беспристрастности ее суждений. Ему нужно было заинтересовать ее, чтобы сделать своим ориентиром.

— Анжель — клевый парень,— сказал Анна.— Жаль, что у него мозги набекрень. Впрочем, он всегда был слегка малохольным.

Археолог с минуту поколебался, потом сказал:

— Может быть, это моя фантазия, но мне кажется, что на самом деле все еще сложнее.

— Что значит сложнее?

— Сомневаюсь. чтобы перспектива любить Рошель без помех могла теперь обрадовать Анжеля. Мне кажется, эта девица вызывает у него скорее отвращение.

— Да нет, вряд ли.

— Вы истаскали ее,— сказал Петижан.— И потом, может, она вовсе не захочет поменять вас на вашего друга.

— Ничего страшного,— возразил Анна,— я все ей объясню.

— Не пойти ли нам дальше? — предложил Петижан.

— Я иду с вами,— сказал Анна.

— Хочу попросить вас об одной вещи,— начал археолог.

Они снова пустились в путь, на этот раз втроем. Анна возвышался над своими спутниками на целую голову. На свою собственную, если быть точным до конца.

— Я хочу попросить вас ничего не говорить Анжелю,— сказал археолог.

— Не говорить о чем?

— Что Рошель свободна.

— Но ведь это его обрадует!

— Мне бы хотелось, чтобы Рошель узнала об этом первая.

— Почему?

— Потому что такая уж это деликатная вещь,— сказал археолог.— Я думаю, если сказать Анжелю сейчас, то это не решит проблемы.

— Да? Ну хорошо! А потом-то я могу ему сказать?

— Само собой, потом можно,— согласился археолог.

— В целом картина такая: сначала я предупреждаю Рошель, а затем только ставлю в известность Анжеля, верно? — спросил Анна.

— Да, именно так и надо поступить,— вмешался Петижан.— Представьте себе, что, обрадовав Анжеля и не успев еще ничего сообщить Рошель, вы неожиданно передумаете. Вам-то что, с вас как с гуся вода. А для Анжеля это будет новым ударом.

— Да-да, конечно,— закивал Анна.

— По правде говоря, не в этом истинная причина,— сознался археолог,— но истинную причину вам знать необязательно.

— Ничего, с меня и этого довольно.

— Благодарю,— сказал Атанагор.— Так я рассчитываю на вас.

— А теперь пойдемте смотреть негритянку,— сказал Анна.

III

Так, к примеру, в рубрику «Балет» входят все имеющиеся у нас записи балетной музыки; эту рубрику вы легко найдете в разделе классики по алфавитному каталогу на слово «балет».

Каталог «Филипс», 1946, стр. 111

Рошель увидела входящего Дюдю. Скорчившись от боли и держась рукой за низ живота, другой он опирался о дверной косяк и стены. Кое-как доковыляв до своего кресла, он рухнул в него без сил. Глаза директора часто мигали, а лоб собирался в складки, морщившие привычную вялую гладь кожи.

Рошель бросила работу и встала. Она не любила Дюдю.

— Чем я могу вам помочь? — спросила она.— Вам плохо?

— Не прикасайтесь ко мне,— поспешил остановить ее Амадис.— Меня ударил один из рабочих.

— Может, вам лучше лечь?

— Вы мне ничем не можете помочь. Физически. Все остальное подождет.— Он осторожно пошевелился.— Я так хотел встретиться с Дюпоном.

— Кто это, Дюпон?

— Повар археолога.

— Где же мне его искать?

— Он, должно быть, все еще с этим пакостником Жирдье...— с трудом выговорил Дюдю.

— Не хотите ли чего-нибудь выпить? — предложила Рошель.— Я могу заварить вам чай из эдреантов.

— Ничего не надо,— сказал Дюдю.

— Как хотите.

— Спасибо.

— О, я предлагаю это вовсе не для того, чтобы сделать вам приятное,— сказала Рошель.— Я совсем вас не люблю.

— Знаю,— сказал Амадис.— Хотя принято думать, что женщинам нравятся гомосексуалисты.

— Разве что тем, которые не любят мужчин. Или тем, что склонны обобщать.

— Говорят также, будто женщины проникаются к ним доверием, потому что могут не опасаться приставаний с их стороны и всяких прочих неожиданностей.

— Ну, если они красавцы, то может быть,— сказала Рошель.— Только я ничуть не опасаюсь приставаний. Мне нравится, когда ко мне пристают.

— Кто же еще, кроме Анны, имеет на вас виды?

— Вы задаете бестактные вопросы.

— Теперь это не имеет значения,— сказал Дюдю.— И Анна, и Анжель стали для меня обыкновенными людьми. Я их уволил.

— Анна вовсе не пристает ко мне,— объяснила Рошель.— Он со мной спит. Он меня трогает. Мнет.

— Значит, это Анжель к вам пристает?

— Да,— сказала Рошель,— с моего на то согласия. Он, правда, с виду не такой силач, как его друг. И потом, вначале мне больше нравился Анна. Потому что он не такой сложный.

— Вы находите Анжеля сложным? А по-моему, он лодырь и кретин. Но внешне куда приятней, чем Анна.

— Он не в моем вкусе,— возразила Рошель.— Хотя в целом он тоже ничего.

— И вы могли бы с ним спать?

— Разумеется, могла бы! — сказала Рошель.— Теперь уже могла бы. От Анны больше ничего не добьешься. Еще немного, и он совсем выдохнется.

— Я вас так подробно расспрашиваю, потому что вы для меня являетесь частью совершенно чуждого мне мира. Я пытаюсь понять.

— Вспомнили, что вы мужчина, потому что получили по тому месту? — спросила Рошель.

— Мне очень больно, и сейчас я невосприимчив к иронии,— сказал Дюдю.

— Можно подумать, все только и ждут, чтобы над вами посмеяться. Если хотите знать, мне это глубоко безразлично!

— Замнем для ясности,— сказал Дюдю.— Так вы говорите, что Анжель пристает к вам? Скажите, вам это неприятно?

— Нет. Он мне нужен как бы про запас.

— Но он, наверно, страшно ревнует.

— С чего вы взяли, что он ревнует?

— По аналогии. Я очень хорошо знаю, что бы я сделал с Жирдье, будь моя воля.

— Что бы вы сделали?

— Убил бы. Забил бы до смерти. Бил бы его ногами в живот, пока всего бы не размазал.

— Анжель не похож на вас. Он не такой горячий.

— Вот тут вы ошибаетесь. Он не простит Анне.

Рошель посмотрела на директора с беспокойством.

— Вы ведь не взаправду так думаете?

— Взаправду. Есть только один выход. Да мне-то какое до этого дело? Вы что думаете, я нарочно вас пугаю?

— Вы так говорите, будто и впрямь знаете,— сказала Рошель.— Наверное, вы хотите поймать меня на удочку. Имейте в виду: загадочным видом меня не проведешь.

— Да нет у меня никакого загадочного вида. Просто мне больно, и я кое-что понимаю. Кстати, как там ваша работа?

— Все готово,— сказала Рошель.

— Сейчас будет другая. Возьмите блокнот.

— Вам, кажется, лучше?

— Балласт прибыл,— сказал Дюдю.— Надо выписать шоферам зарплату и предложить им работу на железной дороге.

— Они откажутся,— сказала Рошель.

— Берите карандаш и пишите, что я скажу. Можно так предложить, что не откажутся.

Рошель сделала несколько шагов по комнате и вооружилась блокнотом и карандашом. Водрузив локти на стол и обхватив голову руками, Дюдю немного помедлил и начал диктовать.

IV

— Вот это я понимаю,— сказал аббат Петижан.— Действительно первоклассное святое деяние.

Анна, археолог и аббат неспешно возвращались из хижины отшельника.

— А негритянка-то, негритянка...— говорил Анна.— Святые угодники!

— Ну-ну, успокойтесь,— сказал археолог.

— Клода Леона не трогайте,— предупредил аббат.— С негритянкой он и сам неплохо управляется.

— О, я бы охотно протянул ему руку помощи,— сказал Анна.

— Рука — это не совсем то, чем он орудует,— заметил аббат.— Надо было смотреть внимательней.

— Ого, ну ничего себе!..— воскликнул Анна.— И вообще, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я уже не могу идти.

— Не спорю, это очень впечатляет,— сказал аббат.— Хорошо, что на мне сутана.

— Что нужно сделать, чтобы стать священником? — спросил Анна.

— Вечно у вас семь пятниц на неделе,— сказал Петижан.— То вам одно подавай, то другое. То вы ахинею несусветную несете, то умные вещи вроде говорите. Сегодня вы чуткий и ранимый, завтра — негодяй отпетый, торговец скотом, думающий только о случке. Простите мне резкие выражения, они куда низменнее, чем мысли, их вызвавшие.

— Ничего-ничего,— сказал Анна.— Я все понимаю.— Он рассмеялся и взял аббата под руку.— Знаете, Петижан, вы настоящий мужчина, самец, можно сказать.

— Благодарю,— ответил аббат.

— А вы,— продолжал Анна, обращаясь к археологу,— вы — лев. Я счастлив, что с вами познакомился.

— Я состарившийся лев,— сказал археолог.— Ваше сравнение было бы точнее, если бы вы выбрали какое-нибудь землеройющее животное.

— Что вы! Ваши раскопки — это так, для отвода глаз. Вы о них только говорите и никому ничего не показываете.

— А вы хотели бы посмотреть?

— Ну конечно, о чем речь! — сказал Анна.— Меня интересует решительно все.

— Вас *немного* интересует решительно все,— поправил Петижан.

— Это вообще свойственно людям,— парировал Анна.

— А куда вы запишете профессионалов? — спросил Атанагор.— Мой скромный пример, разумеется, ничего не меняет, но археология для меня — все.

— Неправда,— сказал Анна.— Это всего лишь стиль.

— Что вы такое говорите! — возмущенно воскликнул Атанагор.

Анна только рассмеялся.

— Тогда я вас засуну в ящик,— сказал он.— Точно так же, как вы рассовываете по ящикам фаянсовые горшки, которые ничего дурного вам не сделали.

— Молчите, вертопрах! — сказал археолог. Но он не сердился.

— Что же дальше? — спросил Анна,— мы идем смотреть ваши раскопки?

— Пойдемте,— поддержал его Петижан.

— Ну что ж, давайте,— согласился археолог.

V

Анжель шел им навстречу. Шагал он неуверенно, еще не вполне остыв от объятий Бронзы. Она уже оставила его и вернулась к Брису и Бертилю, чтобы помочь им копать. Она знала, что не стоит долго оставаться около этого растревоженного мужчины, который только что так бережно, так нежно, боясь сделать больно, овладел ею в песчаной ложбинке. Она бежала и смеялась. Ее длинные, пружинистые ноги взлетали над белесым песком, а тень танцевала рядом, рисуя ей четвертое измерение.

Приблизившись к путникам, Анжель с прилежным вниманием поднял на них глаза. Он не стал извиняться за свое отсутствие. Он увидел Анну, бодрого и веселого, как до связи с Рошель. Значит, с Рошель все кончено.

До стоянки Атанагора оставалось совсем немного. Путники теперь лишь перебрасывались репликами, а события уже готовились свершиться.

Потому что Анжель познал Бронзу и разом потерял все, чем Анну одарила Рошель.

VI

— Я полезу вперед,— сказал Атанагор.— Будьте осторожны. Там внизу — груда камней, которые предстоит упаковать.

Он втиснул свое тело в жерло колодца, и ноги его сразу же нащупали надежную опору серебряной ступеньки.

— Прошу вас! — сказал Анна, пропуская аббата вперед.

— Дурацкий вид спорта,— сказал Петижан.— Эй вы, там, внизу! Вверх не смотреть! Не положено! — Он подобрал сутану и поставил ногу на первую ступеньку.

— Вроде получается,— сказал он.— Спускаюсь.

Анна и Анжель остались наверху.

— Там глубоко, ты не знаешь? — спросил Анна.

— Не знаю,— ответил Анжель сдавленным голосом.— Кажется, глубоко.

Анна склонился над ямой.

— Ни фига не видать. Петижан, наверно, уже внизу. Теперь пора.

— Нет, погоди...— сказал Анжель с отчаянием в голосе.

— Да пора же, говорю тебе.

Анна стоял на коленях над скважиной колодца и вглядывался в непроглядный мрак.

— Нет,— повторил Анжель,— подожди еще.

Голос у него был тихий, будто от страха.

— Надо лезть,— сказал Анна.— Ты что, сдрейфил?

— Нет, я не боюсь...— еле слышно проговорил Анжель.

Рука его коснулась спины друга. Внезапно он толкнул его в пустоту. На лбу Анжеля выступили капельки пота. Несколько секунд спустя из колодца донесся приглушенный хруст и испуганные крики Петижана.

Колени у Анжеля подгибались и пальцы дрожали, когда он нащупывал верхнюю перекладину лестницы. Ноги сами привели его вниз, а тело было податливым и тяжелым, как холодная ртуть. Труба колодца еле заметно синела в чернильной темноте у него над головой. Внизу, в подземелье, слабо мерцал свет; Анжель полез дальше. Слышно было, как Петижан монотонно произносит какие-то слова. Анжель старался не смотреть.

VII

— Это я во всем виноват,— сказал археолог Петижану.

— Нет, тут и моя вина,— сказал аббат.

— Лучше бы он признался Анжелю, что Рошель свободна.

— Тогда на его месте был бы сейчас Анжель,— сказал Петижан.

— Но почему надо было выбирать?

— Потому что всегда приходится выбирать. Как ни печально, но это факт.

Тело Анны лежало на камнях со сломанной шеей. Лицо было безучастно. Лоб пересекала широкая ссадина, наполовину скрытая перепутавшимися волосами. Одна нога была подогнута.

— Надо забрать его оттуда и положить как следует,— сказал Петижан.

Сверху спустились ноги Анжеля, затем все его тело. Потом и сам Анжель неслышно подошел к ним.

— Я убил его,— сказал он.— Он мертв.

— Вероятно, он слишком низко наклонился над колодцем,— сказал археолог.— Не стойте там.

— Это я...— сказал Анжель.

— Не трогайте его,— сказал Петижан.— Не нужно. Произошел несчастный случай.

— Нет,— сказал Анжель.

— Именно: несчастный случай,— повторил археолог.— В этом вы не можете ему отказать.

Анжель плакал, лицо его было горячим.

— Подождите нас там,— сказал Атанагор.— Идите вперед по коридору.— Он подошел к Анне, бережным движением пригладил светлые волосы и посмотрел на жалкое, сломанное тело.— Он был молод,— проговорил археолог.

— Да,— вздохнул Петижан.— Они все молоды.

— И все умирают...— отозвался Атанагор.

— Не все... Кое-кто все же остается. Вы и я, к примеру.

— Мы высечены из камня,— сказал археолог.— Камень не в счет.

— Помогите мне,— сказал Петижан.

Они с большим трудом приподняли обмякшее, отяжелевшее тело, но оно все равно волочилось по земле. Ноги Петижана не находили опоры на рыхлом полу подземелья. С грехом пополам Анну стащили с груды камней и положили около стены.

— Стоило мне отвернуться... Это я во всем виноват,— сказал Атанагор.

— Повторяю: вы здесь ни при чем,— возразил Петижан.— Что мы могли поделать?

— Это ужасно: ведь и мы приложили к этому руку.

— В любом случае нашим надеждам не суждено было сбыться,— сказал Петижан.— Так уж вышло: безнадежность взяла нас за живое. Это очень тяжело, но тем быстрее забудется.

— Забудется вами,— сказал Атанагор.— Он был красивый.

— Они тоже красивые. Те, кто остался.

— Вы черствый человек,— сказал археолог.

— Священник не должен быть мягкосердечен,— заметил Петижан.

— Я хочу его причесать. У вас есть расческа?

— Не имею в заводе. Оставьте его, не стоит. Пойдемте отсюда.

— Я не могу его так оставить.

— Не распускайте нюни. Он всегда будет с вами, потому что он мертв, а вы немолоды. Но он все-таки мертв.

— А я стар и все-таки жив,— сказал археолог.— И Анжель остался совсем один.

— Не будет теперь у него друга,— рассудил Петижан.

— Но мы будем с ним рядом.

— Нет,— сказал аббат.— Он уедет отсюда. Уедет один. Все не уляжется так просто. Мы еще не дошли до развязки.

— Что же еще может случиться?.. — спросил Атанагор усталым, надтреснутым голосом.

— Случится...— сказал Петижан.— Работа в пустыне не обходится без последствий. Тут все так путалось... Это очевидно.

— Просто вы привыкли к трупам. А я нет. Я имел дело только с мумиями.

— Вы не посвящены в таинство,— сказал аббат.— Вы способны только страдать и ничего не можете извлечь из своих страданий.

— А вы можете?

— Я? Я просто не страдаю. Пойдемте.

VIII

Анжеля они нашли в галерее. Глаза его были сухи.

— Ничем нельзя помочь? — спросил он Петижана.

— Ничем. Только сообщить остальным, когда пойдем обратно.

— Хорошо. Я им сам скажу. Раскопки смотреть будем?

— Разумеется,— сказал аббат.— Для того и пришли.

Атанагор не проронил ни слова, только сморщенный подбородок его дрожал. Он прошел вперед и стал во главе колонны.

Втроем они пробирались по извилистому коридору, который вел в забой. Анжель внимательно разглядывал потолок и опоры подземелья, пытаясь определить, в каком направлении ведутся раскопки. Вскоре они вышли в центральную галерею, на другом конце которой через равные промежутки светились точки: это были осветительные приспособления. Анжель остановился у поворота.

— Она там? — спросил он.

Атанагор, не понимая, посмотрел на него.

— Ваша подруга, она там? — снова спросил Анжель.

— Да, она работает,— сказал археолог.— С нею Брис и Бертиль.

— Я не могу с ней встречаться,— сказал Анжель.— Не могу. Я убил Анну.

— Прекратите,— оборвал его Петижан.— Если вы еще раз повторите эту глупость, мне придется самому вами заняться.

— Я убил его,— повторил Анжель.

— Это не так,— сказал Петижан.— Вы лишь подтолкнули его, а умер он, когда приземлился на камни. Это несчастный случай.

— Вы иезуит...— сказал Анжель.

— Я, кажется, уже упоминал о том, что воспитывался у эвдистов,— невозмутимо проговорил Петижан.— Если бы вы хоть иногда прислушивались к тому, что я говорю, вам бы от этого не поплохело. Еще не так давно вы правильно реагировали на происходящее и вдруг ни с того ни с сего опять скисли. Предупреждаю, что не позволю вам распускать нюни. Вышел месяц из тумана...

— Вынул фигу из кармана...— машинально ответили Анжель и археолог.

— Думаю, продолжение вам известно,— сказал Петижан.— Значит, на том и остановимся. К тому же я вовсе не намерен насильно тащить вас смотреть на этих троих в забое. Я же не палач.

Атанагор многозначительно кашлянул.

— Именно так,— сказал Петижан, оборачиваясь к нему.— Я не палач.

— Кто же в этом сомневается? — сказал археолог.— В противном случае ваша сутана была бы красной, а не черной.

— Ночью все равно,— нашелся Петижан.

— Слепому — тоже,— заметил археолог.— Вы сегодня исходите банальностями...

— Ну и задира же вы,— сказал Петижан.— Я всего лишь пытаюсь взбодрить вас обоих.

— И весьма в этом преуспели. У меня уже почти возникло желание послать вас по известному адресу.

— Когда вы не на шутку этого захотите, я скажу, что добился своего.

Анжель все время молчал и вглядывался в конец галереи; теперь он отвернулся и посмотрел в другую сторону.

— Какое вы направление выбрали для раскопок? — спросил он Атанагора, сделав над собой усилие, чтобы говорить спокойно.

— А кто его знает,— сказал Атанагор.— Где-то в двух измерениях к востоку от меридиана...

— Что?..— сказал Анжель, остолбенев.

— Решайтесь наконец,— поторопил их Петижан.— Мы идем или нет?

— Мне необходимо взглянуть на мои расчеты,— проговорил Анжель.

— А в чем дело? — спросил археолог.

— Так, ни в чем. Одна догадка. Я не пойду туда.

— В таком случае поворачиваем,— сказал Петижан.

Все повернулись на пол-оборота.

— Вы идете со мной в гостиницу? — спросил Анжель у аббата.

— Я провожу вас,— ответил тот.

Теперь археолог шел позади всех, и тень его казалась совсем маленькой по сравнению с тенями его спутников.

— Мне нужно спешить,— сказал Анжель.— Я хочу увидеть Рошель. Я должен сказать ей.

— Если хотите, я сам скажу,— предложил аббат.

— Пошли скорей, я должен ее увидеть. Я хочу увидеть, какая она стала.

— Да-да, пошли скорей,— встрепенулся Петижан.

Археолог остановился.

— Я не иду с вами,— сказал он.

Анжель вернулся и встал перед Атанагором.

— Я должен попросить у вас прощения. И еще сказать спасибо.

— За что спасибо? — грустно сказал Атанагор.

— За все...— сказал Анжель.

— Все случилось по моей вине...

— Спасибо вам... Скоро увидимся.

— Возможно,— сказал археолог.

— Давайте-давайте пошевеливайтесь; счастливо, Ата! — закричал Петижан.

— Счастливо, аббат! — сказал археолог.

Он подождал, пока они дойдут до конца галереи и повернут за угол, потом побрел за ними. Анна лежал один и ждал, прижавшись к холодной скале. Анжель и Петижан скользнули мимо и поднялись по серебряной лестнице. Атанагор вернулся к колодцу, он опустился перед Анной на колени и стал на него смотреть, потом уронил голову на грудь. Он думал о старых, забытых вещах, очень нежных, почти истощивших свой аромат. Анна или Анжель — зачем нужно было выбирать?

IX

Любить умную женщину по вкусу только педерасту.
Бодлер. «Фейерверки»

Амадис зашел в комнату Анжеля. Тот сидел на кровати, а рядом желтым взрывом била в глаза одна из рубашек Жуйживьома. Дюдю часто заморгал, пытаясь притерпеться, но вынужден был отвести взгляд. Анжель молчал и едва повернул голову на звук открывшейся двери. Он не двинулся даже тогда, когда Дюдю присел на стул.

— Вы не знаете, куда делась моя секретарша? — спросил Амадис.

— Не знаю,— сказал Анжель.— Я не видел ее со вчерашнего дня.

— Она очень болезненно отреагировала на события. А у меня почта не отправлена. Могли бы и подождать с вашими похоронными известиями.

— Это Петижан ей все рассказал. Я тут ни при чем.

— Вам следует пойти к ней прямо сейчас. утешить ее, убедить, что только в работе она найдет успокоение.

— Как вы можете говорить такое? Вы прекрасно знаете, что это ложь.

— Это бесспорный факт. Работа является очень сильным отвлекающим средством, дающим человеку возможность хоть ненадолго забыть о бремени будничных забот...

— Нет ничего более будничного... Вы меня просто дурачите. Вы смеетесь надо мной.

— Смеяться я давно разучился,— сказал Амадис.— Я бы очень хотел, чтобы Рошель забрала у меня письма и чтобы приехал девятьсот семьдесят пятый.

— Пошлите такси,— посоветовал Анжель.

— Уже послал. Но я жду не дождусь, чтобы оно поскорей вернулось.

— У вас, должно быть, с головой не все в порядке.

— Добавьте к этому, что я грязный педрила.

— Да сколько же можно, в конце концов! — сказал Анжель.

— Ну так что, скажете Рошель, что у меня для нее работа?

— Сейчас не могу. Поймите, ведь Анна только вчера умер.

— Я прекрасно это знаю,— продолжал Амадис.— Умер, не дождавшись зарплаты. Я бы очень хотел, чтобы вы сходили к Рошель и сказали ей, что почта ждать не может.

— Я не смею нарушить ее одиночество.

— Смеете. Идите. Она у себя.

— Тогда почему вы спрашиваете, где она?

— Чтобы вы немножко поволновались.

— Я и так знаю, что она у себя.

— Значит, моя хитрость не удалась, вот и все.

— Хорошо, я схожу к ней. Только она не придет.

— Придет.

— Она любила Анну.

— Она бы и с вами согласилась спать. Вчера она сама мне об этом сказала.

— Вы негодяй,— сказал Анжель.

Амадис не ответил. Казалось, ему было все равно.

— Она бы согласилась спать со мной, если бы Анна был еще жив,— сказал Анжель.

— Вовсе нет. Она бы согласилась и теперь.

— Вы негодяй,— повторил Анжель.— И грязный педераст.

— Ну вот! Все же скатились к общему месту. Это значит, что вы пойдете за ней. После обобщений всегда тянет к частностям.

— Хорошо, я пошел.— Анжель встал, и пружины кровати тихонько пискнули.

— У нее кровать не скрипит,— сказал Амадис.

— Довольно...— прошептал Анжель.

— Теперь мы квиты.

— Довольно... Я не желаю больше вас терпеть. Убирайтесь отсюда.

— Ишь ты! — сказал Амадис.— Значит, сегодня вы знаете, чего хотите?

— Просто Анна умер.

— И от чего же он избавил вас своей смертью?

— От меня самого. Я проснулся.

— Нет, это вам только кажется. Вы и сами прекрасно знаете, что сейчас пойдете и покончите с собой.

— Я действительно думал об этом,— сказал Анжель.

— Только сначала приведите мне мою секретаршу.

— Я иду за ней.

— Можете даже не торопиться. Если, скажем, вы хотите ее утешить... или что другое. Только не очень ее утомляйте. У меня почты — горы непочатые.

Анжель не глядя прошел мимо Дюдю. Директор оставался сидеть на стуле, пока дверь не закрылась.

Один конец коридора обрывался теперь в пустоту. Прежде чем отправиться к Рошель, Анжель подошел к краю. Между расчлененными половинками отеля сверкал на солнце железнодорожный путь; коридор продолжался по ту сторону разреза и вел к уцелевшим еще комнатам. В прогалинках меж рельсов и шпал чистые серые камни балласта вспыхивали в ярком свете своими слюдяными чешуйками.

Дорога терялась вдали по обе стороны от фасада отеля, а нагромождения строительного материала вдоль трассы практически исчезли — Анжель не видел их с места своего наблюдения. Двое из привезших балласт шоферов заканчивали сборку вагонов и локомотива, уже поставленных на рельсы. Деликатный лепет шкива на небольшом подъемном устройстве мелодично вписывался в ровное урчание мазутного двигателя, приводившего его в движение.

Анжель вернулся; пропустив две двери, он остановился перед третьей и постучал.

Голос Рошель пригласил его войти.

Ее комната, как и все остальные, была обставлена просто и скупо. Рошель лежала на кровати. На ней было вчерашнее платье; постель была не разобрана.

— Это я...— сказал Анжель.

Рошель села и посмотрела на него. Черты ее лица заострились, глаза потухли.

— Как это случилось? — спросила она.

— Я не смог зайти к вам вчера,— сказал Анжель.— Я думал, Петижан все вам рассказал.

— Он упал в колодец,— сказала Рошель.— Вы не смогли его удержать, потому что он очень тяжелый. Я знаю, какой он тяжелый. Но как это могло с ним произойти?

— Это я во всем виноват.

— Нет. Вы недостаточно сильный, чтобы удержать его.

— Я так безумно вас любил.

— Знаю. Вы все еще любите меня, очень.

— Именно поэтому он и упал. Мне так кажется. Чтобы я мог вас любить.

— Слишком поздно,— сказала Рошель, слегка жеманясь.

— Раньше тоже было поздно.

— Тогда почему же он упал?

— Он не мог сам упасть,— сказал Анжель.— С Анной этого не могло случиться.

— Да,— сказала Рошель,— это просто несчастный случай.

— Вы совсем не спали?

— Я подумала, не следует ложиться. Ведь к смерти принято относиться с почтением.

— Но потом все же заснули...— сказал Анжель.

— Да, аббат Петижан дал мне капли.

Она протянула ему флакон. Он был полон.

— Я приняла пять капель. И очень хорошо спала.

— Вам повезло,— сказал Анжель.

— Когда люди умирают, слезами горю не поможешь,— сказала Рошель.— Знаете, мне очень тяжело.

— Мне тоже,— сказал Анжель.— Я не знаю, как мы сможем жить дальше.

— Вы считаете, это дурно?

— Не знаю,— сказал Анжель и посмотрел на флакон.— Если бы вы выпили половину этой бутылочки, вы бы уже не проснулись.

— Мне снились чудесные сны. В меня были влюблены двое, они сражались из-за меня. Это было чудесно. Это было так романтично.

— Понимаю.

— Может быть, еще не слишком поздно...— сказала Рошель.

— Вы видели во сне Анну?

— Нет!.. Не говорите мне о нем, я не хочу. Я не буду об этом думать.

— Он был красив,— сказал Анжель.

Рошель посмотрела на него с тревогой.

— Зачем вы мне все это говорите? Мне было так покойно, а вы пришли и пытаетесь меня напугать, взбудоражить. Я не люблю вас, когда вы такой. Всегда печальный. Не нужно думать о том, что случилось.

— Вы можете заставить себя не думать?

— Это может каждый. Я живая. И вы тоже живой.

— Мне стыдно оставаться в живых...— сказал Анжель.

— Скажите, вы действительно очень меня любите?

— Действительно. Очень.

— Пройдет немного времени, и я утешусь,— сказала Рошель.— Я не умею горевать долго. Но я, конечно, буду часто о нем вспоминать.

— Обо мне вы будете вспоминать реже...

— Ах, какой вы несносный. Ведь мы же с вами остались жить.— Она потянулась.

— Дюдю хочет, чтобы вы пришли за почтой,— сказал Анжель и горько засмеялся.

— Мне не хочется,— сказала Рошель.— Я вся какая-то потерянная от этих капель. Лучше я разберу постель и лягу.

Анжель встал.

— Вы можете остаться,— сказала она.— Я вас не стесняюсь. После всего, что случилось, ни к чему церемонии.— И она начала расстегивать платье.

— Я испугался, что вы превысили дозу,— сказал Анжель, все еще сжимая в руке флакон.

— Ну вот еще! Аббат Петижан предупредил меня, что больше пяти капель нельзя.

— Если вы превысите допустимую дозу, знаете, что будет? — спросил Анжель.

— Конечно, тогда заснешь очень надолго. Это опасно. Можно даже умереть. Делать этого не следует.

Анжель смотрел на нее. Она скинула с себя платье. Ее пышное, крепкое тело упруго вздымалось, но в деликатных местах было отмечено где складочками, где изломом, на первый взгляд почти неразличимыми. Чуть опавшие груди натягивали тонкую, белоснежную ткань бюстгальтера; на мясистых ляжках уже проступил замысловатый узор синих прожилок. Встретив взгляд молодого человека, Рошель с улыбкой потупилась и поспешно юркнула под простыню.

— Сядьте со мной рядом,— попросила она.

— Если каждый из нас выпьет половину бутылки...— пробормотал Анжель. Он сел около кровати и продолжал: — Это ведь тоже выход.

— Какой еще выход? Жизнь так прекрасна.

— Ведь вы любили Анну...

— Ну и что? Опять вы за свое. Разве вы не видите, что мучите меня, когда все время говорите о прошлом?

— Я уже не в силах выносить эту пустыню; здесь нам всем крышка.

Рошель опустила голову на подушку.

— Не всем.

— Всем. Сначала Жуйживьом, Пиппо, потом практикант, Анна, инспектор... и мы с вами.

— Мы с вами — нет. Мы будем жить.

— Как в романах: умереть вместе, друг подле друга...— говорил Анжель.

— Нежно обнявшись,— подхватила Рошель.— Какая прелестная картина, правда? Я тоже читала.

— И вот так, друг за другом...

— Это только в романах. В жизни так не бывает.

— И все же было бы здорово...— сказал Анжель.

Рошель задумалась, скрестив руки под головой.

— Это было бы как в кино. Вы думаете, так действительно можно умереть?

— Возможно, что и нет. А жаль,— сказал Анжель.

— Я видела в каком-то фильме,— сказала Рошель,— они умирают от любви друг возле друга. А вы могли бы умереть из любви ко мне?

— Сначала, кажется, мог бы.

— Правда могли бы? Надо же...

— С этими каплями вряд ли что-нибудь получится,— сказал Анжель, откупоривая флакон.

— Не получится? Мы всего лишь заснем?

— Вероятно.

— А что, если попробовать? — предложила Рошель.— Как было бы славно теперь заснуть. Мне бы хотелось снова увидеть тот сон.

— Существуют наркотики, от которых всегда снятся такие сны.

— Правда? Может быть, это и есть тот наркотик?

— Возможно.

— Ах, я хочу,— сказала Рошель.— Я хочу увидеть мой сон. Сама заснуть я не смогу.

Она испытующе посмотрела на Анжеля. Тот сидел свесив голову и пристально глядел на флакон.

— Давайте отопьем каждый понемногу,— сказала она.

— Это ведь тоже выход,— повторил Анжель.

— Ужасно забавно,— сказала Рошель, садясь.— Люблю такие вещи. Чуть-чуть опьянеть или принять наркотик — и ты уже сам не знаешь, что творишь.

— Я думаю, Петижан преувеличивает,— проговорил Анжель.— Если мы выпьем каждый по половине, то увидим потрясающие сны.

— Значит, вы остаетесь со мной?

— Но... ведь так не принято...

— Какой вы глупый,— засмеялась она.— Кто же сюда войдет?

— Вас ждет Дюдю.

— О,— простонала Рошель,— после всего, что я перенесла, я не буду работать. Дайте флакон.

— Осторожно,— сказал Анжель,— все пить нельзя: опасно.

— Мы разделим!..

Она взяла капли из рук Анжеля и поднесла бутылочку к губам. На мгновение замерла.

— Так вы остаетесь?

— Остаюсь...— сказал Анжель. Он был белым как мел.

Рошель отпила половину и вернула флакон.

— Ужасная гадость. Теперь вы.

Анжель держал флакон в руке и не сводил с Рошель глаз.

— Что с вами? Вам нехорошо? — спросила она.

— Я думаю об Анне...

— О, черт возьми! Опять!..

Воцарилась тишина.

— Пейте,— сказала она.— Потом ложитесь со мной рядом. Мне уже хорошо.

— Сейчас,— сказал Анжель.

— Долго ждать, пока заснешь? — спросила Рошель.

— Недолго,— ответил он совсем тихо.

— Идите сюда,— позвала Рошель.— Обнимите меня.

Он сел на кровать и просунул руку ей под спину. Женщина с трудом приподнялась.

— Я не могу шевельнуть ногами, я их не чувствую,— сказала она.— Это не больно. Приятно.

— Вы любили Анну? — спросил Анжель.

— Любила. Но я и вас люблю.— Она едва заметно пошевелилась.— Я тяжелая.

— Вовсе нет.

— Я любила Анну...— тихо сказала она,— но не так уж сильно. Какая я глупая...

— Вы не глупая,— так же тихо проговорил Анжель.

— Глупая... Вы будете пить?

— Да, сейчас выпью.

— Держите же меня...— произнесла она, выдыхая.

Она уронила голову на грудь Анжеля. Он видел сверху ее тонкие, темные волосы, уложенные в тяжелые пряди, сквозь которые просвечивала более светлая кожа. Отставив флакон, который он все еще держал в левой руке, Анжель взял ее за подбородок. Он приподнял ей голову и убрал руку. Голова безжизненно упала.

Он вытащил руку из-под Рошель и положил женщину на кровать. Глаза ее были закрыты.

Перед окном, испещряя темными пятнами залитую солнцем комнату, бесшумно размахивала оранжевыми цветами ветка гепатроля.

Анжель взял в руки темный флакон и встал у кровати. Он с ужасом смотрел на тело Рошель и чувствовал в правой руке то усилие, которое сделал, чтобы приподнять это тело. Усилие, которым столкнул Анну в пустоту.

Он не слышал, как вошел Петижан, но уступил напору пальцев, которые взяли его за плечо и увлекли прочь из комнаты.

X

Они сошли вниз по остаткам лестницы. Анжель все еще сжимал в ладони маленький темно-коричневый флакон. Петижан молча шел впереди. Пространство между двумя половинами отеля было заполнено ароматом красных цветов. Последняя ступенька упиралась теперь в рельсы, и, спустившись, они заковыляли по острым камням. Анжель пытался наступать на шпалы, более удобные для ходьбы из-за гладкой поверхности. Петижан спрыгнул с рельсов на песок пустыни, Анжель последовал за ним. Он наблюдал за тем, что происходит вокруг, всей своей головой, а не только глазами; и чувствовал, что просыпается. Оцепенение собиралось где-то внутри, готовое выплеснуться наружу, но кто-нибудь должен пробить оболочку. Петижан непременно это сделает, и тогда можно будет выпить содержимое флакона...

— Что вы намереваетесь делать? — спросил аббат.

— Вы должны мне подсказать...

— Никто, кроме вас, не может найти ответ. Когда вы найдете, я с удовольствием его одобрю — это входит в мои профессиональные обязанности. Но искать вы должны сами.

— Я не могу искать, не проснувшись. Я все еще сплю. Как Рошель.

— Стоит кому-нибудь преставиться — и вас немедленно тянет разглагольствовать.

— Это естественно, если я причастен к смерти.

— А вы считаете, вы к ней причастны?

— Разумеется,— сказал Анжель.

— Значит, убить вы можете, а проснуться нет?

— Это не одно и то же. Я убил их во сне.

— Ничего подобного,— сказал Петижан.— Вы неправильно формулируете. Они умерли для того, чтобы вы проснулись.

— Знаю,— сказал Анжель.— И все понимаю. Я должен выпить то, что осталось в пузырьке. Но сейчас я спокоен.

Петижан остановился, повернулся к Анжелю и впился глазами ему в переносицу.

— Что вы сказали?

— Что я выпью это. Я любил Анну, любил Рошель. Но они оба умерли.

Петижан поглядел на свою правую руку, несколько раз сжал и разжал кулак, потом засучил рукав и сказал:

— Берегитесь!

Анжель увидел черную массу, летящую ему прямо в лицо, пошатнулся и сел на песок. Голова зазвенела чисто и радостно, будто серебряный колокольчик. По верхней губе заструилась кровь.

— Черт возьми!..— сказал Анжель в нос.

— Так лучше? — спросил аббат.— Позвольте,— сказал он, доставая четки.— Сколько искр вы увидели?

— Триста десять.

— Хорошо, положим... четыре.— И с виртуозной быстротой, всегда демонстрируемой им в подобных ситуациях, он отсчитал на четках четыре костяшки.

— Где моя бутылка? — вдруг спросил Анжель.

Коричневый флакон валялся на песке, и под горлышком растекалось влажное пятно. Песок в том месте, где пролилась жидкость, почернел; над ним вилась ехидная струйка дыма.

Анжель свесил голову над расставленными коленями и кропил песок темными каплями крови.

— Спокойно! — сказал аббат.— Вам мало? Хотите еще?

— Какая разница? Умереть можно и другим способом.

— Совершенно верно. Схлопотать по морде — тоже. Я вас предупредил.

— Вы же не станете ходить за мной по пятам.

— Безусловно. В этом не будет надобности.

— Рошель...— тихо проговорил Анжель.

— Ну и видок у вас: шепчете женское имя, а у самого кровища из носа так и хлещет. Нет больше Рошель, и хватит об этом. Зачем, по-вашему, я ей флакон этот подсунул?

— Не знаю,— сказал Анжель.— Я что же, тут ни при чем? Опять ни при чем?

— Вам что-то не нравится? — спросил аббат.

Анжель попытался задуматься. Мысли в голове мелькали не слишком быстро, но так толпились и толкались, что узнать их было практически невозможно.

— Почему вы не выпили сразу? — спросил аббат.

— Я опять начну...

— Ну что ж, валяйте. Вот вам другой флакон,— и Петижан, пошарив в кармане, извлек на свет темно-коричневую бутылочку под стать первой.

Анжель протянул руку, взял бутыль, вынул пробку и несколько капель пролил на песок. На дюне остался темный след; желтая струйка дыма закрутила в неподвижном воздухе ленивый завиток.

Отбросив пробку, Анжель зажал бутылку в руке. Он утер рукавом нос и с отвращением посмотрел на кровавый след. Из носа течь перестало.

— Высморкайтесь,— сказал Петижан.

— У меня нет платка.

— Пожалуй, что вы правы,— сказал аббат.— Вы мало на что способны, а в придачу еще ничего не видите.

— Я вижу этот песок,— сказал Анжель.— Вижу железную дорогу... Балласт... Отель, перерезанный пополам. Я вижу никому не нужную, бесполезную работу.

— Можно и так повернуть. По крайней мере, хоть что-то.

— Еще я вижу... Не знаю даже... Анну и Рошель... Вы мне сейчас опять нос расквасите.

— Не расквашу,— пообещал Петижан.— Еще что видите?

Лицо Анжеля как будто слегка просветлело.

— Там было море... Когда мы сюда ехали. И дети на палубе. И птицы.

— А если будет только это солнце? — спросил аббат.— Вам будет достаточно?

— Это тоже неплохо,— медленно проговорил Анжель.— Тут есть отшельник. И негритянка есть...

— И подружка Атанагора...

— Дайте подумать...— сказал Анжель.— Еще так много всего надо увидеть.— Он посмотрел на флакон.— Но Анну и Рошель я тоже вижу,— пробормотал он удрученно.

— Люди видят то, что хотят видеть,— сказал аббат.— И вот еще: видеть, конечно, хорошо; только этого мало.

— Наверно, можно делать что-нибудь...— сказал Анжель.— Например, помогать людям...— Он усмехнулся.— Только сразу арестуют. Понимаете, ведь убить Анну и Рошель тоже можно...

— Очевидно,— согласился Петижан.

— И строить никому не нужную железную дорогу...

— Разумеется.

— И что же тогда?

— Тогда, выходит, вы ничего больше не видите? — Петижан сел рядом на песок.— В таком случае пейте. Если вашего воображения ни на что больше не хватает.

Они оба замолчали. Анжель напряженно думал; лицо его осунулось.

— Я в затруднении,— сказал он наконец.— Я знаю, что́ нужно увидеть, что́ почувствовать, но я не знаю пока, что́ надо делать. И я не могу забыть то, что я уже сделал.

— Вы мне осточертели,— сказал аббат.— Не тяните резину. Пейте.

Анжель выпустил из рук пузырек. Петижан и пальцем не шевельнул, чтобы его поднять; флакон быстро опустел. Анжель сидел сжавшийся, напряженный. Потом вдруг мышцы его расслабились, руки бессильно повисли. Он поднял голову и потянул носом воздух.

— Не знаю,— повторил он.— Для начала все же надо увидеть. Кто ничего не хочет, далеко видит.

— А вы уверены, что видите? — спросил Петижан.

— Я столько всего вижу. Мне столько всего еще нужно увидеть...

— Кто многое видел, знает, что́ делать,— заметил аббат.

— Знает, что́ делать...— повторил Анжель.

— Чего уж проще,— сказал аббат.

Анжель не ответил. Он раскручивал в голове какую-то мысль.

— Профессор Жуйживьом ушел в черную зону,— сказал он.

— Это приблизительно то же, как если бы вы выпили. Видите, и это можно сделать.

— А так лучше? — спросил Анжель.

— По-моему, это серьезный промах,— сказал аббат.— Впрочем, сойдет для примера. Иллюстрации промахов тоже нужны.

Петижан собрался с мыслями.

— Не хотите ли прочесть молитву? — предложил он.— Ехали татары...

— Кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез...

— Кто первым засмеется, тот ее и съест. Аминь,— заключил аббат.

— Это для Дюдю надо спеть,— сказал Анжель.

— Сын мой, вы, оказывается, насмешник и злопыхатель.

Они встали. Прямо перед ними на рельсах разлегся почти готовый поезд. Водители грузовиков лупили здоровенными молотами по железному корпусу топки, и черная сталь гулко гудела на солнце.

XI

Мне кажется странным, что такому серьезному мальчику, как Борис, могла в 1889 году прийти в голову дикая мысль переписывать всякий вздор.

Ш. Шассе. «Истоки «Короля Убю». Изд. Флури, стр. 44

Поезд состоял из двух вагонов. Директор Дюдю созвал на перрон весь персонал. На временной платформе, спешно сооруженной Мареном и Карло, толпились люди. Карло и Марен тоже были там, каждый во главе собственного семейства; а еще эта сволочь Арлан, три водителя грузовиков (из коих один уже кидал в топку уголь), сам Дюдю и Дюпон, чернокожий прислужник Атанагора. Дюпон получил особое приглашение и страшно волновался, потому что для него было зарезервировано отдельное купе, в котором ему предстояло остаться с Амади-

сом наедине. Раздался громкий свисток, и публика ринулась на штурм вагонных ступенек.

Анжель и Петижан взирали на происходящее с вершины холма. Атанагор со своими помощниками не пожелал оторваться от раскопок, а отшельник должен был трудиться над негритянкой.

Директор Дюдю показался в окне отдельного купе и трижды махнул рукой, давая сигнал к отправлению. Вскрикнули тормоза, пыхнул пар, и, радостно поскрипывая, состав тронулся с места. В окнах замелькали носовые платки.

— Вам тоже следовало бы там быть,— сказал Петижан.

— Я больше не числюсь в Обществе,— ответил Анжель.— Мне противно смотреть на этот поезд.

— Согласен: абсолютно бесполезная вещь.

Они наблюдали за тем, как локомотив протиснулся меж двух половинок разрушенного отеля. Солнце искрилось на лакированных вагонных крышах, а гепатроли пунцово вспыхивали на изуродованном фасаде.

— Почему колеса так гулко стучат по рельсам? — спросил Петижан.— Точно там внизу пустота.

— Это обычный резонанс, создаваемый балластом,— объяснил Анжель.

Поезд скрылся из виду, только дым взлетал в воздух белыми ватными клочьями.

— Он вернется,— сказал Анжель.

— Так я и предполагал,— ответил аббат.

Они ждали молча, сосредоточенно прислушиваясь к затихающему вдалеке учащенному дыханию паровоза. Через некоторое время шум вновь стал нарастать.

В тот момент, когда поезд, пятясь, въезжал в отель, что-то глухо загудело. Состав дрогнул, рельсы просели. Мгновение — и паровоз исчез в провале. Гигантская трещина прошла по всей длине пути, раздвинулась, засасывая вагоны. Тяжело бухались глыбы, крошились камни, дорога медленно тонула, как тропа, заливаемая приливом. Песчаные насыпи сползали косыми складками, зыбились волнами, рожденными в глубине, спешащими добежать до вершины, пока маленькие желтые песчинки катятся вниз по склону.

Аббат в ужасе схватил Анжеля за руку. На их глазах гигантская, только что разверзшаяся впадина начала исчезать, засыпаемая неумолимым песком. Последний толчок встряхнул гостиницу; в воздух беззвучно взлетели облака дыма и пара; песчаный дождь обрушился на строение и вмиг поглотил его. Солнце скрылось за пыльной пеленой, и острые зеленые травы чуть всколыхнулись от движения воздуха.

— Так я и знал,— сказал Анжель.— Ведь я догадывался об этом еще на днях... и совсем забыл.

— Они построили дорогу прямо над ямой,— сказал Петижан.

— Прямо над раскопками,— уточнил Анжель.— Все правильно... В двух измерениях от дуги меридиана... и Рошель тоже умерла... а я совсем забыл про это.

— Мы бессильны им помочь,— сказал Петижан.— Будем надеяться, что Атанагор сумел спастись...

— Это я во всем виноват,— сказал Анжель.

— Перестаньте навешивать на себя ответственность за все на свете,— сказал Петижан.— Вы за себя-то отвечаете лишь отчасти, с вас и того довольно. Они виноваты не меньше вашего. И Амадис виноват, и археолог. И Анна тоже. Пошли поглядим, остался ли кто в живых.

Анжель побрел за Петижаном. Глаза его были сухи. Силы, похоже, возвращались к нему.

— Пойдем...— проговорил он.— Пойдем до конца.

XII

Анжель ждал девятьсот семьдесят пятого автобуса. Он сидел на земле, прислонясь к столбу с табличкой. Спиной к нему, в той же позе, сидел аббат Петижан. Они беседовали, не глядя друг на друга. При себе Анжель имел чемодан и внушительных размеров пакет с письмами и отчетами, найденными на столе Дюдю.

— Жаль, что археолог не пришел меня проводить,— сказал Анжель.

— У него работы по горло. Вся техника загублена. Счастье еще, что ни он, ни его рабочие не пострадали.

— Да, я знаю. Приехал бы, что ли, автобус!..

— Последнее время его не видать,— сказал Петижан.

— Рано или поздно приедет,— сказал Анжель.— У водителя, наверно, отпуск был.

— Да, сейчас время отпусков...— сказал аббат.

Анжель покашлял, прочищая горло. Он был взволнован.

— Я вас больше не увижу,— сказал он.— Хотелось вас поблагодарить.

— Пустяки,— сказал аббат.— Вы еще вернетесь.

— Можно задать вам один вопрос?

— Задавайте... Я знаю, о чем вы спросите.

— Вам и положено знать. Скажите, почему вы носите сутану?

Аббат тихонько засмеялся.

— Я ждал этого вопроса... Ну что ж, скажу вам. Это такой современный метод.

— Метод чего?

— Метод внедрения и подрыва...— объяснил аббат.

— А, понятно...— сказал Анжель.

Они услышали шум мотора.

— Едет,— сказал Петижан и встал.

Анжель тоже поднялся.

— До свидания... До скорого,— сказал аббат.

— До свидания,— сказал Анжель.

Аббат пожал ему руку и, не оглядываясь, двинулся прочь. Он высоко подпрыгивал при каждом шаге, чтобы придать подолу сутаны форму колокола. Фигура его казалась совсем черной на ярком песке.

Дрожащим пальцем Анжель потрогал ворот желтой рубашки и поднял руку. Девятьсот семьдесят пятый встал перед ним как вкопанный. Кондуктор крутил ручку механической балалайки, и она выдавала красивую мелодию.

В автобусе сидел только один пассажир. Он держал в руках аккуратный портфельчик, помеченный инициалами А. П.: Антенна Перно. Одет он был как в присутствие. Легко и непринужденно он промчался по салону и спрыгнул на землю. Там он нос к носу столкнулся с водителем, который вылез из своей кабины и пришел посмотреть, что происходит. На глазу у него чернела повязка.

— Ни хрена себе! — сказал шофер.— Один слез, а другой уж садится! А шины? Не-е, я с перегрузкой не поеду! Не имею права.

Человек с портфелем посмотрел на него в замешательстве. Воспользовавшись тем, что водитель принялся вставлять себе глаз (что он проделывал с помощью ерша для трубки), пассажир бросился наутек.

Водитель постучал пальцем по лбу.

— Я начинаю привыкать. Это уж второй,— сказал он и вернулся в кабину.

Контролер помог Анжелю сесть в автобус.

— Давайте, давайте,— приговаривал он.— Не толкаться! Покупаем билетики!

Очутившись внутри, Анжель поставил чемодан на площадке.

— Весь багаж в салон, пожалуйста! — провозгласил кондуктор.— Не загораживайте проход!

Он несколько раз повис на ручке и закричал:

— Все места заняты!

Мотор хрюкнул. Автобус тронулся. Анжель затолкал чемодан под сиденье и вернулся на заднюю площадку.

Над песком и травами горело солнце. Кое-где из земли торчал scrub spinifex. На горизонте смутно и неподвижно чернела мертвая полоса.

Кондуктор подошел к нему.

— До конечной,— сказал Анжель.

— Вы попали пальцем в небо!..— ответил кондуктор, поднимая указательный палец.

Пассаж

Через некоторое время состоялось заседание Правления. По настоянию президента Урсуса де Жан-Полена, зачитавшего письмо от Антенны Перно, Правление приняло решение отправить в пустыню отряд специалистов и технических исполнителей, дабы установить, возможно ли построить в Эксопотамии нормальную железную дорогу в стороне от предыдущей — так, чтобы не повторилось скандальное недоразумение, положившее конец начатым работам. Члены Правления выразили удовлетворение полнотой информации, полученной стараниями прискорбно закончившего свои дни Амадиса Дюдю, и высказали надежду, что эта информация будет надлежащим образом использована новым директором Антенной Перно, что позволит значительно сократить его жалованье. Новая экспедиция должна иметь в своем составе: секретаршу, двух инженеров, двух технических исполнителей, одного старшего мастера, одного врача с ассистентом и трех водителей с грузовиками. Необходимо также иметь в виду, что в силу особенностей эксопотамского солнца и в связи со своеобразной структурой почвы в пустыне могут случаться необыкновенные явления; нельзя забывать и о том, что в Эксопотамии уже находятся археолог со своими помощниками, отшельник со своей негритянкой, а также аббат Петижан, в чьи обязанности входит контролировать изрядное количество отшельников. Техническим исполнителям надлежит отбыть по месту назначения в сопровождении семей. Трудность предприятия состоит в том, что, несмотря на накопленный опыт, никак нельзя предсказать, а тем более представить себе, чем все это может закончиться. А уж любые попытки описать это заранее обречены на провал. Ибо из всего сказанного можно сделать какой угодно вывод.

■

Б. ХЛЕБНИКОВ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Заметки о Франкфуртской книжной ярмарке

Франкфуртская книжная ярмарка, похоже, все больше перерастает собственное название. Недаром пишущим о ней хочется окрестить ее как-нибудь по-новому, чтобы в самом наименовании выразить суть и масштаб этого уникального события.

Франкфурт-на-Майне первым из немецких городов получил привилегию на проведение торговой ярмарки На протяжении двух веков сюда привозили самые разные товары. Но с наступлением эры Гутенберга книге понадобилось всего несколько десятилетий, чтобы вытеснить все остальное. Франкфуртская ярмарка стала книжной.

В ту пору существовали и другие крупные книжные ярмарки, например, Лионская или Амстердамская, однако Франкфурт занял среди них особое место. Недаром выдающийся издатель, знаток античности и полиглот Анри Этьенн (1531—1598) назвал Франкфуртскую ярмарку Академией. Подобно античным рощам Академа, где собирались философы платоновской школы, выходящая к Майну Книжная улица представлялась Этьенну прежде всего местом духовной встречи прошлого с настоящим и местом личного общения тех людей — литераторов, ученых, издателей,— которые продолжали вершить мировую культуру.

Еще недавно Франкфуртскую ярмарку пытались окрестить «ярмаркой лицензий», поскольку на ней действительно торгуют прежде всего правами на издание того или иного произведения, на его перевод, экранизацию и т. д. Три четверти всех мировых лицензионных сделок приурочены к началу октября и подписываются во Франкфурте.

Говорят еще и о «ярмарке ярмарок». В этом тоже что-то есть. Ведь ежегодно проводится множество международных книжных ярмарок, некоторые из них ставили себе амбициозную цель потягаться с Франкфуртской. Ничего не вышло. Франкфурт до сих пор собирает, например, гораздо больше американских издателей, чем любая ярмарка в США. Кроме того, Франкфуртская ярмарка постоянно расширяет свой диапазон. Скажем, она сделалась второй по значимости всемирной выставкой «электронной книги».

На Франкфуртскую ярмарку съезжается свыше восьми тысяч журналистов. Она принадлежит к числу наиболее широко комментируемых событий, из тех, что повторяются в мире ежегодно. Ей посвящаются целые спецвыпуски многих газет и журналов. Один из немецких телевизионных каналов провел восьмичасовой репортаж с последней ярмарки в живом эфире.

ОТ КОБЕРГЕРА ДО ЭЛЬЗЕВИРОВ

История печатной книги есть в значительной мере история европейского, а затем и мирового книжного рынка. Типографское оборудование, материалы, труд мастеров книжного дела, оплата работы автора или переводчика требовали значительных затрат, вернуть которые — да еще желательно с прибылью — можно было, лишь решив проблему кредита и сбыта.

Грамотная Европа конца XV — начала XVI века была еще весьма немногочисленна, поэтому печатной книге, которая порой была отнюдь не дешевле, а гораздо дороже рукописной, понадобился сразу же весь европейский рынок, то есть не только розничный сбыт через книжные лавки при местной типографии или через книгонош, даже не только мелкооптовый сбыт на локальных или региональных базарах и ярмарках, но единый центр крупнооптового книжного оборота, каким и стала Франкфуртская книжная ярмарка.

Не сложись к началу XV века новые кредитно-денежные механизмы, новые типы банков, новая система европейской и мировой торговли, не получило бы столь широкого и стремительного распространения само книгопечатание, не испытывала бы столь мощного импульса литература буквально всех жанров и видов, научная, художественная и религиозная, элитарная и массовая.

Пожалуй, совсем не случайно, что современниками и соотечественниками оказались такие выдающиеся личности, как, с одной стороны, отпрыск легендарного семейства Фуггеров Якоб II Богатый (1459—1525), основатель самого мощного банка в Европе, а с другой — Антон Кобергер (1445—1513), самый крупный для своего времени европейский издатель.

Типографское и издательское дело, оптовая книжная торговля строились на предпринимательско-экономических приемах, которые до тех пор были неведомы. Одни из них были неспецифичны и параллельно, с некоторым отставанием или опережением, использовались в различных отраслях экономики, а другие отличались существенным своеобразием, ибо предметом их служила книга, товар особый, имеющий наряду с материальным еще и культурное, духовное, эстетическое измерение.

Антон Кобергер, крестный отец еще одного знаменитого нюрнбержца — Альбрехта Дюрера, был владельцем огромного книгоиздательского и книготоргового, как мы бы теперь сказали, концерна. Только в Нюрнберге ему принадлежали 24 печатных станка. Здесь на него работали более сотни резчиков и словолитчиков, метранпажей и наборщиков, корректоров и печатников, иллюминаторов и граверов, брошюровщиков и переплетчиков. Но Кобергер не ограничивался своим нюрнбергским производственным потенциалом. Он открыл вполне современные приемы предпринимательской деятельности — например, размещал заказы в иных городах, служивших крупными центрами книгоиздания, благодаря чему видные мастера книжного дела работали на него, а не на конкурентов. Сохраняя в тайне собственные издательские планы, Кобергер внимательно следил за деятельностью соперников, порой нейтрализовал их, предлагая долевое участие. В иных случаях он сговаривался с другими издателями, чтобы совместными усилиями противодействовать незаконным («пиратским») перепечаткам. Если сговориться не удавалось, в ход шли, например, демпинговые цены. Главным для Кобергера был монопольный контроль над все более расширяющимися регионами. Так, он закупал оптом недорогие книги знаменитого венецианского издателя Альфуса Магнуса, благодаря чему розничное приобретение этих книг во многих частях Германии было возможно только через торговые лавки Кобергера.

Вообще же более 50 торговых агентов Кобергера создали густую сеть, которая растянулась от Балтики до Адриатики, от Парижа до Кракова. Собственные филиалы Кобергера действовали в таких важнейших торговых центрах, как Лион, Тулуза и Венеция, не говоря уж о Франкфурте-на-Майне, где постоянное представительство работало круглый год, а не только на период ярмарок.

Подобная олигополия европейского книжного дела обуславливалась прежде всего тем, что абсолютно подавляющее большинство книг выпускалось на общепонятной для всей ученой Европы латыни. Доля инкунабул на итальянском языке составляла всего 7%, на немецком — 6%, на французском — менее 5%.

Как тут было не появиться одному, и главному, центру, символизирующему собою реальное единство европейского, а затем мирового книжного рынка? Таким центром стала Франкфуртская книжная ярмарка. Ее история довольно хорошо известна, поэтому есть смысл остановиться только на переломных моментах.

Уже в начале XVI века книжное дело пережило острый кризис. Он был вызван не войной, не социальными катаклизмами, не общим экономическим спадом. Нет, причины кризиса носили, так сказать, сугубо внутриотраслевой характер. Дело в том, что книгоиздание развивалось слишком стремительными темпами. Буквально за считанные десятилетия творческое наследие классиков древности и средневековья оказалось исчерпанным, покупательский спрос на их издания удовлетворен. Книжный рынок был затоварен.

Первый кризис перепроизводства удалось преодолеть сравнительно быстро. Произошло это за счет обращения к литературе на национальных языках, что сразу резко расширило и обновило репертуар изданий, заметно увеличило круг читателей и покупателей. Национальный рынок начал приобретать все большее значение. Он вступил в динамичное равновесие с мировым.

Крупнейшими издателями были Эльзевиры, прославленная издательская династия, основоположником которой был Лодевейк Эльзевир (ок. 1540—1617). Его дело продолжили сыновья и внуки. Эльзевиры выпускали поначалу в основном научную литературу, сочинения римских классиков, но затем около половины изданий стало выходить на французском языке, а кроме того, публиковались книги на голландском, немецком и итальянском языках. Все большее внимание Эльзевиры уделяли художественной литературе (Мольер, Корнель, Рабле, Боккаччо и др.), описанию путешествий, учебникам, произведениям современных ученых и философов (Галилей, Паскаль, Гоббс, Локк).

Основные предприятия Эльзевиров работали в Лейдене, Гааге, Утрехте и Амстердаме, но действовали также торговые представительства в Париже и Копенгагене, Кёльне и Риме, в Лондоне и других европейских центрах, а главное, конечно, во Франкфурте-на-Майне и Лейпциге, где проходили крупнейшие книжные ярмарки.

1616 год ознаменовался тем, что Франкфуртская и Лейпцигская ярмарки впервые сравнялись по количеству выставленных изданий. На какое-то время между ними установилось определенное равновесие, основывающееся на своеобразной специализации. Франкфурт оставался центром международной книжной торговли, Лейпциг собирал преимущественно немецких издателей и книготорговцев. Франкфуртская ярмарка теряла свое былое влияние пропорционально тому значению, которое набирали национальные ярмарки и рынки.

Мощный импульс развитию национальных рынков печатных изданий дала газетная и журнальная периодика. А по мере того как газеты и журналы осваивали одну из специфических, не свойственных книге функций — функцию рекламоносителей, коренным образом менялась экономическая структура рынка печатных изданий, его капиталоемкость, широта охвата различных групп населения. С одной стороны, стали формироваться крупные газетно-журнально-книжные фирмы, выпускающие массовую продукцию, с другой — появились новые возможности для средних и небольших издательств, специализирующихся на том или ином виде деятельности, но в целом дающих необычайно широкий ассортимент печатной продукции.

Франкфуртская книжная ярмарка прекратила свое существование уже в 1750 году. Она осталась реликтом мирового (европейского) книжного рынка XV—XVI веков и потому рядом с Лейпцигом сделалась ненужным анахронизмом задолго до того, как мировой книжный рынок после еще целого ряда революционных перемен приобрел нынешние формы.

МИРОВОЙ КНИЖНЫЙ РЫНОК СЕГОДНЯ

По подсчетам лондонского института маркетинговых исследований «Euromonitor», оборот мирового книжного рынка за 1993 год оценивался примерно в 70 миллиардов долларов. Из них почти 60% приходилось всего на три страны: США (22,5 млрд.), Японию (9,1 млрд.) и Германию (8,3 млрд.).

Остальные страны первой «десятки» — Великобритания, Франция, Испания, Италия, Южная Корея, Канада и Китай — имели совокупный оборот (18,1 млрд.), существенно уступающий американскому. Общая же доля всех прочих стран мира не превышает 12 млрд. долларов.

По прогнозам лондонского института, в ближайшие пять лет общий оборот мирового книжного рынка будет постоянно расти и достигнет примерно 79 миллиардов долларов (в пересчете на цены 1993 года). Но в современных условиях мировой книжный рынок не является чем-то обособленным, совершенно самостоятельным. Он служит лишь своего рода фрагментом единого, взаимосвязанного мультимедиального рынка, главными агентами которого становятся гигантские корпорации, занимающиеся одновременно газетным и журнальным делом, книгоизданием и книгораспространением, производством кинофильмов и их прокатом, выпуском аудио-видеопродукции, финансированием радио- и телевизионных станций, созданием сетей кабельного телевидения, развитием новейших средств компьютерной техники и электронных коммуникаций.

Процесс создания подобных корпораций, начавшийся еще в прошлом веке, получил название горизонтальной, вертикальной и диагональной концентрации. Под горизонтальной концентрацией подразумевается, например, деятельность какого-либо крупного издательства, направленная на то, чтобы упрочить свое положение за счет расширения сферы своего контроля в том или ином географическом регионе или в определенном тематическом, репертуарном сегменте рынка. Для этого приобретаются другие издательские фирмы, создаются группы издательств под единым финансовым контролем и т. п. О вертикальной концентрации говорят в тех случаях, когда, допустим, газетно-журнальный концерн стремится взять под свой контроль основные элементы производственно-технического цикла или весь этот цикл, для чего обзаводится собственной бумажной фабрикой, типографским комплексом, редакционно-издательским аппаратом и, наконец, собственной системой распространения. Диагональная концентрация подразумевает выход в смежные сферы, то есть объединение под одним финансовым контролем, скажем, печатных изданий, радио и телевидения. Целью такой концентрации служит ожидаемый «синергетический эффект», который позволяет значительно уменьшить риск при сверхкрупных инвестициях и обеспечить высокую прибыль. Мультимедиальный концерн может рискнуть выплатой миллионов долларов автору супербестселлера в расчете на то, что весь комплекс реализационных возможностей будет «раскручен» самим же концерном — от выпуска книги в собственном издательстве до ее рекламы в собственных газетах и журналах, от производства фильма по этой книге в собственной студии до его проката в сети собственных кинотеатров.

Диагональная концентрация приобрела невиданный ранее размах в конце 80-х годов. Поскольку национальные рынки стали для мультимедиальных концернов тесны или их внутренняя экспансия оказалась ограниченной национальным антимонопольным законодательством, то деятельность этих концернов начала приобретать все более транснациональный, глобальный характер.

Первая десятка транснациональных мультимедиальных компаний уже в 1993 г. значительно превысила по своему совокупному финансовому обороту совокупный оборот всего мирового книжного рынка. Таковы масштабы их деятельности.

МУЛЬТИМЕДИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ «БЕРТЕЛЬСМАН АО»

В 1993 году совокупный доход от продажи немецких книг достиг 14 миллиардов марок, а оборот одного лишь мультимедиального концерна «Бертельсман» превысил 18,4 миллиарда марок. Напомним, что «Бертельсман» занимается помимо книгоиздания еще и многими другими видами деятельности, причем не только в Германии, но и далеко за ее пределами, однако соотношение между финансовым потенциалом целой отрасли и одного-единственного акционерного общества выглядит от этого не менее впечатляюще.

Концерн ведет свое начало от маленькой типографии, которую Карл Бертельсман (1791—1850) открыл в 1824 году в провинциальном городке Гютерсло. Спустя одиннадцать лет Карл Бертельсман обзавелся собственным издательством, выпускающим теологическую литературу, школьные учебники и детские книги. Местный пастор, довольно известный деятель обновленческого движения в рамках протестантской церкви, составил сборничек духовных стихов и песен. Карл Бертельсман выпустил этот сборничек, оказавшийся столь популярным, что понадобилось множество переизданий, а общий тираж его превысил два миллиона экземпляров. Так скопился начальный капитал.

По-настоящему новый этап начался с 1950 года, когда фирма значительно расширила свою полиграфическую базу, а главное, занялась совершенно новым для себя видом деятельности — созданием книжных клубов.

Член такого клуба обязуется не реже одного раза в квартал покупать книги из ежеквартально рассылаемого каталога, насчитывающего несколько сот позиций. Если выбор не будет сделан, член клуба оплачивает и получает книгу, идущую в рекомендательном списке под первым номером. Книжный клуб закупает лицензии на выпуск литературы у ведущих издательств, руководствуясь списками бестселлеров и собственными маркетинговыми исследованиями. Поскольку речь идет о составлении вполне солидных домашних библиотек, программа клуба разрабатывается с должной серьезностью, с учетом широких и разнообразных вкусов. Книги выпускаются в добротном оформлении. Мас-

совость тиража позволяет удешевить издание и снизить клубную цену на 30—40% против обычной. Есть у членов клуба и другие стимулы, например, дальнейшие ценовые скидки, зависящие от членского «стажа», или премии за привлечение в клуб новых членов.

Сейчас в 17 странах мира насчитывается 35 книжных клубов Бертельсмана, в которых состоят более 20 миллионов членов. Причем концерн далек от того, чтобы осуществлять экспансию лишь в «слаборазвитые» страны. Вообще 70% его оборота приходилось до сих пор на Западную Европу (Австрия, Швейцария, Англия, Испания, Голландия, Франция и т. д.), а также на США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Странами Восточной Европы и Китаем Бертельсман заинтересовался только после того, как ситуация там стабилизировалась, начался экономический подъем. В Венгрии и Чехии такие клубы уже успешно действуют, сейчас организуется книжный клуб в Польше. До конца 1994 года там ожидается 200 тысяч членов, а через три года уже около миллиона человек.

В Китае для работы первого клуба избран Шанхай, причем опять-таки не случайно. Сейчас в Китае ежегодно продается около 6 миллиардов книг. На провинцию Шанхай приходится непропорционально высокая доля, здесь продается каждая десятая книга и рынок развивается самыми стремительными темпами.

Книжные клубы обеспечивают Бертельсману собственную систему распространения, в которую входит и ряд других аналогичных структур. Это одно из главных направлений работы концерна. Однако и издательская деятельность занимает не менее важное место. Наряду с издательством «C. Bertelsmann» концерн объединяет еще около 30 немецких издательств, среди которых есть такие известные фирмы, как «Goldmann», «Knaus» или «Siedler». В США концерну принадлежат крупнейшие издательства «Bantam», «Doubleday» и «Dell», которым под силу в значительной мере определять конъюнктуру американского книжного рынка. Применительно к испаноязычному книжному рынку то же самое можно сказать об издательстве «Plaza y Janes». Всего же книги приносят около 40% от общей прибыли концерна, который является крупнейшим издателем мира.

Больше четверти доходов приносит концерну газетно-журнальный комплекс, охватывающий такие журналы, как «Stern», «GEO», «Capital», «Brigitte», «Eltern», целый ряд региональных газет, немалое количество специальной и профессиональной периодики (особенно интересной тем, что членство в том или ином профессиональном объединении нередко связано с подпиской на определенное издание; например, медики выписывают «Ärtzte-Zeitung»); всего концерну принадлежит более 40 газет и журналов.

Но и это еще далеко не все. До недавнего времени Бертельсман, располагая шестью крупнейшими фирмами, выпускающими грампластинки, компакт-диски и т. п., входил во вторую пятерку лидеров на мировом музыкальном рынке. Однако руководство концерна, не удовлетворенное этим обстоятельством, поставило себе целью занять более высокое место, не ниже второго.

Начиная с 1984 года, когда в ФРГ стали выдаваться лицензии частным телевизионным и радиокомпаниям, Бертельсман открыл для себя новое поприще. Теперь концерн является акционером или совладельцем четырех телевизионных каналов (RTL, RTL 2, Premiere, Vox), ряда радиостанций, а также информационного агентства, которое обслуживает радио и TV.

Несколько специализированных фирм концерна начали свою работу в области новейшей электроники, но расширяются и традиционные сферы деятельности. Так к прежнему полиграфическому комплексу (Belser, Mohndrück и т. п.) добавились полиграфические комбинаты бывшей ГДР, продолжает функционировать крупная бумажная фабрика в Италии, действуют фирмы, обеспечивающие распространение периодических печатных изданий и т. д.

Раймар Унтерленер, один из высших руководителей тех структур Бертельсмана, которые отвечают за работу с общественностью, говоря о стратегии концерна, считает необходимым различать две сферы деятельности. С одной стороны, существует массовая культура и ее специфические продукты, которые сродни кока-коле и потому пригодны для глобального сбыта. С другой стороны, существуют национальные культуры, тем более субкультуры, «продукт» которых отличается высокой степенью самобытности, индивидуальности. Музыкальная и киноиндустрия требуют колоссальных производственных затрат, которые могут быть оправданы только глобализацией сбыта. А вот, например, большинство изданий, особенно книги, по самой природе своей не приспособлены для глобального сбыта. Если отвлечься от сравнительно немногочисленных мировых супербестселлеров, то и книги, и газеты, и журналы (впрочем, это относится также к ряду музыкальных жанров) ориентированы преимущественно на определенную языковую среду, на определенный культурный или национальный регион, даже на определенные группы населения, и надо учитывать особенности такого рынка.

Что же до супербестселлеров, то здесь даже при авансах за еще не написанные романы счет идет на десятки миллионов долларов. Тем не менее конкурентная борьба за них обостряется, гонорары растут. Издателю, который приобретает соответствующие права, необходимо обеспечить их безубыточное использование, то есть глобальную и мультимедиальную реализацию.

По мнению Раймара Унтерленера, существуют рыночно-медиальные сферы, где возникновение олигопольных структур неизбежно. Однако, например, немецкий книжный рынок с его тысячами издательств, почти семью десятками тысяч новых книг ежегодно, разнообразнейшим спектром газет и журналов служит красноречивым доказательством возможности сосуществования различных издательств, крупных, средних и совсем маленьких. Исходя из этого, концерн «Бертельсман», с одной стороны, стремится к широкой децентрализации собственных подразделений, обеспечивающей им независимость и самостоятельность, а, с другой стороны, через специально созданный Фонд Бертельсмана осуществляет множество программ, которые опосредованно или прямо работают на сохранение и развитие многообразия культуры.

Размышляя о перспективах медиального

рынка, Раймар Унтерленер уверенно предсказывает не только его дальнейший рост, но и усиление конкуренции, а главное — дальнейшее дробление как мирового, так и национальных рынков на все более мелкие сегменты и фрагменты. Произойдет значительный структурный сдвиг от массовой коммуникации к коммуникации избирательной, что особенно коснется газетно-журнального дела, а также многих видов книгоиздания.

ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ ИМЕННО ФРАНКФУРТ?

Книжное дело переживало в послевоенной Германии трудное, но бурное и по-своему счастливое время. Выпуск книг был сравнительно невелик. Недоставало полиграфических мощностей, бумаги, материалов. Зато люди буквально накидывались на каждое новое издание, особенно на те книги, которые прежде были под запретом. Книга была товаром дефицитным, издатели и книготорговцы порой охотно придерживали у себя готовые тиражи или оптовые партии, чтобы позднее продать свои запасы подороже. Но произошла денежная реформа, появились настоящие деньги, а главное - товары, и все в одночасье переменилось. Люди перестали покупать книги. Разразился кризис, похожий на тот, который пережила недавно российская книжная отрасль.

В Западной Германии существовали на эту пору несколько издательских и книготорговых центров, например, Штутгарт или Мюнхен. Последний тогда был мощнее Франкфурта-на-Майне по количеству издательств и книжных магазинов. Франкфурт и сейчас не лидирует по этим показателям среди немецких городов, уступая особенно Мюнхену с его 312 издательствами (по одному на каждые четыре тысячи мюнхенцев) против 132 франкфуртских.

Однако именно франкфуртским издателям и книготорговцам, благодаря их настойчивости и удивительной прозорливости, удалось сделать Франкфурт местом проведения книжных ярмарок. Первая состоялась в сентябре 1949 года. Собственного помещения у ярмарки еще не было, да и вообще город еще не отстроился после бомбежек, поэтому стенды расположились в церкви Св. Павла. Участвовали 205 издательств, ярмарку посетили 14 тысяч человек. По нынешним временам этими цифрами не похвастаешь, но тогда они свидетельствовали об успехе нового начинания.

На следующий год во Франкфурте собрались уже 460 издательств, впервые сюда прибыли участники из Франции, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Швейцарии и США. Ярмарка стала международной. Почему же все-таки именно Франкфурт? Вероятно, все дело в людях, умеющих понять смысл исторических традиций и разглядеть за насущными, сегодняшними проблемами отдаленное будущее. У Франкфуртской ярмарки было до сих пор всего три директора. Вильгельм Мюллер руководил ею с 1949 по 1957 год, когда она насчитывала уже 647 немецких и 737 зарубежных издательств. Последующие 17 лет ее возглавлял Зигфрид Тауберт. При нем число участвующих в ярмарке издательств выросло почти до четырех тысяч, теперь они уже представляли 62 страны.

Нынешний директор ярмарки Петер Вайдхаас занимает этот пост больше 20 лет. Он пришел в дирекцию тридцатилетним молодым человеком, начав когда-то учеником продавца в книжном магазине, затем работал в Швейцарии, два года руководил производством на датской переплетной фабрике, потом — в штутгартском издательстве научной литературы. Поначалу Петер Вайдхаас попал в выставочный отдел дирекции Франкфуртской ярмарки, а с 1969 года возглавил этот отдел, который среди прочего занимается проведением выставок за рубежом и участием немецких издателей в книжных ярмарках разных стран, благодаря чему Петеру Вайдхаасу удалось приобрести большой опыт международной работы, обширные личные связи, а также широчайший кругозор, позволяющий судить о состоянии дел на мировом рынке и его перспективах.

Деятельность Франкфуртской ярмарки строится, разумеется, на определенной стратегии, которая постоянно испытывает давление со стороны различных групп, имеющих нередко весьма противоречивые интересы. Кто-то выступает за то, чтобы ярмарка, поскольку она проводится немецким Биржевым союзом, отдавала предпочтение национальным приоритетам. Транснациональные мультимедиальные концерны склонны усилить свое влияние на событие, фокусирующее в себе весь мировой мультимедиальный рынок, пропорционально собственному весу на этом рынке. Кому-то Франкфуртская ярмарка кажется слишком дорогостоящей, а потому высказывается мнение о необходимости поставить ее на более коммерческую основу за счет сокращения различных льгот и отказа от финансирования программ, направленных на стимулирование книжного дела в странах с переходной экономикой и развивающихся странах, на расширение международных культурно-экономических связей с этими странами, на сохранение и развитие культурного многообразия мирового книжного рынка.

Нынешнее руководство Франкфуртской ярмарки исходит при разработке своей стратегической линии из следующих главных тенденций:

— Мировой выпуск книжных изданий будет расти, его спектр будет становиться все разнообразнее при одновременном сокращении тиражей.

— Будет расширяться международная лицензионная торговля, и прежде всего между ведущими в книжном деле странами мира.

— Продолжится обострение конкуренции между книгой и другими средствами массовой информации.

— Произойдет значительная переориентация книгоиздания и книжной торговли на электронную и аудиовизуальную продукцию.

Но, видимо, наиболее существенным фактором, определяющим перспективную стратегию Франкфуртской ярмарки, является прогноз, согласно которому, с одной стороны, концентрация капитала будет нарастать и ведущие книжные державы будут все более отрываться по доле в совокупном обороте мирового рынка от остальных стран, а с другой стороны, наиболее высокие темпы развития

книжного спроса ожидаются в странах с переходной экономикой.

Указанная стратегия реализуется в целевых программах Франкфуртской ярмарки, часть которых восходит непосредственно к личным инициативам Петера Вайдхааса. На последней, 46-й Франкфуртской ярмарке действовал, например, центр «Восток—Запад», а кроме того, были развернуты большие тематические экспозиции. Одна из них была посвящена Бразилии, другая — «электронной книге». Центр «Восток—Запад» работал уже третий год. Он проводит в ходе ярмарки и параллельно с ней множество мероприятий, призванных содействовать рыночным реформам в книжном деле восточноевропейских стран, обмену опытом при расширении проблем, возникающих при столкновении культуры и рынка. Деятельность центра достаточно полно освещалась нашими газетами, поэтому вряд ли необходимо останавливаться на ней подробно. Стоит, пожалуй, только заметить, что в этом году дирекция ярмарки при финансовой поддержке МИД ФРГ предоставила возможность на льготных условиях или бесплатно оборудовать свои стенды 150 восточноевропейским издателям, не считая 15 коллективных национальных стендов. Кстати, когда в этом году было объявлено, что центр прекращает свою работу, точнее, переносит ее на Лейпцигскую книжную ярмарку, а вместо него теперь будет функционировать центр «Север—Юг», то именно западные издатели, причем многие, выступили за сохранение «восточного» направления в сфере внимания Франкфуртской ярмарки, хотя и не в ущерб направлению «южному». Центр «Север—Юг» уже ведет свою работу, предоставив стенды 30 участникам.

Ежегодно во Франкфурте устраивается и большая тематическая экспозиция, посвященная то отдельной стране, то языковому региону. На сей раз этой чести удостоилась Бразилия, что, разумеется, не случайно, ибо бразильский пример не только интересен, но для многих, особенно для нас, еще и поучителен.

Бразилия и Россия примерно равны по численности населения. Правда, бразильцев к началу третьего тысячелетия будет на 28 миллионов больше. Бразилия долгое время страдала от гиперинфляции, которая доходила до 50% в месяц и составила в 1992 году 1158%, но с введением новой национальной валюты инфляцию, похоже, удалось остановить.

В Бразилии сейчас существует примерно 1600 издательств, но лишь около трехсот из них выпускают книги регулярно. В 1993 году вышло свыше 33 тысяч книжных изданий общим тиражом 218 миллионов экземпляров, что составляет примерно половину всего производства книг на южноамериканском континенте.

Годовой оборот бразильского книжного рынка достиг почти двух миллиардов долларов. Произошло это не столько за счет большого количества продаваемых книг, сколько за счет их очень высокой цены. Обычная книжка в мягкой обложке стоит 26 долларов, и это при среднемесячной зарплате в 150 долларов. Понятно, что такая роскошь доступна далеко не каждому. В последнее время книжная отрасль Бразилии испытывает оживление, связанное с экономической стабилизацией, которая, как надеются издатели, позволит им снизить цены хотя бы на треть. Тогда рынок сбыта значительно расширится.

Бразилия имеет огромный потенциал, что относится не только к материальным ресурсам и экономике, но и к культуре. Именно поэтому организаторы Франкфуртской ярмарки посвятили ей специальную тематическую экспозицию, параллельно с которой прошло более трехсот мероприятий. На них выступили около шестидесяти бразильских писателей. А в 1995 году такая экспозиция будет посвящена Австрии, таким образом, впервые на ярмарке в центре внимания окажется страна, являющаяся частью единого языкового региона и единого книжного рынка, благодаря чему станут явственней специфические особенности этого рынка (проблемы австрийского книгоиздания на немецкоязычном рынке, трудности конкуренции с крупными немецкими издателями и книготорговцами, вопросы государственной поддержки национального книгоиздания и оценка эффективности такой поддержки).

И еще раз хочется подчеркнуть: политический, социальный, идейный кризис конца 60-х годов (а, например, Петер Вайдхаас откровенно причисляет себя к немецким «шестидесятникам») заставил серьезно переосмыслить и многое из того, что происходило на Франкфуртской ярмарке. С тех пор все яснее осознавалась прямая и непосредственная взаимосвязь между уровнем экономического развития и уровнем информатизации общества. Руководство ярмарки все отчетливее видело свою главную задачу в содействии интеллектуальному «обмену веществ» между разными странами, народами, культурами с учетом того, что в мире действуют как центростремительные, так и центробежные силы. С одной стороны, усилиями транснациональных мультимедиальных концернов, аккумулирующих огромные финансовые средства, осуществляется глобализация экономики и культуры, что грозит утратами национальной самобытности для целых стран и народов, не говоря уже о потере субкультурной идентичности многими социальными группами. С другой стороны, искусственная самоизоляция этих носителей многообразия человеческой культуры ведет к их духовной стагнации, а в конце концов опять-таки к самовырождению.

Выверить стратегический курс среди запутанного хитросплетения разнонаправленных силовых линий, конечно же, очень сложно, но Франкфуртская ярмарка каждый год как бы собирает все многообразие проблем и противоречий в некий единый фокус, без чего ориентация на современном мировом книжном (или даже мультимедиальном) рынке вряд ли вообще была бы возможной.

БЕНЕДИКТ ТАШЕН

Название заметок «Картинки с выставки» выглядит, наверное, не слишком оригинальным. Могу оправдать его лишь тем, что на последней всемирной выставке книжных новинок, каковой среди прочего служит Франкфуртская ярмарка, меня действительно особенно интересовали «картинки».

Дело в том, что за последнее время все чаще приходится читать или слышать о «визуализации» книги, то есть об усилении ее

невербального элемента, начиная от фотоиллюстративного материала и кончая всевозможными графиками, таблицами, схемами и т. д. Мне хотелось сравнить две области, одну традиционную — книги по изобразительному искусству, а другую совсем новую — так называемые «электронные книги».

Невербальный элемент, изобразительный ряд всегда играли в книге значительную роль. Взять хотя бы сотрудничество уже упоминавшихся издателя Антона Кобергера и его крестника Альбрехта Дюрера, в том числе их совместную работу по изданию «Всемирной хроники» Хартмана Шеделя с ее почти двумя тысячами гравюр, без которых эта книга не смогла бы стать историческим источником важнейших сведений по иконографии и картографии. В этом же ряду можно назвать учебник «Мир чувственных вещей в картинках» Яна Амоса Коменского и великое множество других изданий.

Но конечно же, книги по изобразительному искусству представляют собою особый случай, ибо здесь произведения, например, живописи служат непосредственной темой, предметом, материалом книжного издания. Книги по изобразительному искусству возникают как бы на пересечении двух несовместимых категорий — тиража и униката [1], и этот парадокс уходит в самую сердцевину экономического механизма подобного рода изданий.

Цена униката реализуется в акте продажи. Этот акт всегда единствен, даже если происходит несколько таких актов и образуется череда перепродаж. Для того чтобы получить за уникат высокую цену, необязательно искать многих покупателей, достаточно найти одного, готового ее заплатить. Другое дело, что конкуренция между несколькими покупателями повышает цену.

Цена же тиража повышается с увеличением размеров самого тиража, особенно когда тираж можно допечатывать по мере растущего спроса.

Казалось бы, экономика уникатов должна была бы проигрывать экономике массовых тиражей, однако факты говорят о другом. В 1988—1989 гг. суммарный оборот только двух аукционных домов «Кристи» и «Сотби» равнялся семи миллиардам марок, что превышает годовой оборот книжного рынка даже таких стран первой «пятерки», как Англия и Франция. Издание книг по изобразительному искусству сталкивается с парадоксом. С одной стороны, книга по изобразительному искусству должна стремиться к увеличению тиража, поскольку от тиража зависит ее рентабельность. С другой стороны, изобразительное издание обращается преимущественно к элитной публике, поэтому рентабельности можно до известных пределов добиваться за счет увеличения цены при ограниченном количестве продаж. Альбомы по искусству обычно малотиражны и дороги. Удачей считается продажа пяти-шести тысяч экземпляров.

В последние годы мировой рынок книг по изобразительному искусству испытал ощутимую встряску. Кёльнское издательство Бенедикта Ташена выпустило несколько массовых серий, три из которых известны и в России. Есть, правда, существенная разница между теми «ташеновскими» книгами, что попадаются в московских магазинах, и теми, что продаются в Лондоне или Париже, Лисабоне или Осаке, Нью-Йорке или Берлине. Там «ташеновский» альбом стоит порой вдвое дешевле аналогичных по классу серий других издательств. Здесь же цена — в пересчете с рублевой на валютную — оказывается, во-первых, выше мировой, а во-вторых, не отличается от цен на альбомы других издательств. Впрочем, не о нас речь. В России книг по искусству по-прежнему мало, и это накладывает свой отпечаток на конъюнктуру рынка.

В Германии книги издательства «Бенедикт Ташен» обращают на себя внимание не только своей дешевизной. Их вообще трудно не заметить, ибо они встречаются всюду — от отделов искусства в больших книжных магазинах, где они соседствуют с множеством конкурентных изданий, до вокзальных киосков, где присутствие альбомов современной живописи довольно непривычно. Больше того, «ташеновские» книги часто лежат не только целыми сериями, но еще и большими стопами. Делается это нарочно, как один из приемов преодоления у покупателя стереотипного отношения к книге по искусству. Подчеркивается ее демократичность, доступность.

Похоже, что Бенедикту Ташену действительно удалось сломать этот стереотип. Говорят, будто в мире каждые три секунды продается его книга. Заметьте, не выпускается, а именно продается. Получается около 11 миллионов экземпляров за год. Это втрое больше, чем совокупный тираж книг по искусству и искусствознанию, выпущенных за 1993 год во всей России.

Парижский журнал «L'Expansion» назвал Бенедикта Ташена «Моцартом книгоиздания». Преувеличение, конечно, но имеющее свои причины. О Бенедикте Ташене пишут много, он вызывает к себе устойчивый интерес. Что ж, фигура эта весьма колоритна. Бенедикту Ташену всего 33 года, до недавних пор он считался самым молодым из крупных немецких предпринимателей. С пяти лет он начал коллекционировать комиксы, а к двенадцати годам поставил свое увлечение на, так сказать, коммерческую основу, даже выпустил каталог собственного обменно-продажного фонда. Был у него в юности эпизод, связанный с бродячей труппой, в которой он выступал жонглером, что лишний раз подчеркивает несколько авантюрный склад его характера. В 18 лет Бенедикт Ташен открыл собственный магазинчик, торговавший преимущественно комиксами. Дела шли неплохо, поэтому спустя некоторое время магазин даже перебрался в довольно престижный район Кёльна и расширился. А в 1984 году произошло событие, ставшее поворотным. Бенедикт Ташен приобрел, как говорится «по случаю», альбом бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Нераспроданный и уцененный сорокатысячный тираж был куплен по доллару за экземпляр, а затем предложен немецкой публике по 10 марок. Цена была для такого типа изданий очень низкой, и результат превзошел любые ожидания. Вся партия разлетелась буквально за несколько недель, что навело уда-

[1] Уникат — оригинал; вещь, существующая в единственном экземпляре. *(Прим. ред.)*

чливого книготорговца на мысль приступить к изданию дешевых альбомов.

Первый же эксперимент — крупноформатный, почти стостраничный альбом Сальвадора Дали с отличными цветными иллюстрациями и удачным текстом — обернулся своего рода рекордом и положил начало одной из трех основных серий. По оценкам прессы, альбом Дали разошелся к настоящему времени по миру в различных языковых версиях общим тиражом более миллиона экземпляров.

В чем же секрет успеха? Только ли в низкой цене? С подобным предположением легко было бы согласиться, если бы сразу же не возникал следующий вопрос: почему же раньше удешевление альбомов по искусству не давало столь ощутимого эффекта? Действительно, издатели старались и прежде удешевить изобразительную продукцию, сделать ее более доступной по цене, например, за счет уменьшения формата и объема книги. Многие наверняка помнят, каким откровением стали в Москве или Ленинграде появившиеся к концу 50-х годов на прилавках букинистических магазинов тоненькие книжечки форматом с почтовую открытку. Там было пятьшесть страничек текста на французском, английском или итальянском языке и около дюжины цветных иллюстраций. Эти издания были так дешевы на Западе, что оказывались по карману даже советским командированным, привозившим их сюда.

До сих пор экономика изданий по изобразительному искусству ставила текстовую и репродукционную часть в неравноправное положение. В одних книгах превалировал текст. Ему необязательно нужна дорогая мелованная бумага, которая выделялась лишь на две-три тетрадки вклеек. Этим тетрадкам поневоле выпадала подчиненная, вспомогательная роль. В других книгах преобладают репродукции, тогда обычно сокращается текстовая часть, которая принимает на себя прежде всего информационно-справочные функции. Чаще всего это происходит с выставочными каталогами, альбомами музейных экспозиций. Чем выше качество полиграфического исполнения, тем в большей степени претендует репродукция на то, чтобы сравняться с оригиналом и как бы подменить собою уникат. Надо заметить, что особенно дорогие альбомы нередко финансируются за счет музеев, обществ любителей искусства, за счет спонсоров и дотаций, то есть являются заказными.

Особенность «ташеновских» изданий состоит, пожалуй, в том, что они, будучи крупнотиражным, массовым продуктом, одновременно отличаются гармоничным соотношением текстового и репродукционного элементов. Иллюстрированное издание по изобразительному искусству понимается как своеобразный, самостоятельный жанр, где иллюстрация и текст неразрывно связаны, дополняют друг друга, образуют единую композицию вербального и визуального элементов на каждой странице и каждом развороте.

Удешевление же «ташеновских» изданий происходит не за счет абсолютного снижения затрат путем, например, экономии на сортах бумаги или качестве полиграфического исполнения, а за счет относительного снижения затрат, когда увеличивается тираж и тем самым удельные затраты раскладываются на гораздо большее количество экземпляров. Но для этого нужно расширить рынок сбыта, для чего и используются различные приемы, в частности фактор низкой цены.

Сейчас Бенедикт Ташен выпускает свои книги на 22 языках, чего, кажется, не делает ни одно издательство в мире, специализирующееся на выпуске изобразительной продукции. Речь идет прежде всего о трех крупноформатных сериях альбомов. Каждый выпуск «Малой серии» насчитывает 96 страниц и около сотни цветных иллюстраций, имеет справочно-биографическую часть с фотографиями. Осуществлено уже 40 выпусков, на ближайшее время планируется еще 15. Серия представляет творчество художников самых различных периодов мирового искусства от Боеха и Боттичелли, Рембрандта и Вермера до Ива Кляйна, Лихтенштейна и Уорхола.

Выпуски «Большой серии» насчитывают до двухсот страниц и почти 300 иллюстраций, а стоят они даже чуть меньше 30 марок. Эти выпуски посвящены как творчеству отдельных художников, так и целым направлениям, например «экспрессионизм», «art nouveau» или «Баухауз» и «поп-арт». Вышло уже более тридцати альбомов «Большой серии», а вскоре к ним добавится еще пять.

Но, конечно же, наиболее сильное впечатление в программе издательства Бенедикта Ташена производит серия «гигантов». Эти огромные двухтомные альбомы, продающиеся в специальных кассетах, имеют общий объем от семисот до почти восьмисот страниц и содержат до полутора тысяч больших цветных иллюстраций. Стоят же они чуть меньше ста марок, что раза в два, а то и в два с половиной ниже средних цен на издание подобного рода.

«ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА»

Время от времени в книговедческих статьях высказывается недоумение: дескать, история книги насчитывает уже не одно тысячелетие, а точного и полного определения самой книги до сих пор нет. Нередко тут же делается критический обзор прежних попыток, предлагается новое определение, но вскоре и оно разбирается в следующем критическом обзоре как неудовлетворительное.

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992) трактует понятие «книга» следующим образом: «Произведение печати (в старину также рукописное) в виде переплетенных листов с каким-нибудь текстом». А «Словарь издательских терминов» (1983), различая книгу и брошюру только по объему, объединяет их понятием «непериодическое текстовое книжное издание... в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплете». Уточняется, что «текстовым» является такое издание, «большую часть объема которого занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный (химические или математические знаки) или смешанный текст с иллюстрациями или без них». Соответственно указано, что существуют также «иллюстрированные издания» и «изоиздания», в которых «большую часть объема... занимает воспроизведение живописных, графичес-

ких, скульптурных произведений искусства, специальных или художественных фотографий с кратким текстом или без него».

Интересно, к какому типу изданий отнесли бы авторы этих определений очень популярную в Германии серию «Атласов», выпускаемую издательством «dtv»? Это атласы по биологии и химии, архитектуре и музыке, немецкому языку и немецкой литературе, философии и всемирной истории. Передо мною, например, «Атлас по немецкой литературе». Он устроен так, что на каждом развороте левая страница дает одну или две схемы, таблицы, диаграммы, карты, а правая страница является текстовой, причем и текст структурирован особым образом.

Мы не очень привыкли к подобного рода изданиям, они для нас довольно экзотичны. А на Западе они составляют едва ли не преобладающее большинство. Недаром, скажем, немецкие социологи говорят не о «социологии чтения», а о «социологии обращения к книге». Ведь энциклопедию, справочник, пособие, учебник и т. д. не столько «читают», сколько ими «пользуются», и это весьма специфический способ восприятия информации.

Словесный текст, устный, письменный или печатный, при всей исторической развитости различных жанров имеет принципиальные ограничения. Во-первых, далеко не все на свете поддается адекватному словесному выражению, многое вообще не имеет вербальных эквивалентов. А во-вторых, словесный текст разворачивается в виде линейной последовательности слов, чем затрудняет восприятие того, что должно быть «схвачено» единовременно. Скажем, составление словесного портрета и опознание по нему требуют специальной тренировки не только потому, что индивидуальные особенности лица или фигуры трудно описать словами, но еще и потому, что глазами мы видим человека всего сразу, в целом, а словами должны разложить его на долгую цепочку отдельных признаков, которую затем надо путем специальной реконструкции «свернуть» в некий «облик», индивидуальный портрет.

В последние годы происходит усиленная «визуализация» книги, особенно тех изданий, которые, так сказать, предрасположены к этому по своему характеру: научная и справочная литература, учебники, пособия и т. п. Визуализацию книги стимулируют и журналы, в том числе такие авторитетные, как «Лайф» или «Шпигель», у которого, кстати говоря, появился довольно серьезный конкурент — журнал «Фокус». Новый еженедельник стремится отвоевать ту нишу, которую долгое время успешно оккупировал «Шпигель», то есть обращается к прежнему кругу тем и читателей, но подает материалы более броско, емко, наглядно именно за счет усиления визуального элемента. Речь идет не столько о фотоиллюстрациях, сколько опять-таки о графиках, диаграммах, таблицах и т. п.

На старинных гравюрах, изображающих кабинет средневекового ученого, можно порой увидеть странное, на наш взгляд, громоздкое устройство, напоминающее колесо водяной мельницы. На его лопастях лежат раскрытые толстые фолианты. Да, книги имели тогда преимущественно крупный формат, были тяжелыми, занимали много места, поэтому для работы с ними, особенно когда появлялась необходимость в параллельном чтении или сверке, и было придумано специальное устройство. Несколько книг, объединенных процессом одновременной работы с ними, образовывали как бы некий гипертекст, книга приобретала дополнительные измерения. Та же проблема решалась изданиями с параллельными текстами, использовались и другие приемы для того, чтобы преодолеть естественные ограничения традиционной книги.

Совершенно новые возможности открываются с появлением «электронной книги». На электронные носители могут быть записаны не только текст или неподвижное изображение, но и звук или изображение движущееся, которые потом воспроизводятся компьютером. «Электронный лексикон», где, отыскав нужную словарную статью о какой-либо рок-звезде, можно вызвать фонограмму и видеозапись ее концерта, а заинтересовавшись каким-либо палеонтологическим открытием — получить движущуюся голограмму реконструированного облика доисторического животного,— это не проект, находящийся на стадии теоретической разработки, а реальный коммерческий продукт.

«Электронные издания» развиваются очень быстро, а к 2000-му году, то есть всего через несколько лет на их долю, по прогнозам все того же исследовательского института «Euromonitor», будет приходиться от 15% до 40% общего оборота мирового книжного рынка.

Именно поэтому на Франкфуртской ярмарке уже второй раз действует специализированный раздел, почти целый павильон, посвященный этой теме. Здесь выставляли свою разнообразную продукцию и показывали ее в действии 217 издателей «электронной книги» из 18 стран. Общая программа охватывала более сотни мероприятий, в том числе более трех десятков конференций и семинаров.

Преимущественной сферой применения «электронных изданий» является научная, лексикографическая, справочная и учебная литература. При этом подготовка таких изданий, допустим свода юридических актов и комментариев к ним, осуществляется прямым переносом на электронные носители. Правда, и здесь нужно предусмотреть систему навигации по тексту, систему ключевых слов, по которым может вестись поиск, или принцип ассоциативных связей. То есть речь идет опять-таки о создании некоего гипертекста.

Такой же гипертекст необходим и в том случае, когда «электронное издание» возникает на самостоятельной основе, а не в качестве компьютерной адаптации уже существующей «бумажной» версии. Практика гипертекстуальной обработки текста или создания оригинальных систем «текст — гипертекст», а главное, осмысление этой практики позволяет по-новому взглянуть на книгу. У нас не вызывает сомнений, что разные издания романа «Война и мир» — это одно и то же литературное произведение, но различные книги. И отличаются они именно гипертекстом, в частности даже такими его элементами, как формат издания, шрифт, техническое и художественное оформление, принадлежность к определенной серии, не говоря уже о комментариях, справочном аппарате, предисловиях или послесловиях и т. п. Книга, в су-

щности, и есть гипертекст, посредством которого публикуется текст.

Но поскольку гипертекст может варьироваться бесконечно, постоянно обновляясь и изменяя даже материальные носители, то и книга как гипертекст еще далека от завершения своей истории, а потому остается неподходящим предметом для попыток дать ей исчерпывающее определение. И «электронная книга», которая быстро вторгается в наш обиход, на глазах трансформируя одни сферы книгоиздания и в чем-то стабилизируя другие, пока не дает оснований сомневаться в жизнеспособности книги.

За последнее время опубликован целый ряд работ, которые оценивают нынешнее состояние и перспективы книжного дела до конца нашего тысячелетия как по отдельным странам, так и по миру в целом. Оценки разнятся. Скажем, в Австрии или Дании отмечается падение читательского интереса и, соответственно, ухудшение экономической ситуации в книгоиздании и книжной торговле.

Напротив, для Англии, США или Германии прогнозы носят скорее оптимистический характер.

Так, английские исследователи считают, что число читателей среди британцев увеличилось с 1989 года на 15% (это на удивление высокий показатель). Чтение остается в Великобритании весьма популярным занятием на досуге, во всяком случае, почти половина англичан читает практически ежедневно, и явных тенденций к изменению этой привычки не наблюдается.

Мюнхенский институт по экономике досуга утверждает, что хотя население Германии возрастет к 2000 году лишь на 3%, зато читателей станет больше на 8%, а общий объем времени, уделяемого чтению, увеличится даже на 11%. Это связано прежде всего с ростом числа пожилых людей, имеющих высокий уровень образования и много свободного времени.

Американские эксперты, представляющие группу «Veronis, Suhler and Assosiates», предсказывают на ближайший период ежегодный прирост оборота книжного рынка в размере 7,2%. Следовательно, книжное дело будет едва ли не наиболее благополучно развивающейся отраслью американской экономики.

Таким образом, ближайшие перспективы мирового книжного рынка и ведущих национальных книжных рынков не вызывают опасений, несмотря на обострение конкуренции между книгой и новейшими средствами массовой коммуникации. Более того — похоже, что эта конкуренция помогает книге мобилизовать весьма значительные, до сих пор скрытые резервы своего культурно-исторического потенциала.

■

ГРАФФИТИЗМ — ИСКУССТВО НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ПОДЗЕМКИ

В начале восьмидесятых годов в Америке резко повысился спрос на изобразительное искусство. Цены на произведения знаменитых художников, в том числе и современных, поднялись на небывалую высоту. Галереи сулили немалые прибыли и потому стали расти, как грибы после дождя.

К 1984 году в Нью-Йорке, а речь пойдет именно о нем, было около 400 галерей, их совокупный годовой доход составлял миллиард долларов, не говоря уже о полумиллиардном доходе от аукционных торгов.

Наибольшую прибыль обещали новые художественные открытия. Многие галереи делали бизнес на неизвестных художниках: их работы покупали за бесценок, а потом создавали им известность и возвращали затраченные деньги с большой выгодой для себя. Такой принцип работы был характерен для целой системы новых галерей, возникших почти одновременно в районе Манхэттена Ист-Виллидж.

Это был район социально неблагополучный. В нем жили негры, пуэрториканцы и представители прочих этнических меньшинств. Респектабельные горожане предпочитали обходить его стороной, и, даже когда в Ист-Виллидже насчитывалось уже более 70 галерей, зрители приходили туда с телохранителями.

Именно галереи Ист-Виллиджа открыли американских художников-граффитистов, которые до этого рисовали спреями на станциях нью-йоркской подземки и стенах домов. Теперь они переносили свои произведения на холсты, становились скульпторами и дизайнерами.

Работы художников-граффитистов отличали агрессивная фантазия и яркая самобытность, для них характерно сочетание элементов современной городской субкультуры с традиционным искусством этнических групп. Ощущается перекличка граффитизма и поп-арта.

Граффитисты работали либо анонимно, либо подписывали свои картины выразительными кличками. Например, Креш [1] (Джон Матос). Он дал себе это имя потому, что любил изображать авиакатастрофы, сталкивающиеся автомобили, взрывы бомб. Дейз [2] (Крис Элис) чаще всего обращался к темам кино, ночных клубов, дискотек и комиксов. Зато Футура 2000 (Леонар Макгар), самый старший среди граффитистов, создавал сложные композиции в духе импровизаций Кандинского.

К середине восьмидесятых граффитисты вошли в моду. Вскоре их стали выставлять не только в Нью-Йорке, но и в европейских музеях. Наибольшую известность получают Жан-Мишель Баскина (1960—1986), родившийся в Бруклине, а также Кейт Херинг (1958—1990) и Кенни Шарф (р. 1958).

Впрочем, Кейт Херинг и Кенни Шарф не были, подобно другим граффитистам, самоучками, а получили высшее художественное образование. Но и они широко использовали в своих полотнах основные приемы, темы и мотивы стиля граффити.

Кейт Херинг начал выставляться в галерее Лео Кастелли. Вскоре, добившись успеха, Херинг открыл на Манхэттене собственный магазин, где продавал не только картины, скульптуры, но, например, пуговицы и рубашки по своим эскизам. Умер Кейт Херинг в 1990 году от СПИДа.

Коммерческий успех не пошел граффитистам на пользу: буйная фантазия сменилась малосодержательной декоративностью. Очередная смена моды сначала потеснила граффитизм, а затем и вовсе сняла со счетов современной американской художественной жизни. К 1987 году закрылись почти все галереи Ист-Виллиджа. В результате остались лишь несколько имен, среди которых по-прежнему выделяются Херинг и Шарф. Их работы часто воспроизводятся на почтовых открытках, применяются в оформлении книг, дизайнеры используют постеры с их картинами для интерьеров «студенческих» мансард.

О. ХЛЕБНИКОВА

[1] От английского «crash» — грохот, треск *(прим. ред.)*.

[2] От английского «daze» — изумление *(прим. ред.)*.

СЕАЛЬТЬЕЛЬ АЛАТРИСТЕ

Истина любви

Sealtiel Alatriste. Verdad de amor. «Planeta»

Истина любви, по С. Алатристе, заключается в том, что это чувство — обычное и преходящее — способно стать неиссякаемым, если объект страсти возвышен до обожествления. Такова героиня романа — Мария Фелис, прототипом которой автору послужила реальная женщина. Недоступная Мария приковывает внимание и сердца многих, начиная от главного героя (его зовут Хосе Мария Люцифер) и кончая представителями нескольких поколений клана Ренуаров. Присутствие персонажей-французов вполне естественно, ибо рассказчиком выступает мексиканец — бармен одного из престижных парижских баров.

В романе действуют и реально существующие именитые люди — например, писатель Карлос Фуэнтес. Он также обращался к теме неувядающей любви, в частности в романе «Священная зона». Эта книга дала С. Алатристе богатую пищу для размышлений, в результате которых и появилось его собственное произведение. За него мексиканский писатель удостоен литературной премии имени Хоакина Мортиса за 1994 год.

ХАРОЛЬД БРОДКИ

Несвятая дружба

Harold Brodkey. Profane Friendship. «Farrar, Straus & Giroux»

Предыдущие произведения американского писателя Харольда Бродки — два сборника рассказов и роман «Беглая душа» — отличались глубоким проникновением во внутренний мир персонажей и откровенностью изложения. Эти же черты характерны и для нового, во многом автобиографичного романа «Несвятая дружба».

Главные герои — американец Нино и итальянец Онни. Встретившись школьниками в 30-е годы в фашистской Италии (действие происходит в Венеции), они пронесли свою дружбу через много лет. На момент повествования обоим уже за шестьдесят: Онни стал актером с международной славой, а Нино — литератором. Он-то и ведет рассказ, по сути исповедь, вспоминая даже самые мелкие эпизоды далекой и счастливой юности, когда у него был друг, дороже и ближе которого не сыскать.

Грубоватый, импульсивный, еще мальчишкой видавший виды Онни и рассудительный, замкнутый, тонко чувствующий Нино сдружились так крепко, что нередко вынуждены были сами принижать значение этой «несвятой дружбы», больше похожей на любовь, которая могла бы поглотить обоих. Помимо земного, осязаемого Онни — безусловно, главного героя,— в романе присутствует на правах персонажа по-висконтиевски прекрасная Венеция — «полузаброшенный город-шапито».

ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕНАЦИНО

Неприкаянная рыбка

Wilhelm Genazino. Die Obdachlosigkeit der Fische. «Rowohlt»

Вильгельм Генацино уже отмечен критикой как талантливый прозаик. В 1990 году уроженец Мангейма был удостоен Бремеровской литературной премии за роман «Пятно, куртка, комната, боль» (1989).

В центре его нового романа, состоящего из трех частей, история юношеской любви. О ней вспоминает героиня на пороге старости. В этот тяжкий период прошлое — а она попутно воскрешает в памяти и другие эпизоды — становится для нее моральной опорой, необходимость в которой все усиливается. Профессиональной деятельности приходит конец, иной не предвидится; нет и теплых человеческих отношений. Единственное, что согревает,— фотография ребенка, которую она всегда носит с собой, страшась того дня, когда начнет сомневаться: а был ли он вообще?

Героиня сопротивляется угасанию. Эта борьба в ее сознании превращается в игру воображения внешнего и внутреннего «я», подчиняя себе буйную фантазию ее снов. Например, в ее видениях возникают корабль, трава, ящерица, овца, баран и рыбка. В кажущемся хаотичном наборе образов есть как нельзя точно отражающий сущность героини: неприкаянной, словно рыбка без пристанища, ощущает она себя в океане жизни.

ПЕНЕЛОПА ЛАЙВЛИ

Олеандр, джакаранда

Penelope Lively. Oleander, Jacaranda. «Viking»

В романе «Лунный тигр» (1987), удостоенном премии «Букер», важнейшие эпизоды происходили в Египте. Там же разворачиваются события в предыдущем романе, «Сестра Клеопатры» (см. о нем «ИЛ», 1993, № 11). Это не случайно: П. Лайвли родилась и провела детство в Каире, и экзотическая страна вновь и вновь возникает в произведениях английской писательницы.

Естественным образом Египет играет не последнюю роль в книге автобиографических мемуаров «Олеандр, джакаранда». В названии упомянуты южные растения, а подзаголовок — «Осознавая детство» — сигнализирует о стремлении автора разглядеть сквозь «стеклянную стену времени» ту далекую пору. В 1945 году родители двенадцатилетней Пенелопы развелись, и девочку отправили к бабушкам в Англию, где она вскоре оказалась в школе-интернате. Очутившись в холодной стране, среди чужих людей, Пенелопа воспринимала возвращение на историческую родину, как ссылку, и страдала.

Яркие, в чем-то наивные детские впечатления (в основном о Египте) автор чередует со «взрослым» анализом. Став своего рода литературным археологом, она очищает от наносов времени черепки прошлого. Преобразовывая личный опыт в литературу, П. Лайвли не впадает в сентиментальность: так, обнаружив написанные более сорока лет назад свои полные отчаяния письма няне, оставшейся в Египте, она спокойно сжигает их.

ГЕРТА МЮЛЛЕР

Зверек сердца

Herta Müller. Herztier. «Rowohlt»

Герта Мюллер добивается все большего признания в немецкой литературе. Переехав из Румынии в Германию в 1987 году, она уже в 1989 году была удостоена сразу двух премий: Рикарды Хух и Марии-Луизы Фляйсер. Еще два года спустя творчество писательницы было отмечено премией «Кранихштайнер»; и, наконец, в 1994 году она была награждена одной из самых престижных в Германии премией Клейста.

В книге «Зверек сердца» Г. Мюллер обращается к проблеме достойного существования в условиях диктатуры. Для главных героев-друзей — студента, преподавателя, инженера — это испытание оказалось непосильным. Сломленные, они кончают жизнь самоубийством.

Роман построен как картина судьбы каждого из персонажей; повествование ведут попеременно герой и рассказчик. Все истории наводят на размышления о правде и лжи, о честности и обмане, о выборе между приспособленчеством и попыткой сохранить свое человеческое достоинство — быть может, ценою жизни. В такой трудной ситуации нет крепче опоры, чем верная дружба. Но, встав на путь вероломства, люди теряют это спасительное средство, как и самих себя.

ПОЛ ОСТЕР

Господин Головокружение

Paul Auster. Mr. Vertigo. «Viking»

Однажды, в 1924 году, девятилетний бродяга Уолт повстречал таинственного Учителя Йегуди, который позвал его за собой — учиться летать. Они отправились на отдаленную ферму в Канзасе, где Уолт, поначалу нехотя, одолел все тридцать три этапа этой науки. В основном она сводилась к страданиям, имеющим философское толкование; пришлось расстаться с суставом пальца: за получение магического дара надо пожертвовать частью себя; или, например, испытать ужас погребения заживо: желающий воспарить — душой или телом — должен преодолеть земное притяжение, страх смерти, вознениавидев и то, и другое.

Через тернии страданий Уолт поднялся в небо, но головокружительные полеты заканчивались головной болью. Продолжить их можно было, лишь отказавшись от половых желез. Такую жертву уже повзрослевший Уолт отверг. Дальнейшая его судьба была вполне земной: гангстер, владелец ночного клуба, оператор стиральных машин.

Полусказочная история Уолта составляет сюжет романа «Господин Головокружение», финал которого условен. Читатель волен пофантазировать над продолжением или поразмышлять над тем, что оставил за рамками сказанного американский писатель Пол Остер (о его предыдущем романе, «Левиафан», см. «ИЛ», 1993, № 8).

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ

Последние дни Коринфа

Alain Robbe-Grillet. Les derniers jours de Corinthe. «Minuit»

«Последние дни Коринфа» — заключительный том автобиографической трилогии одного из основателей литературного направления «новый роман». (Первые два тома — детские воспоминания и эротические фантазии — А. Роб-Грийе опубликовал в 1984 и 1988 годах соответственно.) Впрочем, автобиографией эту трилогию можно назвать лишь условно — сам автор дает ей определение «романизированная», а критики уже окрестили ее «новой биографией».

Рассказывая о себе и о своем прошлом, о подлинных и придуманных событиях, о реальных людях — широко известных (К. Симон, С. де Бовуар, М. Дюрас, М. Фуко) и неизвестных вовсе, писатель остается верен себе: вместо размеренного, последовательного повествования о своей литературной и издательской карьере он творчески перерабатывает образы и факты, окрашивает их в неожиданные тона — то ироничные, то эротические, то детективные.

Направляет все эти фантазии двойник автора, некий Анри де Коринф. Это — вымышленный персонаж; к чертам реально существовавшего «графа Анри», военного и авантюриста, которого А. Роб-Грийе знал еще в детстве, примешаны и прочие Коринфы, в частности, немецкий художник. Особую роль играет Коринф и в географическом смысле: он (как Помпеи) символизирует для писателя мир развалин. Поскольку все новое неизбежно произрастает из чего-то старого, то и литература сегодня, по авторской мысли, строится на руинах реализма.

ОСВАЛЬДО СОРИАНО

Око родины

Osvaldo Soriano. El ojo de la patria. «Mondadori»

Прототип главного героя для своего романа известнейший аргентинский писатель нашел

почти случайно: проходя по аллее парижского кладбища Пер-Лашез, он увидел надгробие с надписью: «Хулио Карре. Секретный агент правительства Аргентины». Возвратившись в Буэнос-Айрес, Освальдо Сориано навел справки о своем соотечественнике, умершем во Франции в 1911 году. После некоторого творческого переосмысления судьбы разведчика и появился сюжет этой книги, напоминающей романы Г. Грина «Третий человек» и «Наш человек в Гаване».

Действие происходит в постдиктаторской Аргентине; Хулио Карре получает спецзадание: вернуть на родину прах одного вельможи. Подобные репатриации — не новинка в истории страны, и суть не в поддержании чести нации, а в другом: вместе с останками хранятся папирусы и среди них якобы обломок камня, на котором некий аргентинец оставил важную информацию о международных секретных службах и 2000 годе.

Роман — в лучших традициях детективного жанра — построен на череде загадочных фактов и напряженном ожидании их разгадки. Среди действующих лиц есть и такие оригинальные персонажи, как говорящий покойник и писатели, давшие клятву не публиковаться.

АНТОНИО ЭРНАНДЕС

Хладнокровие

Antonio Hernández. Sangrefría. «Guadalquivir»

Испанец Антонио Эрнандес одинаково силен в прозе и поэзии. Из трех недавно опубликованных книг — сборник стихов «Священная форма», романы «Хладнокровие» и «Легенда о Близнецах» — первая удостоена премии Сеговии имени Хайме Гиля де Бьедма, а вторая — премии Андалусии.

Роман «Хладнокровие» посвящен знаменитой корриде. Этот испанский феномен обрисован А. Эрнандесом во всей его полноте — от яркого зрелища до закулисных махинаций. Веселые казусы, как в «Андалусийских сценках» Э. Кальдерона, перемежаются трагическими эпизодами, которые перекликаются с «Испанскими историями» К. Х. Селы. Этому корифею автор отдает дань особого уважения в своей книге.

В корриде Эрнандеса слышны отголоски и корриды Хемингуэя, причем сходство усиливают главы, написанные в хроникально-репортажном стиле. В целом же вся история, вплоть до финала на арене, представлена как внутренний монолог героя, поясняемый незримым автором.

■

АЛАН ЛАЙТМАН (Alan Lightman; род. в 1948 г.) — американский ученый-физик и писатель. В Массачусетском технологическом институте преподает физику и литературную стилистику. Автор книг «Путешествие во времени и трубка папы Джо» («Time Travel and Papa Joe's Pipe»), «Современный янки при Коннектикутском дворе» («A Modern-Day Yankee in a Connecticut Court»), «Великие идеи физики» («Great Ideas in Physics) и др. Перевод книги «Сны Эйнштейна» осуществлен по изданию «Einstein's Dreams». New York, Pantheon Books, 1993.

САРА КИРШ (SARAH KIRSCH; род. в 1935 г.) — немецкая поэтесса и прозаик, лауреат премии имени Г. Гейне и премии города Галле, награждена медалью Эриха Вайнерта. Автор сборников стихов «Поездка за город» («Landaufenthalt»; 1967), «Волшебные заклинания» («Zaubersprüche», 1973), «Ветер в спину» («Rückenwind», 1977), «Земное царство» («Erdreich», 1982), «Кошачья жизнь» («Katzenleben», 1984), «Снежная теплота» («Schneewärme», 1989), «Наводнение» («Die Flut», 1990). В «ИЛ» напечатаны ее «Непричесанные рассказы» из книги «Укротительница» (1975, № 12). Публикуемые стихи взяты из сборника «Дочь лесного царя» («Erlkönigs Tochter». Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1992).

МИХАЙ КОРНИШ (KORNIS MIHÁLY; род. в 1949 г.) — венгерский прозаик и драматург. Окончил Институт театрального и киноискусства по специальности — режиссер. Работал в театрах, на радио, на киностудии. Его первая книга рассказов «Наконец-то живем» («Végre élsz») издана в 1983 г. Затем вышли сборник пьес «Кто ты?» («Ki vagy te?», 1986), роман «Книга солнца» («Napkonyv», 1994).
Публикуемые рассказы взяты из книги «Наконец-то живем», вышедшей в 1992 году — уже без цензурных изъятий и с обновленным содержанием («Végre élsz». Budapest, Cserépfalvi Kiadó).

БОРИС ВИАН (BORIS VIAN; 1920—1959) — французский писатель, поэт, драматург, публицист, музыкант. Автор многих романов, в том числе «Пена дней» («L'écume des jours», 1946; рус. пер. 1983), «Красная трава» («L' herbe rouge», 1950), «Разбитое сердце» («L' arrache-coeur», 1953; рус. пер. 1994), пьес «Всеобщая живодерня» («Equarrissage pour tous», 1950), «Последняя из профессий» («Le dernier des métiers», 1950), «Полдник генералов» («Le goûter des généraux», 1951), четырех сборников новелл и других произведений. Под псевдонимом Вернон Салливен им написано несколько романов, три из них вошли в книгу, изданную на русском языке под названием «Женщинам не понять» (СПб., 1993). Роман «Осень в Пекине» переведен по изданию «L'autormne à Pékin». Paris, Editions de Minuit, 1956.

■ Переводчики

ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1940 г.) — переводчик с английского, литературовед. В его переводах издавались романы: «Меня создала Англия» Г. Грина, «Путешествие в загробный мир и прочее» Г. Филдинга, «Испытание Гилберта Пинфолда» И. Во, повести Дж. Херси, М. Спарк, Т. Вулфа, пьесы Дж. Ардена, Дж. Осборна, Ю. О'Нила. Автобиографическая проза У. Сарояна, рассказы Ф. С. Фицджеральда, У. Тревора, Ш. О'Фаолейна, В. Набокова и др. В «ИЛ» напечатан его перевод романа Сола Беллоу «Герцог» (1990, № 11—12). Лауреат премии «ИЛ» (1990).

АННИНСКАЯ (ИВАНОВА-АННИНСКАЯ) МАРИЯ ЛЬВОВНА — переводчик с французского и итальянского языков. В ее переводе опубликованы «Заметки о Шопене» Андре Жида, эссе «О музыке» французского философа Алена (Эмиль Шартье), стихи и рассказы Бориса Виана и Томмазо Ландольфи, а также роман «Ловушка для нации» Ж. Ж. Арно в сборнике «Французский шпионский роман»).

Редакция журнала «Иностранная литература»
с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине
ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЛАНИНОЙ,
одного из лучших и опытнейших наших редакторов,
работавшей в журнале с первого дня его существования.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" -

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный "ИНДЕКС" с 500 000 ссылками, бесплатный "ЕЖЕГОДНИК" с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические "ЕЖЕГОДНИКИ".

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.

Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.

"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.

CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.

"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.

"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

Телефон в Москве : (095) 161 07 75, 924 90 02
Факс : (095) 923 78 91
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, № 3, 1-224